

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет»



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА

(1)21'2007

Научное издание

Екатеринбург – 2007

Ural State Pedagogical University



POLITICAL LINGUISTICS

(1)21'2007

Editor-in-Chief

A.P. Chudinov

Editorial Board

N.B. Ruzhentseva

E.V. Budayev

M.B. Voroshilova

A.M. Strelnikov

Yekaterinburg, 2007

УДК 409.34
ББК Ш 107
П 50

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор: доктор филол. наук, профессор А. П. ЧУДИНОВ

Заместители главного редактора: кандидат филол. наук Э. В. БУДАЕВ,
кандидат филол. наук М. Б. ВОРОШИЛОВА

Члены редакционной коллегии:

доктор филол. наук, профессор Н. Б. РУЖЕНЦЕВА,
кандидат филол. наук А. М. СТРЕЛЬНИКОВ

П 50 Политическая лингвистика. Выпуск (1)21 / Урал. гос. пед. ун-т; Главный ред. Чудинов А. П. – Екатеринбург, 2007. – 142 С.
ISBN 5-7186-0287-5

Общие задачи издания: обмен новейшей информацией в области политической лингвистики, а также в сфере взаимоотношений языка, культуры и общества. Включает два основных раздела – «Язык в политической коммуникации» и «Язык – политика – культура». Сборник предназначен для ученых-языковедов всех специальностей, он может представлять интерес для преподавателей, аспирантов и всех тех, кто интересуется проблемами политической коммуникации.

УДК 409.34
ББК Ш 107

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА ВЫПУСК (1)21

Подписано в печать 26.02.2007. Формат 60x84/16.
Бумага для множительных аппаратов. Печать на ризографе.
Усл. печ. л. – 9.0. Тираж 150 экз. Заказ 1965
Оригинал макет отпечатан в отделе множительной техники
Уральского государственного педагогического университета
620017 Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26
E-mail: uspu@uspu.ru

P.S. Статьи выходят в авторском варианте, редакция не несет ответственности за их содержание и оформление.

ISBN 5-7186-0287-5

© Политическая лингвистика, 2007

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ		6
<u>РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ</u>		
Андерсон Р. Д. Лос-Анджелес, США	О кросс-культурном сходстве в метафорическом представлении политической власти	6
Бантышева Л. Л. Симферополь, Украина	Общественно-политическая лексика начала XX века: традиции изучения	13
Бессонова Л.Е. Симферополь, Украина	Новые лингвополитологические исследования в Украине	18
Будаев Э. В., Чудинов А. П. Нижний Тагил, Екатеринбург, Россия	Методологические грани политической метафорологии	22
Лайонел Ви Сингапур, Сингапур	От национального государства к глобальному городу: «понижение» как стратегический дискурс	32
Костылев Ю. С. Екатеринбург, Россия	Образ японца в советской массовой печати	39
Симон А.А. Москва, Россия	«Больше демократии – больше социализма»: язык журнальной публицистики периода перестройки	46
Солопова О. А. Челябинск, Россия	Врата грядущего: утопия и реальность	49
Шустрова Е. В. Екатеринбург, Россия	Отзвуки политики в афроамериканском литературном жанре	61
<u>РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК – ПОЛИТИКА – КУЛЬТУРА</u>		
Боярских О. С. Нижний Тагил, Россия	Прецедентное высказывание в газетном тексте: особенности читательского восприятия	65
Будаев Э. В., Чудинов А. П. Нижний Тагил, Екатеринбург, Россия	Метафора в педагогическом дискурсе: современные зарубежные исследования	69
Ворошилова М. Б. Екатеринбург, Россия	Креолизованный текст: аспекты изучения	75
Зых А., Червиньски П. Катовице, Польша	Слова и формы группы родственных отношений в русско-польском узуальном и семантическом сопоставлении	80
Красильникова Н. А. Новоуральск, Россия	«В плену у русского медведя», или современная Россия в метафорах британских и американских СМИ	92
Santa Ana Otto Los Angeles, the USA	What You Say Is What You Get: Metaphor Analysis Of U.S. Public Discourse About Education	97
<u>РАЗДЕЛ 3. КЛАССИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ</u>		
Косарев М. И., Овсянникова И. А., Солопова О. А. Екатеринбург, Россия	У истоков политической лингвистики	115
Лейтес Н.	Третий интернационал: об изменениях политического курса	116
Якобсон С., Лассвелл Г.Д.	Первомайские лозунги в Советской России (1918—1943)	123
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ СТАТЕЙ И ПЕРЕВОДЧИКАХ		142

CONTENTS

EDITORIAL		6
<u>PART 1. LANGUAGE IN POLITICAL COMMUNICATION</u>		
Anderson R. Los Angeles, the USA	On a Cross-Cultural Resemblance Among Certain Metaphors for Political Power	6
Bantysheva L. L. Simferopol, Ukraine	Sociopolitical vocabulary of the turn of the XX century: traditions of study	13
Bessonova L. E. Simferopol, Ukraine	Modern Political Linguistics in Ukraine	18
Budayev E. V., Chudinov A. P. Nizhnii Tagil, Yekaterinburg, Russia	Methodological Facets of Political Metaphorology	22
Lionel Wee Singapore, Singapore	From nation state to global city: 'scaling down' as a discourse strategy	32
Kostylev Y. S. Yekaterinburg, Russia	The Image of a Japanese in Soviet Mass Press	39
Simon A. A. Moscow, Russia	«More democracy – more socialism»: the language of perestroika journalism	46
Solopova O. A. Chelyabinsk, Russia	The gates of the time to come: Utopia & Reality	49
Shustrova E. V. Yekaterinburg, Russia	Sounds of Politics & African American Literature	61
<u>PART 2. LANGUAGE – POLITICS – CULTURE</u>		
Boyarskih O.S. Nizhnii Tagil, Russia	Precedent phrases in press: some features of readers' perception	65
Budayev E. V., Chudinov A. P. Nizhnii Tagil, Yekaterinburg, Russia	Metaphor in discourse of pedagogics & education: modern study abroad	69
Voroshilova M.B. Yekaterinburg, Russia	Creolized text: aspects of study	75
Zych A., Chervynsky P. Katowice, Poland	Polish & Russian word group 'Family Relations': lexemes and their derivatives' area and semantics	80
Krasylnykova N.A. Novouralsk, Russia	«Captives of Russian Bear»: Russia today in UK & USA mass media	92
Santa Ana Otto Los Angeles, the USA	What you say is what you get: metaphor analysis of u.s. public discourse about education	97
<u>PART 3. CLASSICS OF POLITICAL LINGUISTICS</u>		
Kosarev M. I., Ovsyannikova I. A., Solopova O. A. Yekaterinburg, Russia	The Roots of Political Linguistics	115
Leites N.	The Third International: on its changes of policy.	116
Yakobson S., Lasswell H.D.	May Day Slogans in Soviet Russia (1918—1943)	123
LIST OF CONTRIBUTORS & TRANSLATORS		142

ПРЕДИСЛОВИЕ

Редакционная коллегия представляет двадцатый первый выпуск межвузовского научного сборника «Политическая лингвистика».

Среди наших авторов профессора Ричард Андерсон (США), Отто Санта Ана (США), Лайонел Ви (Сингапур), Анна Зых и Петр Червинский (Польша), Л. Е. Бессонова (Украина), специалисты из различных городов России (Москва, Екатеринбург, Нижний Тагил, Стерлитамак, Челябинск).

В первом разделе традиционно представлены исследования по политической коммуникации. Здесь рассматриваются методология политической лингвистики, общие закономерности метафорического представления власти в различных языках, а также проблемы политической коммуникации в России (СССР), Соединенных Штатах, Восточной Азии, Украине и иных регионах мира, отражение политической ситуации в художественном тексте. Большинство авторов обращается к проблемам современного политического языка, но Анна Симон и Юрий Костылев рассматривают советские политические номинации первой половины прошлого века и периода «Перестройки» Советского Союза накануне его распада.

Во втором разделе сконцентрированы статьи, в которых исследуются проблемы взаимодействия языка, культуры и социума, а также имеющие важное социальное значение вопросы межкультурной коммуникации и закономерности отражения в языке национального сознания. Общим проблемам использования метафоры в педагогическом дискурсе посвящен обзор Э.В.Будаева А.П.Чудинова, тогда как профессор Калифорнийского университета О. Сангта Анна рассматривает педагогическую коммуникацию в США. Все эти проблемы, разумеется, связаны с политикой, но уже не настолько непосредственно, как публикации, включенные в первый раздел.

Третий раздел, как и в предыдущем выпуске, называется «Классика политической лингвистики (новые переводы)»: здесь представлены две главы из знаменитой американской монографии «Язык политики. Исследования по квантитативной семантике», которая вышла в 1949 году под редакцией Гарольда Лассвелла и Натана Лейтеса, давно уже признана открывающей новый этап в развитии науки, но по разным причинам до сих пор не переведенной на русский язык. Одна из этих глав посвящена контент-анализу первомайских лозунгов в Советском Союзе, а вторая – способам представления изменений политического курса в выступлениях лидеров Третьего интернационала.

Редакционная коллегия приглашает к сотрудничеству всех специалистов по политиче-

ской лингвистике и смежным проблемам. Ежегодно мы ждем от потенциальных авторов статьи объемом от 6 до 30 страниц (формат А5, десятый кегль, до 40 строк на странице) до 1 февраля, 1 июня и 1 ноября. Единственное ограничение – статьи должны соответствовать проблематике сборника.

Мы не платим гонораров, но и не берем с авторов деньги за подготовку статьи к публикации и тиражирование сборника. Срок выпуска каждого сборника – не более двух месяцев. Сборник своевременно рассылается всем отечественным и зарубежным авторам.

С содержанием предшествующих выпусков данного сборника можно познакомиться на сайте cognitiv.narod.ru На этом же сайте размещены другие публикации по проблемам политической лингвистики, преимущественно подготовленные в рамках Уральского школы политической лингвистики.

Контакты. Почтовый адрес: 620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов д. 26, к. 285, Уральский государственный педагогический университет, кафедра риторики и межкультурной коммуникации.

Телефоны (343) 2357612 (кафедра); (343) 3361592 (проректор по научной и инновационной деятельности). Факс (343) 3361592.

Электронная почта: ap_chudinov@mail.ru, shinkari@mail.ru

С уважением и надеждой на сотрудничество:

Эдуард Владимирович Будаев,
Мария Борисовна Ворошилова,
Александр Михайлович Стрельников
Наталья Борисовна Руженцева,
Анатолий Прокопьевич Чудинов

РАЗДЕЛ 1.

ЯЗЫК В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Ричард Д. Андерсон

Лос-Анджелес, США

Перевод: Белов Е.С.

О КРОСС-КУЛЬТУРНОМ СХОДСТВЕ В МЕТАФОРИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ

Abstract

The body supplies the basis for a wide variety of metaphors that humans use to communicate the meaning of political power. If a set of these metaphors drawn from widely scattered languages is subjected to close examination, they display a common feature. Their source domain is the bodily experience of seeing, which proceeds by distinguishing a figure against the ground composed of all other objects and then compiling the various figures into a composite that humans experience slightly later as a holistic visual image. In the case of each member of the set of metaphors to be examined, the original etymological form is a figure-ground metaphor in which the wielders of political power are represented by some kind of figure visible against a ground constituted by those denied political power. Terminology to be discussed is drawn from Russian, English, Chinese, Arabic, Javanese and Wolof.

Человеческое тело служит основой для многообразной метафорической концептуализации абстракций, в том числе политической власти. Расположение, восприятие, взаимодействие,

манипуляция и движение – это процессы, так или иначе, связанные с телом и в равной степени знакомые слушателям и говорящим. Это позволяет адресанту предположить, что цель ознакомления слушателя с незнакомыми ему абстракциями может быть достигнута посредством метафорического моделирования с использованием легко узнаваемых телесных образов. Исходя из подобия анатомии людей различных национальностей и схожести телесных переживаний, можно говорить о том, что разноязычные сообщества могли бы моделировать своё собственное метафорическое представление о политической власти, прибегая к одной сфере-источнику. Это предположение идёт вразрез с идеями, предложенными «Евразийством» в России и американцем Сэмюэлом П. Хантингтоном в его известном труде «Столкновение цивилизаций». В основу названных концепций положено представление о том, что нации различны в своих представлениях о политической власти и эти разногласия обуславливают контраст во внутреннем развитии и непрерывную борьбу культурных сообществ, называемых цивилизациями. Совершенно очевидно, что совпадение языковой формы при выражении одной и той же реалии в разных языках – редкое явление, имеющее место исключительно при общих корнях заимствования. Несмотря на то, что в английском и русском языках наблюдается значительное количество совпадений на лексическом уровне, особенно если учесть незначительные расхождения в произношении таких слов, как *брат* и *brother*, *нас* и *us*, или даже *отец* и *father*, эти совпадения не могут быть объяснены общими чертами носителей английского и русского языков. Они связаны с общностью лингвистического происхождения, периодическими заимствованиями из русского в английский и наоборот, и частым влиянием третьего языка, главным образом, греческого или французского. Таким образом, ни соответствия типа *democracy* – *демократия*, ни созданные с помощью калькирования *people power* – *народовластие* не релевантны по отношению к гипотезе. Что нас интересует, так это схожесть независимых метафор, необусловленная единым происхождением.

Парадоксальная особенность языка заключается в следующем. В то время как отдельное высказывание – это явление непродолжительное, постоянное его повторение фиксирует разнообразие черты любого естественного языка, остающиеся почти неизменными на протяжении сотен и даже тысяч лет. Как видно из примера *брат* – *brother*, говоря о братьях, адресаты повторяли идентичные или близкие по исполнению артикуляционные движения в течение пяти или шести тысячелетий, независимо от того, была ли их речь взаимопонятной [Strang 1970: 417]. Как следствие, современная политическая коммуникация любой страны характеризуется использованием метафор и символов, относящихся к далекому прошлому. На протяжении практически всего периода развития языка по-

литическая власть осуществлялась немногим числом правителей над множеством управляемых. Соответственно, современное метафорическое представление политической власти отражает базисную оппозицию *правители* – *управляемые*.

При тщательном рассмотрении метафор наиболее отстоящих друг от друга языков можно заметить общий признак. Сфера источник – телесный процесс зрительного восприятия, при котором субъект выделяет определённую фигуру на фоне и затем составляет (компилирует) общую картину, воспринимаемую позже как целостный зрительный образ [Pinker 1997: 211-87]. Аналогично, в исходной этимологии каждой из рассматриваемых метафор вершители политической власти представлены некоей фигурой, дифференцируемой на фоне лишённых привилегии власти. В данной статье используется терминология, отобранная из русского, английского, китайского, арабского, яванского языков и языка волоф. Нельзя исключать возможность взаимного влияния этих языков, поскольку контакт между ними, либо напрямую, либо посредством арабского или других неназванных здесь языков, носит очень продолжительный характер. С другой стороны, велика степень разброса выборки, и не все из данных языков принадлежат к одной типологической категории.

Политическая власть в русской метафоре. Любая форма политической власти может быть описана как субъект-объектные отношения между теми немногими, кому она дана, и тем большинством, на кого она направлена. Отличительная особенность русского языка состоит в том, что многие слова, используемые для наименования тех, кто осуществляет власть, не являются исконно восточнославянскими. Традиционные номинации *князь* и *король* были заимствованы из германского праязыка, *царь* и *император* – из латинского, *боярин* – предположительно, из турецкого [Chernykh 1993, I: 106, 210, 344-345, 431; 1993, II: 361-362]. Таким современным номинациям, как *секретарь*, *министр*, *президент*, *делутат* русский язык обязан французскому. Пересматривая титул о рангах, Пётр I заимствовал *шляхетство* из польского, а названия некоторых чинов из немецкого и шведского языков [Raeff 1993: 34-35]. Дореволюционные термины *государь*, *дворянин* и *знать* и более поздний *председатель* имеют Восточно-Славянское происхождение, но, по крайней мере, два последних из них, вероятно, образованы от французского с помощью калькирования. Существует мнение, что *дворянин* может быть производным от немецкого *hof* (*двор (королевский, княжеский)*). Изначально дворяне занимали низший ранг в правящем сословии. Только благодаря тому, что обладатель титула *царь* полагался на них в конфликтах с *боярами*, положение *дворян* повысилась [Chernykh 1993, I: 233-234]. Подобные процессы наблюдаются не только в русском языке. Английские номинации *noble*, *president*, *senator*, *member of parliament*, *representative*, *secretary* и *min-*

ister происходят от латинских слов посредством французского языка; *rule* восходит к латинскому, а *government* пришло из греческого через латинский язык.

Иностранное происхождение политической лексики имеет непосредственное отношение к более широкой версии нашего предположения. Заимствованные слова либо меняют своё графическое обозначение по воле случая, либо модифицируются согласно фонетическим законам принимающего языка. Несмотря на то, что *-оро-* в слове *король* указывает на восточнославянский вариант, следующий за ним палатализованный *л* нетипичен, по крайней мере в именах существительных; *-арь* в слове *царь* часто встречается в названиях современных русских профессий (хотя нужно редкое чувство юмора, чтобы отнести к одной категории слово *царь* и такие профессии, как *слесарь* или *токарь*), однако только в этом слове ему предшествует одна согласная, а не слоговый корень. На фоне таких исконных слов, как *народ* и *folk*, сама чужеродность политической терминологии, обозначающей объект политической власти, создает фонетически заметную фигуру, выделяющуюся на фоне фонетических особенностей исконных слов.

Номинация *соборность* может рассматриваться как метафора восточнославянского происхождения, созданная для концептуализации качества и характера политической жизни России. Остаётся спорным вопрос, насколько характерен данный признак российскому дискурсу. Созданное впервые в XIX веке землевладельцем-интеллигентом А. Хомяковым для обозначения качества, присущего Православному Христианству, данное понятие, без убедительных на то оснований, было распространено его младшим коллегой К. Аксаковым применительно к политической жизни, став естественным для традиционной России, но абсолютно неприемлемым во времена Петра I и его наследников [Wieczynskii 1976, I: 82-84; 1980, XVI: 171]. Возможно, последующее ограничение употребления этого понятия внутри узкого круга интеллигентов-дипломатов не позволило лексикографу XIX века Далю включить его в словарь русского языка в виде отдельной статьи. После распада Советского Союза часть современной российской интеллигенции вновь заговорила о *соборности* как об отличительной черте политики России в сравнении с демократией запада и присущим ей индивидуализмом. В книге В. Сергеева и Н. Бирюкова [Sergeyev, Biryukov 1993], уже в заглавии которой выражен контраст между демократией и «традиционной культурой» России, авторы утверждают, что несовместимость *соборности* с индивидуализмом обуславливает неполноценное функционирование таких выборных институтов власти, как парламент или президентство. Именно на этот аргумент ставила ставку зарождающаяся оппозиция, выступавшая под названием «патриотические силы», создавая добровольные объединения представителей различных взглядов и убеждений, с целью

формирования прочной коалиции и возрождения подлинной российской государственности [Prokhanov 1992; Ziuganov 2003].

Несмотря на запоздалый характер и узкий круг употребления *соборности*, данная абстракция суммировала в себе понятия, гораздо более конкретные и осязаемые. Основа *собор* является традиционно общей как для церковной, так и для политической сферы в России, где государство весьма неявно отделено от церкви, если вообще можно говорить о таком разделении. Об этой неразделенности свидетельствуют частые упоминания в хрониках о принудительных постригах в монахи тех, кто попал в немилость за политические убеждения или о заключении в монастыри их жён, сестёр, вдов; либо о государственных преследованиях инакомыслящих по религиозным мотивам. Посредством метонимии *соборами* стали называть знаменитые церковные здания. Приставка и отглагольная основа *собр-* образуют «агентив» *собира́тель*, известный в сочетании с «русских земель» как эпитет, характеризующий Ярослава Мудрого. Номинализация с этой же основой звучала в требованиях императора Павла I, выступавшего за продолжение использования термина *собрание* вместо *общество*, ввиду антиправительственной коннотации последнего [Protchenko 1985: 127]. В постсоветские времена под именем *собор* появляются различные самопровозглашенные движения – «патриотические силы»; с принятием Конституции 1993 года *собранием* начинают называть законодательную ветвь власти РФ. Во всех вышеназванных примерах (за исключением требований Павла I) *собор* / *собрание* относятся к правящему классу, и во всех случаях эта пара являет собой единство, подчинённое высшей инстанции, будь то *царь*, *император* или *президент*.

Чтобы выразить релятивность осуществления политической власти, люди создают метафоры, указывающие на участников этих отношений. Качественные компоненты абстракции *соборность* характеризуют класс управляемых, а классу правящих характеристики приписываются сочетанием *царственная особа*. *Особа* значила больше чем её близкий синоним *лицо*; *особой* именовалось лицо, имевшее вес, признание в обществе [Slovar' 1959, VIII: 1142-1144]. И снова мы наблюдаем метафорический образ, в котором *особа* стоит в стороне, т.е. является видимой фигурой на фоне однородности собравшейся толпы.

Анализируя период перехода от империи к государственному строю, установившемуся после 1917 года, следует отметить дублирование уже знакомой пары-оппозиции *соборность* / *особа* в ранее не существовавшей форме. Последователи Ленина, пришедшие к власти в 1917 году и считавшие себя марксистами и атеистами, избавились от теологической составляющей *соборности*. Тем не менее, они подчеркивали свою исключительную роль в управлении и отличие от управляемой ими толпы. Дискурс Советского

Союза характеризуется сопоставлением новых понятий: на смену оппозиции *соборность / особа* пришла пара *коллектив / деятель*. Конечно, *коллектив* не выражал того же значения, что *соборность*; новая власть отчаянно пыталась донести, что их форма правления коренным образом отличается от господства их предшественников. Но с точки зрения этимологии новой метафоры, она была абсолютно аналогична прежней. Вся новизна состояла лишь в замене латинского *кон-* (фонетически ассимилированного под влиянием следующего согласного) на его точный славянский эквивалент *с(о)-*, латинской предпрошедшей формы *-lect-* на семантически эквивалентную славянскую основу глагола *-б(о)р-* и замене латинского суффикса прилагательного *-iv*, лишённого флексии и классифицированного носителями современных западноевропейских языков как номинальный суффикс, на такой же суффикс славянского происхождения *-нсть* [Onions 1966: 190-191, 489].

Что касается второй части оппозиции, русское слово *деятель* не выражало изолированность напрямую, но всё же обрело нужное сопутствующее значение в контексте. Визуализация образа *деятеля* достигалась посредством сочетания его с прилагательным *видный*, а коннотативное значение обособленности – с помощью прилагательного *выдающийся*. В силу того, что английский и русский языки принадлежат к языковым семьям, утратившим фонетическую оппозицию между аспирированными и неаспирированными звонкими согласными на протоиндоевропейском этапе развития, слова, означающие совершение действия и деления, стали относиться к одной группе в обоих языках. Русский глагол *делит* происходит от неаспирированной формы, в то время как этимологически несвязанный глагол *делает* произведен от аспирированной формы. То же справедливо применительно и к английскому слову *deal*, семантическое поле которого совпадает с этимологически неродственным *do*. Исходное значение *deal* «часть» было вытеснено аффиксированной формой латинского глагола «divide» (вероятно, повторяющаяся комбинация двух протоиндоевропейских элементов, каждый со значением «отдельный») [Onions 1966: 247, 279-280]. Таким образом, фонетическая организация русского языка привела к тому, что ярко выраженное в понятии *особа* значение обособленности присуще понятию *деятель*, несмотря на отсутствие доказательств в этимологии данного слова; оно и определяется этимологом-лексикографом П.Черных «человек выделяющийся...» [Chernykh 1993, I: 248]. В силу частого употребления в контексте с такими прилагательными, как «*видный, выдающийся*», *деятель* становится фигурой на фоне коллектива. Отглагольное происхождение данного понятия лишь усилило потенциал метафоры контрастом между действительным и страдательным залогом, проявляющимся в оппозиции латинской формы предпрошедшего времени и собственно формы *деятель*. Создан-

ный фонетико-этимологический контраст порождает обособленность между правящими и управляемыми.

Вопрос, является ли этот контраст *соборности и особы*, репродуцированный в более поздней оппозиции *коллектив – деятель*, особенно русскому языку, может быть разрешён через рассмотрение других языков на предмет существования в них аналогичного контрастного метафорического представления недемократических форм политической власти.

Оппозиция *noble-commoner* в английском языке. Исходя из родственных отношений русского и английского языков, имеющих общий источник, можно проследить параллельность построения оппозиций и схожесть признаков, на которых они основываются. С 1100 по 1400 гг. правящая элита в Англии постепенно совершила переход от нормандского французского (французский диалект норманнов, переселившихся в Англию после 1066) к английскому языку. Достоверно известно, что не раньше 1300 года французское слово *noble* вытеснило английское *heitemen* – современное «high men», означавшее вершителей политической власти [Hughes 2000: 110-111]. *Noble* восходит к латинскому *gnobile*, «knowable» – «узнаваемый», а утраченное *g* всё ещё встречается в противоположном по значению слове *ignoble* [Onions 1966: 612]. Современным носителям английского языка безусловно незнаком латинский корень слова *noble*, однако произносится оно практически так же, как и *knowable*, и не требуется полномасштабного исследования, чтобы вскрыть иницирующее действие одного на другое и тем самым показать их связанность в когнитивном процессе. Люди у власти были *узнаваемы*, а те, кем они правили, приобрели наименование *commoners*. Изначально разделение по признаку власти состояло из трёх частей. Крестьяне, составлявшие большинство населения, назывались *villeins* или *rustics* («виллан, крепостной») и «житель деревни» соответственно). Затем, изменив правописание, слово *villain* получило значение «злодей», а *rustic* стало значить «сельский». Функция обозначения социальной категории была утрачена. Третью категорию лиц, не относящихся ни к знати, ни к крепостным, называли коммонерами (от латинского слова, означающего «город»), т.е. коммонеры – жители города. Но, несмотря на это, в семантике современного английского слова *common* продолжает существовать этическая составляющая, выраженная в значении «равноценный, равнозначный». Следовательно, *знать* на фоне равноценных и нераспознаваемых граждан предстаёт как выделяющаяся группа. Со временем, конечно, социальная категория знати *noble* лишилась своей политической значимости среди носителей английского языка. Тем не менее, слово *noble* активно употребляется либо в ретроспективе, указывая на социальную категорию прошлого, либо говоря о некотором современном государстве, где она возможна. А вот коррелят *common people* (*простой народ*) продолжает своё существование.

На раннем этапе развития английского языка субординация между представителями власти, называемыми *heiemen* и подчиненных им *lowe men*, проявляется в визуальной выделенности первых по отношению к последним. Как отмечает Т. Гивон, «в парных антонимичных прилагательных, обозначающих в основном размер, протяженность, высоту, структуру, громкость, яркость, скорость, вес и пр., прилагательное с положительным смыслом передает как значение обладания качеством (т.е. положительный экстремум), так и родовое значение самого качества (т.е. немаркированный член). Это происходит по той причине, что положительный экстремум обладает большей *перцептивной выделенностью*» [Givon 1989: 161] (акцент на первом из них). Визуализации образа метафоры способствует графический и фонетический контраст между однословным *heiemen* и двухсловным *lowe men* с соответствующей интонацией. Обусловленный сменой власти в результате победы 1066 года переход от *heiemen* к *nobles* в точности отображает процесс вытеснения понятия *особа* понятием *деятеля* при смене власти в 1917.

Китайское *Jieji*. Когда к концу XIX века китайские мыслители задумались над политической реформой династии Qing (Цинь), они заимствовали у своих японских предшественников (которые использовали китайские иероглифы типа *kanji* в японской письменности) практику перевода марксистского понятия «социальный класс» традиционно-изображаемого парой иероглифов, транслитерируемой по-латински как *jieji*. В этих иероглифах снова видна фигуρο-фоновая метафора, найденная в парах *особа* – *соборность* и *знать* – *коммонер*. Традиционно, *jieji* означало «чин шёлка» и метонимически ассоциировалось с иерархией китайских правителей, которые получали жалование в виде шёлковой ткани разного качества. С приходом династии Цинь термин вышел из употребления. Как отдельные иероглифы, *jie* значит «ступеньки лестницы» – или шире – «лестница», а *ji* значит «шёлковая ткань», т.е. вообще «ткань».

И графически, и на понятийном уровне *jieji* как метафорическое представление о политической власти выражает зрительный опыт. С одной стороны, лестница и сотканная из нитей ткань имеют одинаковую структуру: обе образованы вертикальными и горизонтальными элементами, пересекающимися под прямым углом. В то же время лестницу можно использовать по назначению лишь при видимых промежутках между её составляющими, их «разделённости». С тканью – всё наоборот: она пригодна, только если нити неразличимы, т.к. плотно прижаты друг к другу, иначе, получилась бы сеть, лишённая свойств ткани. Графически традиционное и современное рукописное написание *jieji* отражают концептуально соотнесённые визуальные символы. Формально, левая сторона китайского иероглифа в большинстве случаев содержит семантическую подсказку, а правая – намёк на

звукое выражение [Unger 1996: 46-47]. Семантическая составляющая *jie* (читается «*фу*» и переводится как «*холм*») часто встречается в словах со значением «*возвышение*» и в семантически близких им. Начальный элемент иероглифа напоминает английскую прописную букву *B* (русская *В*), крайняя левая вертикаль которой удлинена книзу. Взглянув правее, перед глазами возникает параллелограмм, состоящий из двух продолговатых и трёх коротких штрихов, расположенных под таким углом, что, по крайней мере, западному глазу они напоминают изображение лестницы в перспективе. Смысловая и звуковая составляющие иероглифа *ji* рисуют очертания складок ткани. В рукописном же исполнении *jie* и *ji* изображаются с изогнутыми вертикальными линиями, но горизонтальные штрихи *jie* более отстоят друг от друга и визуально более четкие, чем соответствующие штрихи *ji*. В результате этого, образ *jie* выше, чем образ *ji*. Что примечательно, вышеупомянутое различие отражено даже в транслитерации *pinyin*, т.к. в *jie* на один буквенный знак больше, чем в *ji*. (Благодарю своего студента Банг Жоу за написание этого слова и за исследование его исходного определения в китайских источниках, мне недоступных по причине незнания языка).

При переводе марксистского понятия «социальный класс» как *jieji*, в экстралингвистическом контексте китайский эквивалент приобретает значение, тождественное паре *noble* – *commoner*. Контекст этот практически отсутствовал в Китае даже в конце XIX века. Вместо социальных классов общество все еще традиционно делилось на *shi* («люди образованные») и *simin* («обыватели»). Это противопоставление не учитывало крестьян, составлявших большую часть населения Китая. Кстати, это характерно и для оппозиции *noble* – *commoner*. Соотнесённое с социальным классом *jieji* означало осуществление политической власти маленькой по численности правящей элитой. Так же как в случае с парой *noble* – *commoner*, когда на смену династии Цинь пришла новая авторитарная республика, заново пришедший в обиход термин *jieji* заменил ранее существовавшие различия по высоте между *shang* и *xia* – «теми, кто выше» и «теми, кто ниже» [Judge 1996: 33].

Арабское «*ru^cat-ra^ciyya*». Как отмечает А. Аялон, «до XX века существовало одно арабское выражение, указывающее на политический статус управляемых: *ra^ciyya*, означающее стадо или стаю домашних животных» [Ayalon 1987: 44]. Соответственно, правителей называли *ru^cat*, «пастухами», т.к. в арабговорящем мире под стадом, обычно, имелось в виду стадо овец. Фигура пастуха выделялась на фоне практически неотличимых друг от друга животных. Его вертикальный торс контрастировал с горизонтальными туловищами овец, тем самым, возвышая его. С ослаблением турецкого господства возникла новая метафора, служащая для представления местной власти: *a^cyan*, в переводе «глаза» [Ayalon 1987: 66]. Значение этой метафоры

ры, связанное с понятиями центра и вертикальности, вряд ли нуждается в дальнейших комментариях.

Более ранняя оппозиция типа «пастух-стадо» уходит глубоко корнями в семитскую традицию. Напр., в Псалме 23, автором которого считается царь Давид, написано: «Господь – Пастырь мой, и я ни в чём не буду нуждаться...». Однако контраст вертикального положения правителя и горизонтального положения управляемых имел место задолго до этого. Около 1800 г. до н. э. древний вавилонянин называет приближённого царя *awilum*, «мужчина», а одного из тех, кем правят – *mushkenum* – «тот, кто унижается» [Schloen 2001: 285-286]. Шумерская письменность и в более ранние периоды истории характеризовалась схематическим изображением слова «мужчина» в виде повёрнутой боком верхней части туловища [Kramer 1963: 302], в то время как правители на письме отображались в виде вертикального штандарта: шеста со знаменем или символом наверху и клиновидным основанием. Это основание помещалось в специальном отверстии, обеспечивавшем вертикальное положение [Szarzyńska 1996: 1-15]. По мере того как семитские языки – аккадский, затем арамейский и в конечном итоге арабский – вытесняли шумерский, возникали новые метафоры, каждая из которых моделировалась на основе исходного признака, противопоставляющего отчётливо видимую вертикальную фигуру на фоне лишённых различия горизонтальных.

Метафора в яванском языке (*unggah-ungguh*). В традиционном Яванском обществе короли правили с помощью так называемых *priyayi*. Это заимствованное слово образовалось от санскритского *priya*, «друг»; совпадение с русским *приятель*, вероятно, случайно. Они могли состоять с королём в различной степени родственных отношениях или не иметь с ним родства, но занимать более или менее высокую должность при дворе. Когда встречались двое *priyayi*, им нужно было определить, кто достоин изысканных почестей, зашифрованных в *krama* – эзотерической форме Яванского языка, доступной только детям *priyayi*. Решение зависело от соотношения веса в обществе, обрётённого вследствие близкого родства с королём, и важности занимаемой должности. Сигналом о взаимном умозаключении на этот счёт служил акт невербальной коммуникации, состоящий из жеста, известного как *unggah-ungguh*. Оба вытягивали руки вперёд, поворачивали их ладонями кверху и двигали ими вверх и вниз. Эти действия, интерпретируемые как имитация взвешивания, визуальнo символизируют взаимное определение социального положения вертикальным положением поднятых ладоней. Это, в свою очередь, помещало *priyayi* в центр внимания и делало их заметными на фоне невидимых *wong cilik*, «маленьких людей», чей низкий социальный статус и образование лишь в рамках примитивной (*ngoko*) или средней (*madya*) форм Яванского языка не позволяли им исполнять

ритуалы почтительности и лишали смысла *unggah-ungguh* [Errington 1985: 4, 27-40].

Язык волоф: «явная замедленность». В основном носители языка волоф живут в Сенегале, но, как водится в постколониальной Африке, распространены они и в соседних государствах, чьи границы были установлены колонизаторами без учёта местного этнического своеобразия. Язык волоф подразделяется на два варианта. Первый из них – *waxu gewel* – существовал до колониальных захватов, но все сохраняется и традиционнo ассоциируется с членами правящей касты. *Waxu geer* – вторая разновидность языка волоф, богатая средствами эмоциональной выразительности и метафорическим многообразием, используется обычными гражданами. Частотность употребления *waxu geer* увеличивается по мере уменьшения социального статуса и всецело применяется кастой *griot* для выражения мыслей, произносить которые было бы недостойным для людей, занимающих более влиятельное положение. Несмотря на то, что носители языка волоф соотносят говорящих на *waxu gewel* и *waxu geer* с людьми, обладающими или не обладающими властью, наблюдения показывают, что говорящие, как правило, используют обе разновидности в зависимости от того, наделяют ли их социальное положение или непосредственные нужды правом требовать содействия или заставляют их просить милости у собеседника. Следовательно, превосходя всех по рангу, вождь никогда не пользуется *waxu geer*. Его речь, как и речь других важных особ, отличается «явной медлительностью»: небрежное бормотание, с частыми повторами и грамматическими ошибками. Народ волоф объясняет необходимость властных людей в ограничении себя *waxu gewel* тем, что иной раз весомость слов может подавить людей ниже по статусу [Irvine 1990: 131-145]. Пусть вес – скорее осязаемая метафора, в ней есть и визуальный компонент. Вес имеет значение, поскольку обладающие властью люди могут давить на остальных соотечественников. Таким образом, в концепции языка волоф, и в этом он не отличается от рассмотренных примеров, наблюдается возвышение класса властных людей, а т.к. большему весу человека соответствует больший размер, то более властные люди визуальнo представляются увеличенными относительно менее властных. Пусть из описания языка волоф, доступного мне, следует, что фигуро-фонная метафора носит имплицитный характер, всё же она концептуализирует политическую власть.

Заключение. Исторический период взаимодействия носителей английского и арабского языков характеризуется то и дело возникающими на протяжении тысячелетия противоречиями. В течение трёх веков с переменным успехом поддерживали мирное сосуществование русские и китайцы, ввиду конфликтов, возникающих на почве расширения России на восток и устремлений Китая на север. Метафорически

возвеличивая себя посредством *noble*, французы завоевали народ Волоф, а голландцы, до сих пор называющие своё правительство *overheid* (то, что выше), подчинили яванцев силой оружия. Хотя эпизоды вражды редки в истории взаимоотношений носителей русского и английского языков, ни события Холодной Войны, ни дальнейшее развитие отношений между независимой Россией и США не позволяют говорить об устойчивом взаимопонимании между странами. Эти разногласия не объясняются культурными различиями в понимании политической власти, поскольку рассматриваемые культурные концепции строятся по одному принципу. Безусловно, на различиях в метафорическом представлении политической власти культура не заканчивается, и ничто из сказанного мною не исключает возможности для какой-либо другой культурной особенности стать причиной конфликта.

Нельзя совсем исключать возможность взаимопроникновения культур, нежели следовать независимой концепции, согласно которой я представил свои наблюдения. Общим источником могла бы быть шумерская письменность. Некоторые учёные считают, что шумерская письменность была привезена в индийский город Хараппа торговцами, проделавшими путь вдоль одной реки и вверх по течению другой, где она либо стала известна захватчикам, привнёсшим индоевропейскую речь, либо подверглась влиянию местных жителей, т.е. была адаптирована или видоизменена ими. Возможно, написание букв и символов, характерное для шумеров, способствовало распространению разделения правящих и управляемых на основе вертикально-горизонтального различия. Поскольку при взаимодействии культур, вполне возможны неточное понимание и, следовательно, всевозможные модификации, то можно предположить, что шумерская система письма, в которой изначально вертикальное изображение туловища преобразовалось в горизонтальное в результате смены столбцового письма на линейное, стала прототипом концепции представлений об обществе в Ведийском языковом сознании. Изобла верховного божества породили священнослужители, правители – из рук, подданные – из живота, и всё это основывалось на труде тех, кто являлся порождением ног божества. Индусские торговцы могли бы выступать в роли распространителей данной концепции и привнести их в яванский язык вместе с пришедшим из санскрита словом *priya*, а буддийские проповедники вполне могли донести идеи о вертикальном представлении власти до Китая, где впоследствии сформировалась оппозиция между «теми, кто выше» и «теми, кто ниже». Переняв определённое понимание власти у китайцев, монголы и татары могли бы принести его на Русь. Греция, тем временем, пришла к переосмыслению политической метафоры, овладев алфавитом, созданным на основе приобретённой ранее слоговой азбуки. Алфавит

дошёл до римлян, но вызывал у носителей германских праязыков, включая говорящих на древнеанглийском, большие трудности в понимании, так что в итоге в рамках политической сферы сложилось представление о взаимодействии «высоких» и «низких» сословий. Также от носителей германских праязыков оно могло бы распространиться на Руси вместе со словом *kniaz'* или, позже, *korol'*. Предки тех людей, известные позднее как народ Волоф, могли не до конца понять всё глубже продвигающихся в Западную Африку арабов и поэтому рассматривать вес как отличительный признак пастуха и стада. Тем более что овец они никогда не видели. Аналогичными ли являются оппозиции, отражённые в языках американских индейцев, мне неясно, т.к. до сих пор мною не найден источник необходимой информации. Не стоит упускать из виду и возможные тихоокеанские связи, хотя при таком подходе значительно снижается степень достоверности гипотезы о происхождении от общего источника.

Вместе с тем гораздо более убедительна гипотеза, которая объясняет частоту визуальной фигури-фоновой метафоры в представлениях политической власти частным внутриязыковым изобретением, основанным на схожести телесных переживаний. Как бы там ни было, восприимчивость к однотипным метафорам (независимо от их происхождения) должна свидетельствовать о способности людей к осмыслению визуального контраста и вертикального возвышения за счёт обращения к своим собственным повседневным, телесным переживаниям.

Наряду с несостоятельностью предположения об обусловленности противоречий между членами различных культурных сообществ в виду кросс-культурного сходства концептов политической власти, характер этих концепций тоже исключает гипотезу об их способности объяснить, почему одни страны вступают на путь демократизации, а другие сохраняют авторитарное устройство. Фигуро-фоновый контраст правителей и управляемых не препятствует демократизации, а наоборот, способствует ей. С приобретением навыков познания и концептуализации политического давления посредством метафорического представления фигуры на фоне носители любого языка приобретают способность легко вообразить, что было бы в отсутствии этого давления. Всё, что для этого нужно, – отнять либо фигуру, либо фон. Так, в поисках независимости от английских сюзеренов американцы составили конституцию, исключив аристократию (*nobility*) и оставив только третье сословие (*commoners*). И хотя многие из авторов этой конституции выступали за сохранение рабства, истребление местных жителей и ограничение влияния населения на политику, потеря одной из составляющих метафорического выражения политического господства постоянно препятствовала достижению их целей. Если рассматривать пару «*деятель – коллектив*» в

политическом дискурсе России последнего десятилетия XX века, бросается в глаза снижение частотности употребления первого понятия и переосмысление второго, которое, в свою очередь, стало использоваться в контексте *трудо-вые коллективы* – рабочая сила предприятий, а благодаря процессу приватизации и вовсе вышло за рамки семантического поля политики. Не вызывает сомнения тот факт, что в метафорически представленном понятии *силовики* воспроизведена «перцептивная выделенность», характерная для парных антонимичных прилагательных, в данном случае обозначающее силу, а сочетание *управляемая демократия* отбрасывает фонетически несвойственную славянским языкам структуру, характерную для традиционной России. Эти примеры являют собой лишь отдаленные отголоски прошлых метафор, связанных с недемократическим правлением, они предвещают столь же медленное движение с множеством провалов и неудач, свойственных процессу развития любого демократического государства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ayalon A. Language and Change in the Arab Middle East: The Evolution of Modern Political Discourse. New York, 1987.
- Chernykh P. Istoriko-etimologicheskii slovar' sovremennoego russkogo iazyka. Moskva: Russkii iazyk, 1993. Vols. I, II.
- Errington J.J. Language and Social Change in Java: Linguistic Reflexes of Modernization in a Traditional Royal Polity. Athens, Ohio: Ohio University, Center for International Studies, 1985.
- Givon T. Mind, Code, and Context: Essays in Pragmatics. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1989.
- Hughes G. A History of English Words. Oxford: UK, Blackwell, 2000
- Irvine J.T. Registering Affect: Heteroglossia in the Linguistic Expression of Emotion // Language and the Politics of Emotion / Catherine A. Lutz and Lila Abu-Lughod (eds.). Cambridge, 1990.
- Judge J. Print and Politics: "Shibao" and the Culture of Reform in Late Qing China. Stanford, 1996.
- Kramer S. N. The Sumerians: Their History, Culture, and Character Chicago: Chicago, 1963.
- Onions C.T. (ed.) The Oxford Dictionary of English Etymology. New York: Oxford, 1966.
- Prokhanov A. A ty gotov postoiat' za Rossiю? // Den', 1992, 25-31 Oct.
- Protchenko I. Leksika i slovoobrazovanie russkogo iazyka sovetskoi epokhi: sotsiolingvisticheskii aspekt / 2nd expanded edition. Moskva, 1985.
- Raeff M. La Noblesse et le discours politique sous le regne de Pierre le Grand // Cahiers du Monde Russe et Sovietique. 1993. Vol. 34 (1-2). P. 33-46.
- Schloen J.D. The House of the Father as Fact and Symbol: Patrimonialism in Ugarit and the Ancient Near East. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 2001.
- Sergeyev V., Biryukov N. Russia's Road to Democracy: Parliament, Communism, and Traditional Culture. Brookfield, Vt.: E. Elgar, 1993.
- Slovar' sovremennoego russkogo literaturnogo iazyka. Moskva-Leningrad: Akademiia Nauk SSSR, 1959.
- Strang B. A History of English. London, 1970.
- Szarzyńska K. Archaic Sumerian Standards // Journal of Cuneiform Studies. 1996. Vol. 48. P. 1-15.
- Unger J.M. Literacy and Script Reform in Occupation Japan. New York: Oxford, 1966.
- Wieczynski J.L. (ed.) The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet History. Gulf Breeze, Fla., 1976/1980.
- Ziuganov G.A. Vernost'. Moskva: Molodaia gvardiia, 2003.
- © Ричард Д. Андерсон, 2007
© Белов Е.С. (перевод), 2007

Бантышева Л. Л.
Симферополь, Россия
**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЛЕКСИКА НАЧАЛА XX ВЕКА:
ТРАДИЦИИ ИЗУЧЕНИЯ**

Abstract

The author describes a variety of scientific traditions and methods that are applied to the study of the vocabulary used in social political discourse in the beginning of the XX century. The author proves the importance of the first period that influenced the formation and further development of sociopolitical vocabulary. Another aim is to analyze the semantic structure of such lexemes and its representation in dictionaries issued before 1917.

Исследование общественно-политической лексики представляет большой лингвистический интерес. В связи с возросшей ролью к исследованию политической коммуникации, к анализу закономерностей коммуникативной деятельности, в настоящее время возрастает внимание к изучению политической лексики. Несмотря на большое количество трудов, разнообразие тематик и областей исследования общественно-политической лексики, ряд задач остается нерешенным. Так, установление временных рамок развития политического словаря, определение тематических границ, а также лексикографическое представление вербального политического пространства нуждаются в дальнейших разработках.

Как известно, лексический ярус является наиболее чувствительным к изменениям в языке. При этом процесс трансформации лексического пространства почти непрерывен, в чем и заключается связь языковой системы с другими сферами общественной жизни (политической, социально-экономической, государственной). Совершенно очевидно: чем интенсивнее изменения лексики на каждом этапе ее развития. Именно в сфере политической лексики наблюдаются существенные изменения, обусловленные общественно-политическими процессами.

Цель и задачи статьи: 1. Определить значимость первого этапа (1917 – нач. 1950-х гг.) в становлении и развитии общественно-политической лексики и его влияние на эволюцию политического словаря. 2. Провести семантический анализ толкования лексических единиц политического содержания в лексикографических изданиях дореволюционного периода.

Исторический подход к изучению фактов политической сферы языка позволяет определить традиционную периодизацию изучения общественно-политической лексики.

На первом этапе 1920-1930-х гг. было характерно исследование изменений в лексической и в стилистической системах языка послереволюционного времени (А.Баранников, Г.О.Винокур, С.И.Карцевский, Е.Д.Поливанов, А.М.Селищев, П.Я.Черных, Р.О.Якобсон). Кроме того, в исследовании общественно-политической лексики послереволюционного (советского) периода рассматривалась преемственность в развитии лексики дореволюционного и послереволюци-

онного времени, основные тенденции в развитии политического слова, поднимались вопросы семантики отдельных политических единиц. В 1930-1940-е гг. лингвистами описывались языковые системы различных социальных групп в рамках национального языка (В.М. Жирмунский, Н.Я. Марр, Л.П. Якубинский). При этом в исторической лексикологии отмечается, что внимание к общественно-политической лексике послереволюционного периода в конце 1930-х гг. – нач. 1940-х гг., а также к изучению новых явлений в русском языке послереволюционного времени ослабело в связи со стабилизацией языковой системы [Мещерский 1967: 7]. Коммуникативно-функциональная научная парадигма определила новое направление в лингвистике – политическую коммуникацию и вместе с тем выделила общественно-политическую лексику в новых методах изучения. Так, общественно-политическая лексика 1950-1980-х гг. изучалась в аспекте политической коммуникации (Г.З. Апресян, Ю.А. Бельчиков, Н.Н. Введенская, В.Г. Костомаров, В.В. Одинцов, Д.Э. Розенталь, Г.Я. Солганик) [Чудинов 2003: 23].

Существуют различные точки зрения на выделение этапов развития политической лексики.

Традиционно в лингвистической практике выделяют два основных этапа: 1) 1917 – нач. 1950-х гг. XX в. (А. Баранников, Г.О. Винокур, С.И. Карцевский, Е.Д. Поливанов, Л.В. Щерба и др.); 2) нач. 1950-х гг. – конец 1990-х гг. (А.Н. Баранов, А.Л. Голованевский, Ю.Д. Дешериев, Ю.Н. Караулов, В.Г. Костомаров, И.Ф. Протченко и др.). Исследования последнего десятилетия позволяют выделить третий этап развития политической лексики – постсоветский (О.П. Ермакова, Л.А. Жданова, Е.А. Земская, Н.А. Купина, Д.Э. Розенталь, Г.Я. Солганик, И.А. Стернин и др.). Специфика современной языковой эпохи заключается в свободе от разного рода ограничений, разрушении советских стереотипов мышления, в отказе от установлений тоталитарного режима [Земская 2000: 90].

В последние десятилетия в современной политической лингвистике о выделении периодов развития общественно-политической лексики, об определении понятия, о семантике политических слов, о некоторых аспектах лексикографического отображения, о тенденциях в развитии политического пространства советской эпохи, а также о смене общественно-политической парадигмы пишут Ф.С. Бацевич, О.И. Воробьева, А.М. Григораш, О.П. Ермакова, О.В. Загоровская, Е.А. Земская, В.И. Карасик, Ю.Н. Караулов, Е.Ю. Кашаева, И.М. Кобозева, В.Г. Костомаров, Л.П. Крысин, Т.Б. Крючкова, Н.А. Купина, В.М. Лейчик, О.А. Семенов, Л.Н. Синельникова, П.Б. Паршин, Г.Н. Складневская, И.А. Стернин, А.П. Чудинов, Е.И. Шейгал и др. Большое количество научных работ свидетельствует о том, что процессы, рассматриваемые как состав общественно-политической лексики, так и ее характеристики, привлекают внимание многих исследователей, изучающих современ-

ное состояние языка. Действительно, решение проблемы семантических изменений политического слова в последние десятилетия развития языка невозможно без специального изучения общих особенностей семантики политических единиц предшествующих периодов.

Несмотря на то, что политическая лексика как объект исследования привлекала внимание отечественных языковедов только в первые послеоктябрьские годы в связи с событиями 1917 года, первым из отечественных лингвистов обратил внимание на этот разряд лексики И.А. Бодуэн де Куртене в работе «Некоторые общие замечания о языковедении и языке» (1871), выделив как психический, так и социальный аспекты языка [19].

Предполагаем, что общественно-политическая лексика 1920-1940-х гг. формировалась в предреволюционное время, когда происходили явления, определившие важные особенности политического словаря. Как замечает С.И. Карцевский, уже 1905 г. оставил после себя «некоторое лингвистическое наследие в виде целого ряда слов, частью новых, частью мало известных... Слова эти были, главным образом, политические термины, появившиеся для обозначения новых политических явлений» [История России 2003: 207]. По мнению ученого, появлению новых слов способствовала деятельность социалистических партий 1905 г.: *анархизм, анархист, буржуазия, бюрократия, демонстрация, демократия, кампания, интернационал, кворум, комитет, лозунг, мандат, манифестация, марксизм, митинг, муниципализация, провокатор, прокламация, пролетариат, пролетарий, социализм, социалист-революционер, социалист-демократ, террор, фракция, штрейк-брехер, экспроприация* [Карцевский 2000].

Политическая лексика и семантические процессы дореволюционного времени нашли отражение в лексикографических изданиях общественно-политического характера. К ним относятся «толкователи» и словари политических, социальных терминов [Словарь академии российской...; Словарь русского языка...; Толковник политических слов...]. Как отмечает А.Л. Голованевский, в дореволюционные годы вышло 42 издания (словари иностранных слов, политические энциклопедии, справочники и толкователи политических терминов). Исследователь выделяет идеологическую направленность изданий, т.к. «за истолкованием общественно-политической лексики проявляется классовое мировоззрение их авторов», проводит идеологическую типологию словарно-справочных изданий, разделяя их на официально-консервативные, либеральные, революционно-демократические и промежуточные между тремя основными направлениями [Голованевский 1986: 26]. Такая дифференциация изданий связана с тем, что трактовка общественно-политических слов в источниках зависит от идеологических установок, существующих в дореволюционный период. Приведенная типология словарей весьма закономерна, т.к. отражает реальное состояние лексики в конкретные исто-

рические моменты.

Словари дореволюционного издания включают политически и социально маркированные слова, отличающиеся коммуникативной значимостью и высокой степенью частотности функционирования в деловом языке. Так, лексические единицы с идеологической семантикой мы находим в «Словаре русского языка» (1895-1934): *автократия, агитация, бюрократизм, власть, вождь, гегемония, двоевластие, декларация, декрет, крестьянство, забастовка, диктатор, забаллотировывать, заговор, законность, законодательство, законопроект, легитимация, европеизация, единство, капитализм, коллегия, делегат, космополитизм, анархия, конъюнктура, лагерь, либерал, либерализм, лидер, марксизм, недоверие, коллективизм*. Отметим, что зафиксированные дореволюционными словарями лексические единицы с идеологическим компонентом повлияли на состав послереволюционного лексикона.

«Словарь академии российской, по азбучному порядку расположенный» (1806-1822) содержит слова социально-политического содержания, в семантической структуре которых присутствует политический компонент: *держава, коллегия, президент, единодержавие, империя, крестьянство, мятеж, политика, народ, конгресс, кандидат, коронование, правительство, собрание, угнетение, самовластие, самодержавие, свобода, дума, консульство, указ, чиновник, полномочие, подданство, избиратель, капиталист*.

«Толковник политических слов и политических деятелей» (1917) фиксирует наиболее употребительные политические термины, относящиеся к государственному устройству, отношениям между государствами и т.д. Следует отметить, что в толковник включены однозначные слова в основном с терминологическим значением: *агитация, анархия, аристократия, бюрократия, государство, государственная дума, декабристы, дворянство, демократия, империализм, коалиция, монархизм, парламент, патриотизм, республика, референдум, сенат, социализм, террор, тирания, штрейкбрехер, четвертое сословие*.

Семантика общественно-политической лексики послереволюционного времени отражает в своем становлении все особенности идеологического освоения политического словаря, которые проецируются на языковые закономерности его развития.

Отдельные лексикографические издания дореволюционного времени (1806-1917) включают слова как с однозначным терминологическим значением, так и лексические единицы с полисемантической расширенной структурой, что позволяет сделать вывод об отмеченной тенденции разграничения общественно-политической терминологии и общественно-политической лексики (*агитация, гегемония, демократия, единовластие, империализм, социализм, тирания, анархия, свобода, самодержавие, сословие, демагогия, космополитизм, автократия, аристократия, держава, единоголосие, собрание, совет, сенат, указ, абсолютизм, бюрократия, граница, власть, декларация, гражданин, вождь, бунт, лагерь, дипломатия,*

диктатор и др.) [Словарь академии российской...; Словарь русского языка...; Толковник политических слов...]. Так, словарь 1895 года отмечает слова с яркой идеологизированностью, напр., *автократия* – неограниченная верховная власть, самодержавие [9]. *Двоевластие* – 1. существование двух самостоятельных верховных властей в одном управлении. 2. иногда употребл. в смысле предоставления одному органу власти функций административных и судебных [972-973]. *Власть* – 1. право, сила или возможность действовать по своей воле или по обязанности // закон определяет власть каждого должностного лица // человек во власти, у власти, облеченный властью, влиятельный. 2. сила, могущество. 3. то же что должность. 4. начальство; лицо, облеченное властью, особенно мн. [441]. Ср., *Политика* – 1. наука, преподающая управляющим народами правила к достижению предполагаемых намерений. 2. в просторечии: учтивость, искусство обходиться с людьми (1822) [1430]. *Тирания* – крайний произвол и насилие. Может быть тирания правительства, а может быть тирания какой-нибудь партии или части населения, когда она заберет в свои руки власть и силой заставит других повиноваться (1917) [60]. *Либерализм* – политическое, общественное и др. направление, основанное на стремлении к свободе; свободомыслие (1928) [531].

Заметим, что в дореволюционных словарях намечается формирование политического разряда лексики по определенным тематическим (Государство, Политика, Экономика) и лексико-семантическим группам: названия политических движений, течений, направлений (*империализм, социализм, марксизм, маккиавелизм, либерализм, космополитизм, бюрократизм, европеизация*); названия общественно-политических групп, объединений (*коллегия, лига, коалиция, парламент, сенат, дума, фракция*); наименование форм государственного устройства, организации власти (*республика, тирания, монархия, гегемония*); обозначения политических акций, действий (*митинг, бунт, мятеж, забастовка, агитация, манифестация, заговор, выборы, кризис, раскол, абсентеизм, недоверие*); документы (*декрет, приказ, указ, декларация*), наименование членов и сторонников политических течений, направлений (*либерал, марксист, диктатор, космополит*) и др. [Словарь академии российской...; Словарь русского языка...; Толковник политических слов...]. В словарях этого периода выделяются языковые единицы, которые образуют ядро политического словаря, функционирующего в лексическом пространстве советского периода. Ядро политической лексики составляют такие ключевые политические понятия, как *власть, государство, демократия, идеология, общество, политика* и др.

Таким образом, словарно-справочные издания дореволюционного времени являются важным источником для наблюдения за историей распространения и семантического развития политических слов. Отметим, что издания имеют лексикографическую ценность, т.к. в них впервые включена группа слов с терминологическим значением. Как отмечают лингвисты, именно в предреволюционный период имели место процессы, которые определили характер

состояния, особенности развития и становления политической лексики послеоктябрьского времени. Известно, что предреволюционный период – это период активной деятельности демократов и появления большевистской идеологии. Этот социально-общественный фактор и обусловил активное употребление политической лексики в послеоктябрьский период. «Большевики отдавали предпочтение революционным формам борьбы, отвергая реформаторский курс и были уверены, что в России возможны пролетарская революция и быстрый переход к социализму» [История России 2003: 356]. Активность социалистических партий 1905 г. отразилась на языке, на формировании политической терминологии, представленной словами из обиходного жаргона партий социал-демократов и социал-революционеров (*бюрократия, демократия, комитет, конференция, партия, провокатор, социал-демократ, социализм, террор, штрейкбрехер и др.*) [Карцевский 2000: 230-231]. В десятилетия, предшествовавшие революции, происходили глубокие изменения не только в сфере языка, но и во всех важнейших областях общественной жизни. Отечественная лингвистика первой половины XX в. достаточно ярко отразила языковые особенности предреволюционной русской культуры (Г.О. Винокур (1929), В.М. Жирмунский (1936), С.И. Карцевский (1923), Л.П. Якубинский (1931). С.И. Ожегов отмечает, что именно «в недрах передовой и прежде всего партийно-коммунистической общественности дореволюционного времени зарождалось то словоупотребление, та терминология, те продуктивные словообразовательные способы, которые послужили одной из основ многочисленных изменений в словарном составе русского языка после революции» [Ожегов 1953: 75].

Таким образом, именно дореволюционный период, содержащий процессы обогащения и пополнения лексического пространства, является важным для последующего формирования политического словаря.

Как показывает анализ научной литературы, объектом исследования лексики послереволюционного периода выступал как весь пласт общественно-политической лексики, так и ее отдельные тематические поля. Источниками изучения развития общественно-политической лексики советского периода являлись материалы партдокументов, государственные законодательные акты, периодическая печать и немногочисленные лексикографические издания (А.С. Белая, А.Л. Голованевский, Л.В. Жукова, С.Г. Капралова, А.Т. Колганова, Л.Н. Красильников, Т.Б. Крючкова, Н.А. Купина, С.И. Ожегов, А.М. Погребняк).

Послереволюционный период можно считать новым этапом в истории русского литературного языка и в развитии общественно-политической лексики. Именно в этот период формировались процессы, которые определили характер состояния, особенности общественно-политической лексики последующего этапа ее

развития. Как отмечает А.М.Селищев (1928), «после революции 1917 г. языковые черты... стали распространяться интенсивно, проникая в широкие слои городского населения, фабрично-заводского и отчасти деревенского. Вместе с тем пережиты изменения в значении и содержании тех или иных терминов. Значительное отличие языка революционного времени после 1917 года от языка более раннего времени заключаются в том, что появились новые термины, новые слова в связи с новыми явлениями, предметами, относящимися к 1917 и последующим годам» [27]. Несомненно, революция 1917-го г. оказала большое влияние на лексическую и стилистическую систему языка. Как отмечает С.И.Карцевский в своей работе «Язык, война и революция» берлинского издания 1923-го года, «социально-политический сдвиг, коренная ломка быта, новые факты жизни и исключительно эмоциональное к ним отношение со стороны повсюду дифференцированного общества – все это оставило глубокий след на русском языке, точнее на нашем словаре. Языковых новшеств накопилось так много, что некоторые наблюдатели уже говорят о «революции в языке» [217]. Справедливо замечание Н.А.Купиной о том, что «Великая Октябрьская Революция обусловила магистральное развитие русского языка советского периода» [182]. Таким образом, факт революции определил семантическое содержание лексического объема и важнейшие составляющие параметры политического языка.

В научном дискурсе сегодня важны размышления о природе социально обусловленных языковых изменений, составляющих историю русской культуры на всем ее развитии. «В событиях дня сегодняшнего можно видеть действие устойчивых моделей, организующих историю русской культуры на всем ее протяжении. Для России в переломные периоды в качестве механизма развития культуры характерно действие дуальной модели». Такой подход, с позиции действия устойчивых моделей культуры, позволяет изучать изменения в лексике на протяжении не одного этапа, поскольку «наблюдения над историей русской культуры.. убеждают в отчетливом ее членении на динамически сменяющие друг друга этапы.. Основные культурные ценности (идеологические, политические, религиозные).. располагаются в двуплюсном ценностном поле, разделенном резкой чертой и лишенном нейтральной аксиологической зоны. Дуальность и отсутствие нейтральной аксиологической сферы приводило к тому, что новое мыслилось не как продолжение, а как эсхатологическая смена всего» [Китайгородская 2003: 153-154]. Таким образом, по мнению лингвистов, каждый новый этап предполагает переосмысление ценностей и смену политической парадигмы.

Действительно, общественно-политическая лексика формировалась поэтапно под влиянием определенных факторов, условий, закономерностей в развитии языка. Но при этом, на наш

взгляд, не следует разграничивать состав языка дореволюционного и послереволюционного периодов, т.к. его изменения осуществляются постепенно, в результате накопления новых лексических групп, появления новых семантических элементов, а также в процессе отмирания устаревших слов и постепенного построения новых семантико-стилистических связей. Характер, степень интенсивности изменений лексики в разные периоды неодинаковы, они непосредственно связаны с многообразными трансформациями, обусловленными общественно-политическими перестройками. Состояние лексического пространства каждого периода – «момент в цепи его непрерывных изменений» [Сорокин 1965: 20]. С.И.Ожегов справедливо указывает на то, что «те новые явления, которые отражают живые тенденции современности, не появились как феникс из пепла: они порождены всем предшествующим ходом развития языка» [72]. Исследователь говорит о том, что нередко новизна того или иного слова в языке послереволюционного периода была относительной. Поэтому новым назвать слово можно не всегда, т.к. новая лексическая единица возникает на основе предшествующего своего функционирования. Конечно, в переломные периоды истории общественно-политических отношений развитие лексики происходит более интенсивно.

В отечественной лингвистике, как было отмечено выше, высказываются мнения, согласно которым язык не претерпевает существенных изменений при смене общественных отношений. Характеризуя с этой точки зрения систему русского языка в целом, И.А. Стернин считает, что языковая система претерпевает в ряде аспектов существенные количественные, качественные и функциональные изменения, однако не претерпевает каких-либо революционных изменений (тем более ведущих к разрушению или распаду), сохраняя системную и структурную целостность, устойчивый характер функционирования и внутреннюю идентичность [2000: 22]. В каждый период отражаются предшествующие лексико-семантические изменения. Все эти явления очень близки к современным, хотя воспринимаются как новые. По мнению С.И. Ожегова, происходит это потому, что мы располагаем общим представлением о движении словарного состава в тот период, который непосредственно предшествовал революционной эпохе [2000: 72].

На наш взгляд, исследование современного политического словаря с дореволюционным и послереволюционным политическим лексиконном в сопоставлении позволяет изучить и понять многие современные языковые процессы, а также выявить тенденции функционирования языка в политической коммуникации.

Одним из ключевых вопросов политической лингвистики является проблема выделения идеологизированного компонента в структуре политических единиц. Сегодня лингвисты признают тот факт, что в семантику общественно-

политического слова входит идеологический компонент, влияющий на семантику слова (В.И. Говердовский, Т.Б. Крючкова, Н.А. Купина, М.Н. Николаев, А. Нойберт, В. Шмидт). Заметим, что уже в дореволюционный период наблюдается тенденция выделения слоев социальной и идеологически значимой лексики и отмечается, что идеологизированность выступает как особенность политического языка, определяемая господствующими идеологическими установками в стране. Традиционно идеологизированная лексика понималась отечественными лингвистами как политическая (А.Л. Голованевский, Е.Д. Поливанов, А.М. Селищев, Р.О. Шор). Л.П. Якубинский (1929) пишет о стремительном процессе идеологизации русского языка, отмечая ошибку Ф.де Соссюра, считавшего языковую политику невозможной и ненужной, а языковой коллектив – пассивным по отношению к изменениям языка, привязанным к языку как унаследованной системе и доказывая, что теоретическая проблема перерастает в проблему общественно-политическую [182]. По наблюдениям В.М.Жирмунского (1936), лексика, заключающая идеологический инвентарь языка, может служить показателем языковой стройки нашего времени, а появление новых слов в языке свидетельствует о его идеологической перестройке [103-104]. Предполагаем, что наличие / отсутствие идеологизированного компонента свидетельствует о зрелости развития политического словаря. В работах отечественных лингвистов можно наблюдать выделение стадий, характеризующих зрелость развития общественно-политической лексики: номинация; вхождение в литературный, затем в разговорный язык; национальное освоение. Каждая из стадий соответствует определенному этапу развития идеологии. Так, идеологические настроения влияют на тенденции развития политического словаря.

Таким образом, словарный состав языка наиболее подвержен общественно-политическим, социальным изменениям и идеологическим перестройкам, и особенно это проявляется в составе политической лексики.

Выводы: 1. Общественные процессы начала XX века значительно повлияли на формирование лексической системы языка, выделив в ней политическую лексику как наиболее важный аспект политической коммуникации.

2. Активные семантические процессы в общественно-политической лексике на первом этапе послереволюционной эпохи привели не к созданию нового языка, а к постепенному совершенствованию политического пространства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бодуэн де Куртэнэ И. Некоторые общие замечания о языковедении и языке.- СПб: Печатня В.И.Головина, 1871.- 38 с.

Голованевский А.Л. Общественно-политическая лексика в словарях 1900-1917 гг. (К проблеме идеологосемантической типологии словарей дореволюционного периода) // Филологические науки, 1986.- №3.- С.25-31.

Жирмунский В. Национальный язык и социальные диалекты.- Л.: Художественная литература, 1936.- 300 с.

Земская Е.А. Активные процессы современного словопроизводства // Русский язык конца XX столетия (1985-1995).- 2-е изд.- М.: Языки русской культуры, 2000.- С.90-141.

История России: В 2 т. Т.2. С начала XIX в. до начала XXI века / А.Н.Сахаров, Л.Е.Морозова, М.А. Рахматуллин и др.; Под ред. А.Н.Сахарова.- М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак»: ООО «Издательство Астрель», 2003.- 862 с.

Карцевский С.И. Из лингвистического наследия.- М.: Языки русской культуры, 2000.- 344 с.

Китайгородская М.В., Н.Н.Розанова. Современная политическая коммуникация // Современный русский язык: Социальная и функциональная дифференциация.- М.: Языки славянской культуры, 2003.- С.151-239.

Купина Н.А. Языковое строительство: от системы идеологем к системе культурем // Русский язык сегодня.- М.: Азбуковник, 2000.- С.182-190.

Мещерский Н.А. О некоторых закономерностях развития русского литературного языка в советский период // Развитие русского языка после Великой Октябрьской социалистической революции.- Л.: ЛГУ, 1967.- С.5-30.

Ожегов С.И. К вопросу об изменениях словарного состава русского языка в советскую эпоху // Вопросы языкознания, 1953.- №2.- С.71-81.

Селищев А.М. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917-1926).- М.: Работник просвещения, 1928.- 248 с.

Словарь академии российской, по азбучному порядку расположенный.- Петроград: Типография при Императорской Российской Академии.- 1806-1822. Ч.2. Д-К, 1809.- 1178 с. Ч.3. К-Н, 1814.- 1444 с. Ч.4. О-П, 1822.- 1536 с. Ч.5. П-С, 1822.- 1142. Ч.6. Отъ С до конца, 1822.- 1475 с.

Словарь русского языка.- Петроград: Типография императорской Академии Наук, 1895-1934. Т.1. А-Д, 1895.- 619 с. Т.2.- Вып.1. Е - Железный.- 1897.- 319 с. Т.2.- Вып.3. За - Заграть.- 1899.- 318 с. Т.4.- Вып.5. Когда - Колпак.- 1911.- 317 с. Т.4.- Вып.7. Концепция - Корпунья.- 1913.- 317 с. Т.4.- Вып.8. Корпусистый - Кошнячек.- 1914.- 317 с. Т.4.- Вып.9. Кошоба - Крикунь.- 1916.- 317 с. Т.5.- Вып.1. Л - Лёгкий.- 1915.- 318 с. Т.5.- Вып.2. Лёгкий - Летунок.- 1927.- 317 с. Т.5.- Вып.3. Летунчик - Лисичий.- 1928.- 157 с. Т.6.- Вып.1.- М - Малый.- 1927.- 159 с. Т.6.- Вып.2.- Малый - Маститый.- 1929.- 157 с. Т.8.- Вып.2. Невремя - Недорубщик.- 1929.- 157 с.

Сорокин Ю.С. Развитие словарного состава русского литературного языка в 30-90-е гг. XIX в.- М.-Л.: Наука, 1965.- 568 с.

Стернин И.А. Социальные факторы и развитие современного русского языка//Теоретическая и прикладная лингвистика.- Вып.2. Язык и социальная среда.- Воронеж: ВГУ, 2000.- 16 с.

Толковник политических слов и политических деятелей.- Петроград: Освобожденная Россия: Гостип, 1917.- №19.- 96 с.

Чудинов А.П. Политическая лингвистика.- Екатеринбург: Уральский гуманитарный институт, 2003.- 194 с.

© Бантышева Л.Л., 2007

Бессонова Л. Е.

Симферополь, Россия

НОВЫЕ ЛИНГВОПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Abstract

The author gives a summary of works in the field of political linguistics that have been completed in recent years in the Ukraine. It serves to prove that Ukrainian scholars show great interest and appreciation of political communication. In their investigation they apply a variety of methods, techniques and approaches. Active and eventful political life in the Ukraine today serves as a rich ground for scientific exploration. At the same time a good deal of works is devoted to the totalitarian past and its relapses, as well as

comparative studies of Russian and Ukrainian political discourse.

В последние десятилетия в украинской лингвистике наблюдается возросший интерес к политической коммуникации, все чаще появляются лингвополитологические исследования, в которых активно анализируются изменения языка, связанные с бурными политическими событиями в обществе. Трудно сказать, произошло ли сегодня в Украине формирование политической лингвистики как самостоятельного научного направления, что заметно проявилось в российской лингвистике последних лет. Вместе с тем совершенно очевидно, что политический дискурс как объект изучения во многом определяет специфику концепций не только политологических, но и лингвистических исследований украинского научного мира.

Интерес ученых к политической коммуникации выявляется прежде всего в системе когнитивно-дискурсивных, коммуникативных и лингвокультурологических приоритетов. В рамках нового подхода в украинской политической лингвистике выделяется несколько взаимосвязанных направлений, определяемых в соответствии с материалом и методами исследования, а также приоритетными задачами самих лингвистов и материалом для исследования.

Так, один из важных аспектов, связанных с изучением политического языка, – это особенности функционирования языка в тоталитарном обществе, описание стратегий речевого поведения и языкового сознания «человека советской эпохи». Эти вопросы достаточно полно отражены в сборнике статей «Мова тоталітарного суспільства», изданном в 1995 г. (Киев), по материалам международной конференции «Язык тоталитарного общества: лексика, синтаксис, прагматика» [1995]. В работах В.М. Брицисина, Г.М. Яворской, Н.П. Шумаровой, С.С. Ермоленко, Л.Т. Масенко, В.А. Ткаченко рассматриваются структурно-семантические и прагматические характеристики языка советской эпохи. С.С. Ермоленко отмечает, что «тоталитаризм языка как моделирующей системы заключается не в конкретном содержании этой системы, истолковывающей мир в духе некоей тоталитарной идеологии, а в его семиотическом характере...» [Мова... 1995: 9]. Нетрудно заметить, что многие участники конференции были полны надежды на то, что смена дискурсивной парадигмы и демократизация общественной жизни быстро приведут к решению всех проблем.

В русле коммуникативной парадигмы проводится лингвистическое исследование языка СМИ, начатое с середины 1990-х годов группой ученых Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко (руководитель темы – проф. Л.А. Кудрявцева). Основной целью рабочей группы является описание влияния языка СМИ на систему общенационального языка и исследование языковых средств, направленных на усиление воздействующей силы масс-медийных текстов (Л.А. Кудрявцева, Л.П. Дядечко, И.А.

Филатенко, А.А. Черненко, Е.В. Святчик и др.).

Вопрос о взаимосвязи языка и идеологии в работах украинских лингвистов рассматривается не только в философском аспекте, но и с позиции социальных и лингвистических универсалий. Особое место среди работ такого рода занимает монография Г.М. Яворской «Прескриптивна лінгвістика як дискурс: мова, культура, влада» [2000], в которой раскрываются проблемы регулирования языковой деятельности общества, взаимосвязи дескриптивного и прескриптивного подходов к языку, соотношения языка и власти. Так, в разделе 5 «Мова та ідеологія: дискурс влади» («Язык и идеология: дискурс власти») автор рассматривает несколько интерпретаций слова «идеология», употребление которого в лингвистическом контексте 1990-х гг. значительно расширилось. Лингвист делает интересные наблюдения над историей термина «идеология», опираясь на философское исследование Дестюта де Траси „*Elément d'idéologie*“ (1801 – 1815), в котором данное понятие было противопоставлено политике как разновидности практической деятельности. Понимание термина «идеология» как способа мышления человека было характерно не только для французской традиции XIX века, но и для западноевропейской научной мысли XX века, и, надо отметить, что оно заметно отличалось от официального толкования в бывших социалистических странах. По мнению Г.М. Яворской, положение о классовом характере идеологии было введено В. Лениным, при этом семантика данного понятия была закреплена метафорической интерпретацией борьбы. «...ідеологія у розумінні Леніна зробилася *політичною зброєю* (курс. – Г.Я.), отже, відірваність ідеології від політичної практики, що так дратувала Наполеона, тут було успішно подолано» [2000: 215]. Исследовательница справедливо отмечает, что язык тоталитаризма может в полной мере рассматриваться как своеобразный эксперимент, при котором были использованы все возможности манипулирования языком как способа жесткого социального контроля.

Приведенные научные тезисы, на наш взгляд, являются весьма ценными для понимания столь активного в политической лингвистике термина «идеологизированный компонент» и для различения понятий «идеологема» и «политема».

Именно в условиях тоталитаризма реализуются все языковые механизмы власти, в связи с этим возникает широкий круг лингвистических проблем. Одна из проблем, до сих пор не решенных, заключается в выявлении общих структурно-семантических моделей в языках тоталитарных стран, так называемых «тоталитарных универсалий» (см. работы сер. 1990-х годов Б.Ю. Нормана). Эти проблемы, а именно: широкое употребление кванторных слов, особый характер референций, устойчивые тоталитарные конструкции, яркая символическая функция политического языка – были обозначены в украин-

ской лингвистике уже в середине 1990-х годов и рассматривались не только в аспекте политической лингвистики, но и в широком когнитивно-семантическом контексте, одно из центральных мест которого занимает соотношение «язык – идеология – власть».

Важное место в изучении политического языка занимает монография О.А. Семенюка «Язык эпохи и его отражение в сатирико-юмористическом тексте» [2001]. Автор исследует язык сатирико-юмористических произведений, которые, на его взгляд, «становятся сегодня заметной воздействующей силой в политической борьбе». В качестве основного материала исследования О.А. Семенюк использовал тексты различных жанров – от социально-сатирического романа до литературного анекдота, а также газетно-публицистические тексты и тексты политической рекламы. Такой оригинальный материал позволил лингвисту сделать интересные наблюдения над языком конца XX в., связанные с изменениями в лексико-фразеологической, грамматической и стилистической системах. Анализируя эти трансформационные процессы, О.А. Семенюк делает вывод о том, что социальные процессы 1990-х, в отличие от 1920-1930-х, активизировали пополнение лексики обоих славянских языков не столько за счет неологизации, сколько благодаря актуализации лексических единиц: «...возвращение к историческому фонду языков, к традициям национальной культуры... сочетается с огромным потоком иноязычных лексических единиц...». Политический текст 1980-1990-х, по мнению автора, отличается сложностью и неопределенностью содержания, избыточной терминологичностью, эвфемизацией и особой метафоричностью – все это находит свое отражение в сатирических текстах. Пародируя дискурс политики, иронизируя над политическим текстом, социум, с одной стороны, нейтрализует или уменьшает его негативное давление, а с другой – косвенно обозначает наиболее распространенные дефекты текста. Не ограничиваясь лексико-семантическим анализом сатирических текстов, О.А. Семенюк предлагает дискурсивное описание коммуникативных моделей, отмечая при этом определенную трансформацию языкового вкуса общества, связанную с формированием нового поколения носителей языка.

Важно отметить, что при комплексном описании политических текстов, лингвисты, отмечая тенденцию динамического развития лексических единиц, как правило, выходят за рамки структурно-семантического анализа: значительная часть работ выполняется в традициях дискурсивного подхода.

Дискурсивному исследованию политических текстов посвящен ряд работ известного украинского ученого Ф.С. Бацевича. Так, в монографии «Нариси з комунікативної лінгвістики» [2003] лингвист приходит к выводу, что в основе, напр., текстов радикально левого и правого спектров общественно-политической мысли со-

временной Украины лежат по существу одинаковые модели публицистической коммуникации и организации языкового кода. Это положение позволяет определить рассматриваемые дискурсивные практики как единый тоталитарный дискурс.

Диалогическую природу политического дискурса отмечают многие украинские лингвисты, рассматривая когнитивно-риторические и коммуникативно-языковые особенности его содержания. Л.Е. Бессонова, определяя место политического дискурса в системе категорий коммуникации, рассматривает когнитивные модели его организации, в основе которых лежит коммуникативное событие, порождающее политический текст. Такой признак текста как процессуальность смысла, по мнению исследовательницы, позволяет представлять политический текст как динамичную знаковую систему значений и структуру. Именно динамика системы смысла и определяет каждое коммуникативное событие [2004]. В центре внимания научных работ Л.Е. Бессоновой – изучение концептуальной и семантической природы ключевых слов политического дискурса. Концепт как одна из текстообразующих категорий, по мнению лингвиста, может описываться лингвистами различных школ и направлений, формируя свое интерпретационное поле [2005].

Одному из известных украинских событий – «помаранчевой революции» – посвящена работа Л.А. Ставицкой «Дискурс помаранчевой страсти» [www.], в которой представлен глубокий коммуникативно-прагматический анализ революционного дискурса 2004 г. Лингвист отмечает новый семантический, коннотативный спектр ключевых слов «помаранчевого» периода, которые вносят важные штрихи в украинскую языковую картину мира, напр., новые обертоны в словах *майдан*, *карусель*, *оранжевый*, *моя нация*, *мой народ* и др., метафорические образы, семантические коды цвета, одежды, символика музыки и т.д. [2004]. Вместе с тем представляется, что «оранжевая революция» и ее последствия еще ждут исчерпывающего описания.

В диссертационном исследовании К.С. Серажим «Дискурс как социолінгвальний феномен современного коммуникативного пространства (методологический, прагматическо-семантический и жанрово-лингвистический аспекты: на материале политической разновидности украинского масовоінформаційного дискурсу)» [2003] подчеркивается, что не только в лингвистике, но и в теории журналистики интенсивно локализуется понятие «текст», и это объясняется тем фактом, что центр образования литературного языка XX века, в связи с глобализацией массово-информационных процессов, переместился в журналистику, расширив тем самым границы ее научной теории. Таким образом, с введением терминов «текст» и «дискурс» как ключевых составляющих современного категориального аппарата журналистики, по мнению автора, проис-

ходит смена научных подходов к объектам исследования.

Исследовательница ставит цель – разработать прагматико-семантическую модель дискурса, а также установить ее коммуникативную и национально-культурную специфику в украинской газетной политической публицистике. В отечественной лингвистике, по убеждению автора данного исследования, это первое комплексное исследование дискурса как основного методологического и теоретического обоснования современной гуманитарной научной парадигмы.

Модели дискурса можно представить при условии прагматико-семантического подхода к описанию дискурса – так рассматривает архитектуру политического дискурса Е.С. Серажим. В соответствии с этим на основе дихотомии «текст – дискурс» лингвист разграничивает понятия «текст» и «дискурс», «дискурс» и «речь», отмечая при этом, что основное отличие между «дискурсом» и «речью» находится в плоскости «общественное – индивидуальное». Прагматическая организация дискурса зависит, безусловно, от используемых в процессе его порождения стратегий. Исследовательница, выделяя аргументацию как одну из основных, подчеркивает, что в начале 1990-х годов в дискурсивной лингвистике основное внимание уделялось эмоциональной аргументации, однако со временем украинские политики обращаются к другим ее типам, напр., логической, которая предполагает обращение к ценностям адресата. В диссертации самостоятельным разделом является описание языковой репрезентации политического дискурса в современном информационном пространстве Украины. При таком комплексном анализе, охватывающем прагматический, лексический, семантический, лингво-текстологический и стилистический уровни исследования, Е.С. Серажим делает выводы о значительных изменениях в политическом языке постсоветского периода.

Не меньший интерес представляет и исследование К.С. Серажим «Сучасний український політичний дискурс: формування нового стилістичного канону (дисертаційне дослідження)», которое было посвящено семантико-стилистическому анализу газетного текста. Новые условия функционирования СМИ, по мнению автора, способствуют формированию нового «стилистического канона», под которым понимается единство структурных и содержательных принципов организации языковых единиц. Автор анализирует язык прессы последних десятилетий в семантико-стилистическом аспекте, отмечая появление в политическом тексте конца XX в. стилистической оппозиции «новое – старое», которая явно соотносится с известной оппозицией «свое – чужое». При анализе автор, опираясь на известные публикации российских ученых (М. Панов, А. Баранов, Е. Казакевич, Е. Какорина и др.) и сопоставляя российские и украинские закономерности, вы-

деляет основные черты политического языка советской и постсоветской эпохи.

Дискурсивные исследования политической коммуникации дополнились в последнее десятилетие работами в области гендерной лингвистики. Так, дискурс-анализ виртуального мира политики, проведенный Л.Ф. Компанцевой, позволил сделать интересные выводы о гендерной маркированности текстов [2004]. Многие украинские специалисты обращают значительное внимание на индивидуальные особенности речи женщин, достигших успеха в политической борьбе, и прежде всего на речь страстные высказывания Юлии Тимошенко.

В диссертационной работе О.И. Андрейченко «Лексико-фразеологическая основа текстов политических дискуссий (на материале украинской прессы конца XX – начала XXI столетия)» [2006] описывается лексико-фразеологическая основа текстов политических дискуссий, которые составляют самостоятельный коммуникативный жанр в контексте политического дискурса. Автор утверждает, что обязательный элемент дискуссий – аргументативность (доказательность), это и дает основание выделить тексты политического содержания в особый жанр, характерный для политического дискурса начала XXI века. Это положение лингвист иллюстрирует яркими примерами метафор, оценочной лексики, фразеологических единиц, синтаксических элементов, являющихся основными способами репрезентации аргументативности.

Семантика русского политического слова в историческом аспекте является объектом представленного к защите диссертационного исследования Л.Л. Бантышевой «Структурно-системный анализ общественно-политической лексики русского языка конца XIX – начала XX вв.» [2007].

В рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы выполнено диссертационное исследование П.Г. Крючковой «Авторитарный дискурс (на материале современного английского языка)» [2003], в котором описываются коммуникативные признаки и смыслообразующие компоненты авторитарных текстов на материале речей современных политических деятелей, Интернет-сайтов, сценариев фильмов и т.д. В работе анализируются разнообразные способы выражения авторитарности, выделяются основные критерии авторитарного дискурса, которые отличают его от иных дискурсов. При построении моделей авторитарного взаимодействия исследовательница рассматривает идиомы нескольких авторитарных личностей (напр., Дж.Буша). Таким образом, данная работа определяет перспективу дальнейшего изучения дискурсивной лингвистики в коммуникативном пространстве стратегий и тактик авторитарных коммуникантов.

Значительный интерес представляет исследование доктора филологических наук, профессора А.А. Бойко «Політика і релігія у дзеркалі преси» [http]. Автор детально анализирует комму-

никативную практику СМИ религиозных организаций Украины. Исследование концептуальных особенностей периодических изданий, христианских конфессий в Украине (353 издания) в период президентской выборной кампании, определяется их влияние на формирование общественной мысли. Исследователь полагает, что игнорирование такого сегмента СМИ в обществе приводит к его полной автономии.

Среди лучших публикаций по проблемам политической лингвистики необходимо отметить исследование харьковского специалиста А. Литовченко «Господствующий дискурс и основные политические мифы современной Украины» [http:]. Исследователь исходит из понимания дискурса как «системы образов языкового происхождения, сформированной обществом». При этом уточняется, что основой дискурса являются мифы: «из мифов конструируется дискурс, который далее использует эти и новые мифы как орудие борьбы». Политическая коммуникация в Украине, по мнению автора, строится на борьбе дискурсов различных типов, основой которой является система мифов, которые существенно отличаются на Западе и Юго-Востоке страны. Эта же проблема решается и в статье Н.В. Солодовниковой «Мифологический образ воды в современной политической метафоре (на материале украинских СМИ)» [2006].

Одно из направлений в украинской политической лингвистике – исследование идиостилей ведущих украинских и российских политических лидеров. Так, А.И. Башук [2006] проводит коммуникативно-стратегический анализ ритуальных политических речей В. Ющенко и В. Путина, выделяя при этом контекстуальные и семантико-психологические стратегии. На основе широкого текстового материала автор предлагает типологию коммуникативных стратегий, описывая способы их реализации [Башук 2006]. Анализируя политические речи российских и американских политиков, В.В. Демецкая отмечает тесную связь коммуникативных интенций и речевых форм их выражения. Так, опыт интралингвистического и интерлингвистического анализа текстов в кросс-культурном аспекте позволяет, по мнению исследовательницы, определить модели политического дискурса [Демецкая 2006].

Итак, даже самый краткий обзор позволяет сделать вывод о том, что в современной Украине заметно возрастает интерес к изучению политической коммуникации с использованием эвристик самых различных научных направлений (когнитивное, семантическое, лингвокультурологическое, стилистическое, коммуникативное, социолингвистическое и др.) и опыта зарубежной науки. Этот интерес во многом связан с обострением в стране политической борьбы, в которой активно используются самые различные средства, тактики и приемы коммуникативного воздействия на избирателей. Интенсивная политическая жизнь ведет к постоянному развитию лексики, фразеологии и иных систем национального языка, к поиску все новых и новых

средств прагматического воздействия на массовую аудиторию. Следует также отметить, что значительное число публикаций посвящено осмыслению опыта тоталитарного прошлого, а также сопоставлению российского и украинского политического дискурса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Андрейченко О.И. Лексико-фразеологическая основа текстов политических дискуссий (на материале украинской прессы конца XX – начала XXI столетия). – Автореф. дисс... канд. филол. наук по спец. 10.02.01 – украинский язык. / Институт укр. языка НАН Украины. – Киев, 2006. – 23 с. – укр.

Бантышева Л.Л. Структурно-системный анализ общественно-политической лексики русского языка конца XIX – начала XX вв. Автореф. дисс.... канд. филол. наук. – Симферополь, 2007.

Бацевич Ф.С. Нариси з комунікативної лінгвістики: Монографія. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 281 с.

Башук А.И. Коммуникативно-стратегический анализ политического текста // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Филология». – Т.19 (58). – 2006. №2.

Бессонова Л.Е. Коммуникативные аспекты политического дискурса // Ученые записки ТНУ им. В.И.Вернадского. Т.16 (55). - №1: Филологические науки. – Симферополь, 2004. – С.22-27.

Бессонова Л.Е. Новые тенденции в исследовании концепта // Лексико-граматичні інновації в сучасних слов'янських мовах. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – С.30-33.

Бойко А.А. Політика і релігія у дзеркалі преси. [<http://journalib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1348>].

Демецкая В.В. Динамика функционирования концепта «политика» в политической речи: интралингвистическая адаптация // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Филология». – Т.19(58). - 2006. №2.

Компанцева Л.Ф. Дискурс-анализ украинского политического Интернета (гендерный аспект) // http://www.russcomm.ru/rca_biblio/k/kompantseva.shtml // Актуальные проблемы теории коммуникации. СПб.: - Изд-во СПб, 2004. - С. 112-134.

Крючкова П.Г. Авторитарный дискурс (на материале современного английского языка): Автореф. дисс.... канд. филол. наук: 10.02.04 – германские языки / Киевский нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2003. – 21 с. – укр.

Литовченко А. Господствующий дискурс и основные политические мифы современной Украины // <http://serpkharkov2001.narod.ru/litovchenko.htm>.

Мова тоталітарного суспільства/ Отв.ред. Г.М.Яворская. – Киев, 1995. – 126 с.

Семенюк О.А. Язык эпохи и его отражение в сатирико-юмористическом тексте. – Кировоград: РИЦ КГПУ им.В.К.Винниченко, 2001. - 368 с.

Серажим К.С.. Сучасний український політичний дискурс: формування нового стилістичного канону (дисертаційне дослідження) <http://journalib.univ.kiev.ua/>

Серажим К.С. Дискурс как социолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору (методологічний, прагматично-семантичний і жанрово-лінгвістичний аспекти: на матеріалі політичної різноманітності українського масовоінформаційного дискурсу). Автореф. дис... д-ра филол. наук: 10.01.08 / Киев. нац. ун-т им. Т.Шевченко. Ін-т журналістики. - Киев, 2003. - 32 с. - укр.

Солодовникова Н.В. Мифологический образ воды в современной политической метафоре (на материале украинских СМИ)//Ученые записки ТНУ им. В.И.Вернадского. Т.19 (58). - №1: Филологические науки. – Симферополь, 2006. – С.195-202.

Ставицкая Л.А. Дискурс помаранчевої пристрасти //

www.textology.ru/public.html

Яворская Г.М. Прескриптивна лінгвістика як дискурс: мова, культура, влада / Нац. акад. наук України. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Киев, 2000. – 288 с.

© Бессонова Л.Е., 2007

Будаев Э. В., Чудинов А. П. Нижний Тагил, Екатеринбург, Россия МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЛОГИИ

Abstract

The paper reviews a methodological variety of approaches to political metaphor analysis within a new branch of contemporary linguistics – political metaphorology. As political metaphor is a complex phenomenon the new branch takes shape at the intersection of several lines of investigation, namely 1) cognitive linguistics, 2) discourse-analysis, 3) cultural linguistics, 4) psychology and neuroscience, 5) social sciences.

В последние десятилетия наиболее перспективные научные направления чаще всего возникают в зоне соприкосновения различных областей знания. Одним из таких направлений стала политическая метафорология, сформировавшаяся на пересечении политической лингвистики и метафорологии.

Становление первой области исследований – политической лингвистики – связано с планомерным изучением политической коммуникации, которое началось еще в середине прошлого века и опиралось на пионерские исследования Гарольда Лассвелла, Пола Лазарсфельда, Уолтера Липпманна, Виктора Клемперера, Джорджа Оруэлла и других видных специалистов. В конце прошлого столетия в лингвистике формируется обособленное направление, в центре внимания которого находится теория и практика анализа политического дискурса. Для обозначения этого направления исследований в мировой науке закрепилось наименование «политическая лингвистика» [Belgian 1997; Burkhardt 1996; Klein 1998; Sarcinelli 1989; Баранов 2001; Паршин 2001; Мухарьямов, Мухарьямова 2002; Романов 2002 и др.], хотя иногда встречаются и смежные обозначения, акцентирующие те или иные аспекты политического семозиса (напр., «политологическая филология», «политологическое литературоведение», «политологическая лингвистика» [Демьянков 2002], «политическая семантика» [Politische 1989], «политическая дискурсология» [Русакова, Максимов 2006]).

Вторая область исследований, по сути, имеет более чем двухтысячелетнюю историю: известно, что многие современные исследования по-прежнему базируются на определении, идущем еще от Аристотеля, который утверждал, что метафора – это имя, перенесенное с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид. Однако, несмотря на значительный объем накопленных знаний о метафоре, интерес к ней в настоящее время не только не ослабевает, а наоборот, усиливается в связи с переходом изучения метафоры на качественно новый уровень. В последние десятилетия сформировалась самостоятельная научная область – метафорология [Лагута 2003], объектом исследования

которой является метафорика, включающая в себя как результаты метафорогенной деятельности человека, так и все механизмы этой деятельности (нейрологический, синестетический, когнитивный, коммуникативный). Метафорология объединяет усилия философов, логиков, специалистов в области информатики, социологов, психологов, лингвистов, литературоведов и представителей иных наук для более адекватного и всестороннего анализа феномена метафоры.

Сближение этих двух направлений обусловлено как бурным развитием исследований, посвященных политической коммуникации, так и переосмыслением самого понятия метафоры, новым пониманием ее роли в организации ментальных процессов и языковой картины социальных отношений. Возникновение политической метафорологии – одно из проявлений общей тенденции в эволюции современной лингвистики, проявляющейся в утверждении принципов методологического плюрализма, антропоцентризма и междисциплинарности.

Функционирование метафоры в политическом дискурсе довольно сложный феномен, поэтому неудивительно, что политическая метафора как объект политической метафорологии рассматривается с разных методологических позиций и в разных дисциплинах.

1. Политическая метафора и когнитивная лингвистика. Когнитивная лингвистика – направление, в центре внимания которого находится язык как общий когнитивный механизм и когниция в ее языковом отражении. Когнитивная лингвистика возникла в США (М. Джонсон, Р. Джэкендофф, Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Л. Талми, М. Тернер, Ч. Филлмор, Ж. Фоконье, У. Чейф и др.) и получила значительное распространение, дальнейшее развитие и свою интерпретацию в российской науке (Н.Д. Арутюнова, А.Н. Баранов, Н.Н. Болдырев, В.З. Демьянков, Д.О. Добровольский, В.И. Карасик, Ю.Н. Караулов, Е.С. Кубрякова, В.В. Петров, Е.В. Рахилина, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин, А.П. Чудинов и др.).

В основе когнитивной теории метафоры лежит идея о том, что метафора – это феномен не лингвистический, а ментальный: языковой уровень лишь отражает мыслительные процессы. Метафоры в языке – это не украшение мыслей, а лишь поверхностное отражение концептуальных метафор, заложенных в понятийной системе человека и структурирующих его восприятие, мышление и деятельность. В основе метафоризации лежит процесс взаимодействия между структурами знаний двух концептуальных доменов – сферы-источника и сферы-мишени. В результате метафорической проекции из сферы-источника в сферу-мишень сформировавшиеся в результате опыта взаимодействия человека с окружающим миром элементы сферы-источника структурируют менее понятную концептуальную сферу-мишень, что составляет сущность когнитивного потенциала метафоры.

Исследования концептуальной метафоры в

сфере политической коммуникации получили особое распространение. Перспективы применения когнитивных эвристик к политическому дискурсу были намечены основателями теории концептуальной метафоры Дж. Лакоффом и М. Джонсоном [1980]. Помимо общей характеристики теории, американские исследователи рассмотрели следствия военной метафоры Дж. Картера и показали, что, казалось бы, совершенно лишняя эмоциональная оценка метафора ТРУД – ЭТО РЕСУРС позволяет скрывать антигуманную сущность экономической политики государств как с рыночной, так и с тоталитарной экономикой.

Положение о том, что субъект склонен реагировать не на реальность как таковую, а скорее на собственные когнитивные репрезентации реальности, приводит к выводу, что и поведение человека непосредственно определяется не столько объективной реальностью, сколько системой репрезентаций человека. Из этого следует, что выводы, которые мы делаем на основе метафорического мышления, могут формировать основу для действия. Это объясняет особенно повышенный интерес современных исследователей к когнитивному анализу политической метафоры по всему миру (см. [Будаев, Чудинов 2006а]).

На современном этапе исследователей когнитивной политической метафоры интересуют два типа корреляции метафорических выражений и сознания человека. С одной стороны, корпусные исследования метафор позволяют выявить структуры «коллективного подсознательного», которые не выражены эксплицитно. Этот аспект можно сформулировать как «сознание (подсознательное) определяет метафоры». Вместе с тем прагматический потенциал метафор сознательно используется в политическом дискурсе для переконцептуализации картины мира адресата. Этот подход можно выразить в формуле «метафоры определяют сознание». Первый аспект рельефно проявляется в исследованиях стертых метафор, второй – при анализе ярких, образных, хотя жесткого разграничения, конечно же, нет.

По степени детализации анализируемого концептуального содержания можно выделить несколько подходов к когнитивному анализу политической метафоры. На первом уровне анализа выделяется группа исследований, авторы которых детально изучают метафоры, связанные с конкретными концептами сферы-источника. Примерами могут служить исследования метафор «Политика – это мост» [Benoit 2001], «Политика – это труд» [Berhó 2000], «Чехословакия – это двойной дом» [Drulak 2005].

При более широком охвате ученые анализируют одну конкретную сферу-источник метафорической экспансии и детально ее описывают. Опыт показывает, что сосредоточение внимания исследователя на одной модели позволит охарактеризовать эту модель максимально полно, изучить ее «под лингвистическим микро-

скопом» и благодаря этому обнаружить закономерности, ускользающие при обозрении всей широкой картины. Так, И.В. Телешева [2004] детально рассмотрела российские и американские метафоры со сферой-источником «Болезнь». В диссертации Н.М. Чудаковой [2005] предметом исследования стали только метафоры со сферой-источником «Неживая природа» в современном российском политическом дискурсе. В зарубежной лингвистике подобный характер имеют, в частности, недавние исследования М. Далмо [Dalmau 2005] и А. Мусолффа [Musolff 2006], проанализировавших метафоры родства в политических дискурсах нескольких европейских стран, и Л. Рязановой-Кларке [Ryazanova-Clarke 2004], рассмотревшей российскую криминальную метафорическую модель.

На следующем уровне предметом исследования становятся несколько сфер-источников, объединяемых по определенным критериям (концептуальный вектор, понятийная смежность семантических разрядов, прагматический потенциал и др.). Так, в исследовании Рязановой А.Б. [2002] детально анализируются метафорические поля со сферами-источниками «Война», «Криминал» и «Мир животных», которые в современном российском политическом дискурсе отличаются максимальной агрессивностью прагматического потенциала. В диссертации Н.Г. Шехтман [2006] рассматриваются метафорические модели со сферами-источниками «Спорт» и «Театр», которые относятся к числу зрелищных феноменов. В диссертации Вершининой Т.С. [2002] предметом изучения стала группа органистических метафор (зооморфная, фитоморфная и антропоморфная метафора) в современном российском политическом дискурсе.

Основанием для объединения исходных понятийных областей может служить гендерный фактор [Gidengil, Everitt 1999, 2003], общность когнитивных структур базового уровня категоризации (термин Э. Рош) [Sandikcioglu 2003; Zinken 2002]. В монографии И. Насальски выделены египетские политические метафоры, акцентирующие смысл переходного состояния в развитии общества (беременность, болезнь, пробуждение, дорога и др.) [Nasalski 2004].

На самом общем уровне исследователь стремится по возможности полно охарактеризовать все наиболее важные сферы-источники метафорической экспансии. Лингвисты осуществляют мониторинг комплексов метафорических моделей за продолжительные периоды времени и создают лексикографические описания. В России ярким примером такого подхода стали словари А.Н. Баранова и Ю.Н. Караулова [1991; 1994]. В 1999-2002 гг. в Билефельдском университете был реализован российско-немецкий проект по сравнительному изучению русской и немецкой политической метафорики эпохи перестройки и «поворотного» периода (die Wende-Periode) в Германии [Baranov, Zinken 2003; Zinken 2004; Zybatow 1998].

В XXI в. по всему миру реализуются проекты, посвященные комплексному и многоаспектному анализу концептуальных метафор. Среди них монографии А. Мусолффа [Musolff 2000, 2004], А.П. Чудинова [2001, 2003], Дж. Вэй [Wei 2001], О. Санта Аны [Santa Ana 2002], Дж. Чартериса-Блэка [Charteris-Black 2004a, 2004b].

2. Политическая метафора и дискурс-анализ. Как показывают специальные обзоры, в лингвистике нет однозначного определения термина «дискурс». По справедливому замечанию Дж. Юла, «дискурс-анализ охватывает широкий спектр научной деятельности, начиная от узко сфокусированного исследования того, как слова «oh» и «well» используются в обыденной речи, до изучения доминирования идеологий в определенной культуре, представленных, напр., в образовательных или политических дискурсивных практиках» [Yule 2000: 83].

Наибольшее распространение получило определение дискурса как сложного коммуникативного явления, включающего кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресата), необходимые для понимания текста [Караулов, Петров 1989: 8], как «текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами» [Арутюнова 1990: 136–137]. Преимущество такого подхода в том, что дискурс не ограничивается рамками собственно текста, а включает также социальный контекст коммуникации, характеризующий ее участников, процессы продуцирования и восприятия речи с учетом фоновых знаний.

В лингвистике сложилось два основных направления анализа политического дискурса: критический и дескриптивный [Fairclough 1985]. Критический подход направлен на исследование социального неравенства, выраженного в дискурсе. Как отмечает Т. ван Дейк, среди исследователей этого направления «не может быть ученых, занимающих отстраненную и тем более индифферентную позицию» [van Dijk 1993: 253]. В современной лингвистике критический дискурс-анализ получил широкое распространение, особенно применительно к анализу метафорики антииммигрантского дискурса [Baker, McEnery 2005; El Refaie 2001; Hardy 2003; Johnson 2005; O'Brien 2003; Santa Ana 1999, 2002].

Несмотря на широкую популярность критического дискурс-анализа, некоторые исследователи подвергают эту методологию критике. Так, известный специалист в области политической коммуникации и политической метафоры П. Чилтон отмечает, что сторонники критического дискурс-анализа «пытаются бороться с несправедливостью различного рода, но едва ли возможно серьезное воздействие исследователей дискурса на продолжающийся геноцид, угнетение и эксплуатацию, свидетелями которого мы являемся» [Chilton 2004: x]. По мнению исследователя, большей научной значимостью для достижения постулируемых последователями

критического дискурс-анализа целей обладают разработки в области когнитивной науки, чем идеологические позиции субъекта исследования [Chilton 2005].

Со своей стороны представители критического дискурс-анализа указывают на «мистический» характер когнитивных изысканий. В частности Н. Фэрклоу и его последователи отказываются от использования когнитивной методологии, связывая свою позицию с тезисом о принципиальной невозможности проникнуть в «черный ящик» сознания [Chouliaraki, Fairclough 1999].

Это противостояние мнений в зарубежной лингвистике продолжает уже имеющий свою историю спор о том, что лежит в основе связи политического поведения и метафоры. Если сторонники критического дискурс-анализа настаивают на социальной первичности метафоры, ее укорененности в социальных практиках, то когнитивисты видят в метафоре ментальную первооснову.

На наш взгляд, в радикальной форме обе позиции представляются методологическими крайностями, не учитывающими диалектического характера факторов метафорогенеза. В российской науке метафизичность как гносеологический принцип преодолевается в когнитивно-дискурсивной парадигме, позволяющей рассматривать политическую метафору одновременно как ментальный и лингвосоциальный феномен. Соответственно только когнитивная или только дискурсивная трактовка политической метафоры препятствует ее адекватному описанию. Как отмечает Е.С. Кубрякова, «в реальной жизни когниция и коммуникация тесно между собой связаны, и провести между ними строгие границы можно лишь достаточно условно, в когнитивно-дискурсивной парадигме возникает задача реалистического отражения функционирования языка и отдельных его категорий, единиц или конструкций, и усилия исследователя направляются прежде всего на то, чтобы выяснить, как и каким образом может удовлетворять изучаемое явление и когнитивным, и дискурсивным требованиям» [Кубрякова 2004: 520].

Вместе с тем среди зарубежных специалистов синтез когнитивных и дискурсивных эвристик применительно к дискурс-анализу политических метафор находит все больше сторонников [Hülse 2003; Musolff 2004; Zinken 2002]. В частности, известный специалист в области критического дискурс-анализа Р. Водак в одной из последних работ пишет о том, что «когнитивный и социокогнитивный подходы должны стать частью исследований дискурсивных практик, поскольку задачей любого направления в критическом дискурс-анализе является анализ / понимание и объяснение социальных проблем междисциплинарного характера» [Водак 2006: 108].

Отметим, что критическая составляющая вполне имеет право на существование и в рамках когнитивно-дискурсивного анализа. Специальных исследований по воздействию исследо-

ваний метафоры критического толка на политические процессы не проводилось, однако едва ли можно полностью отрицать влияние научной деятельности официального советника Демократической партии Дж. Лакоффа на недавнюю победу демократов в США (помимо прочего имеются в виду три его последние книги [2004; 2006а; 2006б], которые использовались политиками-демократами в качестве пособий по коммуникации и получили самый широкий резонанс далеко за пределами научных кругов).

При дескриптивном подходе к дискурс-анализу политической метафоры превалирует стремление описать и объяснить феномены, избегая при этом собственной (особенно связанной с политическими убеждениями субъекта исследования) идеологической оценки, что, конечно, связано не с отсутствием гражданской позиции, а с представлениями о критериях научной объективности исследования.

В политической метафорологии дескриптивный дискурс-анализ представлен многими направлениями. Среди них дискурсивная теория демократизации, суть которой состоит в том, что истоки демократических преобразований в обществе следует искать в дискурсивных инновациях, а не в изменении социальных или экономических условий. В рамках этой теории метафоре отводится роль каузального фактора общественно-политических изменений [Андерсон 2006; Anderson 2001].

Синтез эвристик исследования метафоры и методов дискурсивного анализа социальных структур по А. Вендту осуществил П. Друлак [Drulak 2006]. Базовая идея подхода состоит в том, что дискурсивные структуры являются отражением структур социальных. Исследователь проанализировал метафоры, которые использовали лидеры 28 европейских стран в дебатах о составе и структуре Европейского Союза. Выделив метафоры самого абстрактного уровня, П. Друлак выявил, что лидеры стран ЕС предпочитают наделять надгосударственное объединение чертами единого государства, а лидеры стран-кандидатов предпочитают видеть в ЕС сбалансированное объединение государств.

Важное место в политической метафорологии занимает комбинаторная теория кризисной коммуникации (CCC-theory) Х. де Ландтсхеер и ее единомышленников. Некогда Х. де Ландтсхеер доказала на примере анализа голландского политического дискурса, что существует зависимость между частотностью метафор и общественными кризисами [De Landtsheer 1992]. В очередном исследовании Х. де Ландтсхеер и Д. Фертессен [Vertessen, De Landtsheer 2005], сопоставив метафорику бельгийского предвыборного дискурса с метафорикой дискурса в периоды между выборами, обнаружили, что показатель метафорического индекса увеличивается в предвыборный период. Подобные факты, по мысли авторов, еще раз подтверждают тезис о важной роли метафоры как средства воздействия на процесс принятия решений и инструмен-

та преодоления проблемных ситуаций в политическом дискурсе.

Еще одно направление представлено исследованиями в русле постмодернистской теории дискурса. Теория постулирует всеобщую метафоричность всякой сигнификации, а анализ политического дискурса считается наиболее подходящим способом выявления этой онтологической метафоричности. Все «пустые означающие» (empty signifiers) политического дискурса конститутивно метафоричны, причем метафоричность проявляется в различной степени [Laclau 1996]. При таком подходе стирается граница между метафоричностью и «буквальностью» (метафорическим может считаться, напр., лозунг «We can do it ourselves» – «Мы можем сами собой управлять»), а при анализе дискурса можно говорить только о степени метафоричности «пустых означающих» [Hansen 2005].

По мнению В. Моттьер [Mottier 2005], адекватный анализ проблемы взаимодействия метафоры и властных отношений необходимо основывать на синтезе герменевтического подхода с эвристиками дискурсивного анализа М. Фуко, что позволит преодолеть крайности слишком широкого деконструктивизма и слишком узкого когнитивизма.

На современном этапе идущая от Ф. де Соссюра структуралистская традиция анализа языковой системы сменяется активным внедрением в лингвистические исследования теории дискурс-анализа, вовлечением в методологический аппарат политической метафорологии широкий экстралингвистический контекст. В современной лингвистике структуралистский подход к метафоре сохраняет свою значимость (см. [Москвин 2006]), однако его эвристики ограничиваются системно-языковыми вопросами и мало подходят для анализа дискурса, для изучения того, как люди на самом деле говорят и пишут, а именно данный аспект приобретает в современном обществе все большую актуальность. По справедливому замечанию Е.С. Кубряковой, «дискурсивная деятельность носит отчетливо выраженный специализированный характер, т.е. не может быть описанной вне указания на «среде» ее функционирования» [Кубрякова 2004: 526].

Вместе с тем важно отметить, что современная политическая метафорология не отказалась от всего лучшего, что было в традиционных учениях о метафоре. Более того, феномен функционирования метафоры в политической коммуникации активно изучался с середины прошлого века, а идеи, положенные в основу современных подходов к дискурс-анализу, в той или иной степени разрабатывались в работах по политической метафоре в русле исследований по риторике и прагматике (см. [Будаев, Чудинов 2006]).

3. Политическая метафора и лингвокультурология. Лингвокультурология – направление современной лингвистики, возникшее на стыке языкознания и культурологии. Лингвокультурологический подход помогает решать одну из ак-

туальных проблем политической метафорологии, заключающуюся в выявлении закономерностей метафорического моделирования картины мира в политических дискурсах различных государств. С одной стороны, многочисленные исследования фиксируют общие кросскультурные черты политической метафорологии. «Современные средства массовой информации составляют уже своеобразный интердискурс, в котором различия отдельных... языков – вещь чисто поверхностная. При обсуждении современных событий мировая пресса мгновенно подхватывает сказанное кем-то удачное выражение, оно разносится по изданиям и языкам.... Мы смотрим на мир (или нам предлагается смотреть) очень схоже» [Шмелева 2001: 5].

С другой стороны, следует согласиться с тем, что «наиболее фундаментальные культурные ценности согласованы с метафорической структурой основных понятий данной культуры» [Лакофф, Джонсон 1990: 404]. Аналогичные мысли неоднократно высказывали и отечественные специалисты (Апресян Ю. Д., Баранов А. Н., Верещагин Е. М., Гак В. Г., Караулов Ю. Н., Костомаров В. Г., Кубрякова Е. С., Успенский Б. А. и др.).

Ряд примеров лингвокультурологической специфики метафорического осмысления политики находим в монографии Б. Льюиса «Язык ислама» [Lewis 1988]. Если на Западе глав государств часто сравнивают с капитаном или рулевым корабля, то метафоры лидерства в исламе связаны с искусством верховой езды. Мусульманский лидер никогда не стоял за штурвалом, но часто сидел в седле и держал ноги в стремях. Также его власть никогда не ассоциировалась с образом солнца, потому что испепеляющее солнце не радует жителей Востока. Мусульманский лидер закрывает подданных благодатной тенью, спасающей от палящего солнца, и одновременно сам является «тенью Бога на земле». Если мы обратимся к метафорам стран Запада и России, то обнаружим, что в них метафора монарха как солнца довольно традиционна. Достаточно вспомнить французского Короля Солнце (Людовика XIV) или собирательный образ древнерусского князя Владимира Красное Солнышко.

Интересны наблюдения Б. Льюиса по поводу ориентационных метафор. На Ближнем Востоке властные отношения в большей степени представляются в горизонтальных, нежели вертикальных понятиях. Человек во власти не бывает внизу или сверху, но внутри или снаружи, рядом или далеко. В исламском обществе власть и статус больше зависят от близости к правителю, чем от ранга во властной иерархии. Правители Ближнего Востока чаще предпочитали дистанцироваться от критически настроенного окружения, чем понижать их в ранге, или отправляли неугодных в ссылку, вместо того чтобы бросить их в подземелье. Разумеется, речь не идет о бунтарях и явных мятежниках, с которыми и на Западе и на Востоке власть имущие

поступали примерно одинаково.

Достаточно рельефно специфика политических метафор Востока проявляются в гендерных стереотипах исламских государств [Будаев 2006]. Межкультурное сопоставление политической метафоры Запада и Востока позволяет сделать вывод о том, что картина политической действительности часто структурируется в соответствии с противопоставлением мужского и женского начал, но оценочные смыслы варьируются в политическом дискурсе гетерогенных культурных сообществ.

Причины культурного своеобразия национальных метафор довольно прозрачны. Их оценочные смыслы связаны с геоклиматическими условиями того ареала, на котором формируется культура, с традициями, предписывающими соответствующие стереотипы поведения, и другими факторами, имеющими многовековую историю. Вместе с тем система политических метафор даже в самом традиционном обществе не представляет собой раз и навсегда заданную систему концептуальных координат для осмысления реальности. Изменения в инвентаре политических метафор определенной культуры связаны как с внутренними потребностями, так и с инокультурным влиянием.

Примеры лингвокультурологической специфики политической метафоры приводит Дж. Вэй, рассматривая традиционную китайскую цветовую символику и ее взаимодействие с новообразованиями в метафорике. По данным исследователя, в современном тайваньском политическом дискурсе получила широкое распространение метафора шляпы как символа власти. При этом большое значение имеет ее цвет: красный цвет связан со взяточничеством, золотой – с финансовыми скандалами, черный – с культивированием непотизма, желтый – с прелюбодеянием. Таким образом, политик, который, напр., «носит красную шляпу», косвенно обвиняется автором метафоры в коррупции [Wei 2001: 75-77].

Межкультурное своеобразие в концептуальных картинах мира может быть связано с особенностями ситуативной интерпретации определенных политических событий. В этом отношении наиболее известна Интернет-публикация Дж. Лакоффа, в которой рассмотрен контраст между метафорическим осмыслением кризиса в Персидском заливе в США и арабских странах [Lakoff 1991].

Межкультурные различия в актуализации политических метафор прослеживаются не только при анализе традиционной специфики национальной картины мира, но и при исследовании частотности или продуктивности метафорических моделей, характерных для всех сопоставляемых дискурсов. Напр., израильские исследователи А. Абади и Я. Сакердоти [Abadi, Sacerdoti 2001], сравнив метафоры израильского и американского политических дискурсов, обнаружили, что метафорическая модель со сферой-источником «Война» более продуктивна и

частотна в израильском дискурсе, в то время как спортивные метафоры более распространены в дискурсе США. Авторы объясняют полученные результаты тем, что жизнь рядовых израильтян в большей степени связана с армией, чем жизнь американцев. Постоянные арабо-израильские конфронтации находят выражение во всепроникающей милитаризации израильского общества. Наоборот, в Израиле отсутствует характерный для США «культ спорта». В частности, количество популярных в США видов спорта значительно превосходит аналогичные показатели в Израиле.

Лингвокультурологический ракурс рассмотрения политической метафоры позволяет показать, что национальная метафорика в одних своих аспектах отражает национальную культуру и национальный менталитет, в других – типична для определенного культурного пространства (Запад, Россия, Восток, Африка и др.), а в третьих – имеет общечеловеческий характер. Продолжение лингвокультурологического исследования метафоры, задействованной в политическом дискурсе, позволит лучше разграничить закономерности, общие для всего цивилизованного мира или какой-то его части, и специфические признаки того или иного национального политического дискурса.

4. Политическая метафора, психология и нейронаука. Осознание того факта, что метафора первично ментальный, а не языковой феномен, все чаще инициирует обращение ученых к психолингвистическим и психоаналитическим методикам при анализе политической коммуникации. Такие исследования часто направлены на изучение политической метафоры не как средства убеждения, а как отражения сознательных или бессознательных представлений коммуникантов о политической реальности.

Среди исследований политической метафоры, находящихся основания в теориях глубинной психологии, выделяется монография С. Кина [Keen 1988]. Опираясь на методологию юнгианской школы психоанализа, автор обратился к анализу архетипа тени в политической агитации и пропаганде. С. Кин показывает, что на агитационных плакатах и в политических карикатурах XX в. противоборствующие стороны во всех крупных военных конфликтах изображали друг друга с помощью дегуманизирующих метафор, среди которых наиболее распространены образы насильника, зверя, рептилии, насекомого, микроба, смерти, безликой орды и врага Бога.

С позиций психоанализа М. Аугустинос и С. Пенни [Augoustinos, Penny 2001] рассмотрели вопрос о том, как австралийские политики представляют проблему примирения между аборигенным и неаборигенным населением Австралии. Проанализировав 12 выступлений политиков (6 аборигенов и 6 неаборигенов), удалось показать, что в основе осмысления проблемы лежит архетипический метафорический образ совместного путешествия.

Свои собственные эвристики в рамках этой методологической группы предлагает психолингвистика. Психолингвистические методы исследования метафоры позволяют получать данные об особенностях метафорического конструирования мира политики рядовыми гражданами, что недоступно при традиционном анализе политдискурса, материалом для которого обычно становятся тексты, созданные журналистами, политиками или их спичрайтерами. Методы психолингвистики особенно важны при решении вопроса об эффективности использования метафор. Анализ политического или медийного дискурса позволяет только гипотетически говорить о воздействующей силе метафоры, а для получения достоверных данных необходимо обратиться непосредственно к сознанию адресата коммуникации.

В качестве примера можно привести исследование Я. Босмана и Л. Хагендорна [Bosman, Hagendoorn 1991]. В первой части поставленного ими эксперимента изучалась эффективность метафорических и буквальных политических сообщений. Испытуемые читали неметафорическое и метафорическое описание политики шовинистической партии, а потом письменно заполняли опросные листы, в которых отвечали на вопросы о возможных путях противодействия подобной политике. Обработав результаты, Я. Босман и Л. Хагендорн пришли к выводу, что, хотя метафоры и оказывают влияние на идеи испытуемых, буквальное выражения не менее эффективны.

Помимо анкетирования ученые активно используют метод интервью. Преимущество этого метода связано с тем, что исследователь получает материал для анализа в ходе естественного общения с коммуникантом, а не из заранее подготовленных текстов. Подобная методика применяется в работах Д. Херадштейта, Г. Бонхэма, Т. Оберлехнера, В. Майер-Шенбергера [Heradstveit, Bonham 2005; Oberlechner, Mayer-Schönberger 2002].

В ряде исследований политическая метафорология обогащается эвристиками нейролингвистических теорий. Ярким примером может служить нейрокогнитивная теория метафоры, образовавшаяся на стыке нейронной теории языка, теории первичных и сложных метафор и теории концептуальной метафоры. Нейронная теория языка направлена на выявление нейробиологических детерминант когниции и с общенаучных позиций ее становление – вполне закономерный этап в развитии метафорологии как комплексного междисциплинарного направления в изучении человеческого мышления. Необходимость такого развития теории Дж. Лакофф и М. Джонсон связывают с тем, что «когнитивные эффекты на верхнем уровне когниции возможны благодаря нейробиологии на ее нижнем уровне» [Lakoff, Johnson 1999: 570]. Если в когнитивной лингвистике исследователи обычно ограничивались анализом корреляций языковых и когнитивных явлений, то в нейронной теории

языка ощущается значительный естественнонаучный уклон. При таком подходе в качестве недостающего звена между когнитивной метафорой и метафорическим выражением рассматривается уровень моделируемых коннекционистских сетей, соотносимых с нейронной архитектурой человеческого мозга.

Нейрокогнитивный подход к изучению метафоры начинает активно развиваться в конце 1990-х гг., когда ряд лингвистов Калифорнийского университета и ученых из института компьютерной науки в Беркли объединяют свои усилия. Важным результатом интеграции этих усилий стало понимание того, что язык, когнитивные процессы и сенсомоторная деятельность связаны с активизацией одних и тех же участков нейронной сети. Напр., при восприятии метафор движения в мозге человека осуществляется ментальная симуляция физического действия, результаты которой проецируются обратно на сферу–мишень, привнося инференции, вытекающие из ментальной симуляции моторной деятельности [Lakoff, Johnson 1999: 583].

Практическим применением этой теории стали разработки компьютерных программ, моделирующих семантические сети коннекционистского типа. Одну из таких программ С. Нараянан применил к анализу концептуальных метафор движения, задействованных при осмыслении политики и экономики в американской прессе [Narayanan 1999].

Исследования политической метафоры с использованием психолингвистических и нейропсихологических методов позволяют посмотреть на феномен политической метафоры с новых позиций и скорректировать предположения, принимаемые при других методологических подходах без верификации.

5. Политическая метафора и общественные науки. Метафора на протяжении долгого времени оставалась предметом исследования филологов и философов, но в последнее время этот феномен все чаще вызывает интерес у представителей широкого круга общественных дисциплин: историков, социологов, политологов. В исследованиях подобного рода метафора не является первоочередным предметом исследования, вместе с тем в общественных науках анализ метафор становится распространенным методом познания социально-политической действительности. Исследователи фиксируют организующую роль метафор в постижении социально-политической реальности, метафорическую природу политической картины мира.

В частности, исследование политической метафоры – распространенное явление в политологических публикациях [Бляхер, Говорухин 2006; Потапчук 2006; Межуев 2006; Canêdo 1997; Rayner 1984; Smith 2002; Terchek 1999]. Примечательно, что политологи, часто не ставят перед собой задачу исследовать метафоры, но в результате научных изысканий обращаются к метафоре. Напр., занимаясь политологической проблемой, которая, на первый взгляд, непосредственно не свя-

зана с метафорой («Идеология в структуре политического процесса»), С.В. Куньшиков делает вывод о том, что «идеология «работает» в политическом процессе не непосредственно, а через систему идеологических метафор, эффективность которых заключается в способности адекватно выражать ценностно-значимые для социальных групп смыслы политической деятельности» [Куньшиков 2006: 10].

В диссертации Б.Н. Халитова [2006] предпринимается опыт анализа «языковой войны» не только как публицистической метафоры, описывающей столкновение интересов каталонской и кастильской языковых групп в начале 1990-х гг., но и в качестве теоретико-политического концепта, когнитивного инструмента. Функция метафорического концепта проявляется в описании политического феномена и объяснении его причин.

Примером социологического исследования метафоры может служить докторская диссертация Л.А. Паутовой [2007], в которой с помощью целого ряда методик выявляется спектр метафор, актуализируемых в современной российской общественности при осмыслении концепта «стабильность».

Отметим, что во многих исследованиях политолого-социологического цикла получение научного знания основывается не столько на корпусном анализе собственно лингвистических явлений, сколько на аналитических размышлениях исследователя и опорой на наблюдения философов и социологов в области взаимодействия общественных процессов и политического мышления. В качестве примера может привести работу Я. Эзрахи [Ezrahi 1995], который, начиная от трудов Ж.Ж. Руссо, Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Р. Дарендорфа и заканчивая современным социолого-политологическим дискурсом, прослеживает эволюцию метафоры механизма и театра как способов осмысления общества и политики. По мнению исследователя, эти две метафоры претерпевают своеобразное сращение, при котором детерминистическая механистическая метафора вуализируется театральной метафорой, что только эксплицитно затемняет дегуманизацию современного общества, но имплицитно свидетельствует о представлениях его представителей о предопределенности и механистичности современной политики и общественных отношений.

Метафора все чаще попадает в фокус исторических исследований, особенно в рамках такого направления как «история ментальности». Примером такого исследования может служить докторская диссертация Т.А. Сабуровой [2006], посвященная изучению исторического сознания русской интеллигенции XIX в. Автор анализирует произведения русской общественно-исторической мысли, материалы периодических изданий, художественную литературу, а также мемуары, дневники и переписку русской интеллигенции XIX в. Как отмечает исследователь, в среде интеллигенции невозможность свободной

мыслительной деятельности часто характеризуется метафорой "сон" (сон души, сон ума). Одновременно с этим в картине мира русской интеллигенции важное место занимает образ пути, путешествия, путешественника. Значит, осознание необходимости непрерывного движения становится ценностью, а отсутствие такого движения соответственно связывается с отсталостью. Таким образом, интеллигенция выступает носителем идеи модернизации.

Если переводить эти идеи на «лингвистический диалект политической метафорологии», то выводы исследования можно сформулировать следующим образом. Политическое мировоззрение русской интеллигенции XIX в. было связано с особенностями метафорической концептуализации действительности. Концептуальные метафоры «РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ – ЭТО СОН», «ПРОСВЕЩЕНИЕ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ», «ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ХОРОШО» задавали способ осмысления настоящего и будущего российского государства, направляли интеллектуально-политическое поведение этого слоя общества.

Разность метаязыка описания политической метафоры в когнитивной лингвистике, истории, политологии и других дисциплинах не мешает отмечать схожесть выводов, что служит свидетельством «объективной составляющей» этих исследований, обусловленной сущностными закономерностями функционирования политической метафоры. Вместе с тем каждая из методологических граней политической метафорологии позволяет увидеть предмет анализа в несколько ином свете и приблизить исследователей к решению вопросов о сложном взаимодействии сознания, языка и культуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Андерсон Р. Каузальная сила политической метафоры // Будаев Э.В., Чудинов А.П. Современная политическая лингвистика. Екатеринбург, 2006.
- Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры / Вступ. ст. и сост. Н.Д. Арутюновой. М., 1990.
- Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. М., 2001.
- Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Русская политическая метафора. Материалы к словарю. М., 1991.
- Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Словарь русских политических метафор. М., 1994.
- Бляхер Л.Е., Говорухин Г.Э. Революция как «блуждающая» метафора: семантика и прагматика революционного карнавала // Полис. 2006. № 5.
- Будаев Э.В. Гендерная специфика политической метафоры // Вопросы когнитивной лингвистики. 2006. № 1.
- Будаев Э.В., Чудинов А.П. Риторическое направление в исследовании политической метафоры // *Respectus Philologicus*. 2006. № 9(14).
- Вершинина Т.С. Зооморфная, фитоморфная и антропоморфная в современном политическом дискурсе: Автореф. дис. ... к.ф.н. – Екатеринбург, 2002.
- Водак Р. Взаимосвязь «дискурс – общество»: когнитивный подход к критическому дискурсу-анализу // Будаев Э.В., Чудинов А.П. Современная политическая лингвистика. Екатеринбург, 2006.
- Демьянков В.З. Политический дискурс как объект политологической филологии // Политическая наука / Отв. ред. и сост. В.И. Герасимов, М.В. Ильин. М., 2002. № 3.
- Караулов Ю.Н., Петров В.В. От грамматики текста к когнитивной теории дискурса // Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.

- Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М., 2004.
- Куньшиков С.В. Идеология в структуре политического процесса: сущность и динамика функционирования: Автореф. дисс. ... канд. полит. наук. Екатеринбург, 2006.
- Лагута О.Н. Метафорология: теоретические аспекты – Новосибирск, 2003.
- Межуев Б.В. “Оранжевая революция”: восстановление контекста // Полис. 2006. № 5.
- Москвин В.П. Русская метафора: Очерк семиотической теории. М., 2006.
- Мухарямов Н.М., Мухарямова Л.М. Политическая лингвистика как научная дисциплина // Политическая наука / Отв. ред. и сост. В.И. Герасимов, М.В. Ильин. М., 2002. № 3.
- Паршин П.Б. Исследовательские практики, предмет и методы политической лингвистики // Scripta linguisticae applicatae. Проблемы прикладной лингвистики. М., 2001.
- Паутова Л.А. Стабилизационное сознание: опыт социологического исследования: Дисс. ... докт. социологических наук. Санкт-Петербург, 2007.
- Потапчук Е.Ю. Пятый элемент (Трансформация метафоры в современном российском политическом дискурсе) // Полис. 2006. № 5.
- Романов А.А. Политическая лингвистика. Функциональный подход. Москва; Тверь, 2002.
- Русакова О.Ф., Максимов Д.А. Политическая дискурсология: предметное поле, теоретические подходы и структурная модель политического дискурса // Полис. 2006. № 4.
- Ряпосова А.Б. Метафорические модели с агрессивным прагматическим потенциалом в политическом нарративе «Российские федеральные выборы (1999-2000 гг.)»: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2002.
- Сабурова Т.А. Социокультурные представления русской интеллигенции первой половины XIX в.: Дисс. ... докт. исторических наук. Омск, 2006.
- Телешева И.В. Политическая ситуация как сфера-магнит для морбальной метафоры в российских и американских СМИ // Лингвистика: Бюллетень Уральского лингвистического общества. – Екатеринбург, 2004. Т. 14.
- Халитов Б.Н. Языковые аспекты политического процесса: внутренние и международные измерения (на примере Каталонии): Автореф. дисс. ... канд. полит. наук. Казань, 2006.
- Чудакова Н.М. Концептуальная область «Неживая природа» как источник метафорической экспансии в дискурсе российских средств массовой информации (2000-2004 гг.): Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2005.
- Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991-2000). Екатеринбург, 2001.
- Чудинов А.П. Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации. Екатеринбург, 2003.
- Чудинов А.П. Политическая лингвистика. М., 2006.
- Шехтман Н.Г. Сопоставительное исследование театральной и спортивной метафоры в российском и американском политическом дискурсе: Дис... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2006.
- Шмелева Т.В. Морбуальная оптика // Лингвистика. Бюллетень Уральского лингвистического общества. Екатеринбург, 2001. Т. 7.
- Abadi A., Sacerdoti Y. Source domains of metaphors in political discourse. A cross-cultural study: Israel and the U.S.A. // RASK. 2001. Oct., 15.
- Anderson R. Metaphors of Dictatorship and Democracy: Change in the Russian Political Lexicon and the Transformation of Russian Politics // Slavic Review. 2001. Summer.
- Augoustinos M., Penny S.L. Reconciliation: The Genesis of a New Social Representation // Papers on Social Representations. 2001. Vol. 10.
- Baker P., McEnery T. A corpus-based approach to discourses of refugees and asylum seekers in UN and newspaper texts // Journal of Language and Politics. 2005. Vol. 4. № 2.
- Baranov A., Zinken J. Die metaphorische Struktur des öffentlichen Diskurses in Russland und Deutschland: Perestrojka- und Wende-Periode // Metapher, Bild und Figur: Osteuropäische Sprach- und Symbolwelten / ed. by B. Symanzik et al. Hamburg, 2003.
- Belgian Journal of Linguistics / ed. by M. Dominicy, J. Blommaert, C. Bulcaen. 1997. Vol. 11. Political Linguistics.
- Benoit W.L. Framing through temporal metaphor: The «bridges» of Bob Dole and Bill Clinton in their 1996 acceptance addresses // Communication Studies. 2001. Vol. 52.
- Berhó D.L. Working Politics: Juan Domingo Perón's Creation of Positive Social Identity // Rocky Mountain Review of Language and Literature. 2000. Vol. 54. № 2.
- Bosman J., Hagendoorn L. Effects of literal and metaphorical persuasive messages // Metaphor and Symbolic Activity. 1991. Vol. 6 (4).
- Burkhardt A. Politolinguistik. Versuch einer Ortsbestimmung // Sprachstrategien und Dialogblockaden. Linguistische und politikwissenschaftliche Studien zur politischen Kommunikation / J. Klein, H. Diekmannshenke (Hrsg.). Berlin, 1996.
- Canêdo L.B. As metáforas da família na transmissão do poder político: questões de método // Cadernos Cedec. 1997. Vol. 18. № 42.
- Charteris-Black J. Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis. Basingstoke, 2004a.
- Charteris-Black J. Politicians and Rhetoric. The Persuasive Power of Metaphor. Basingstoke, 2004b.
- Chilton P. Analysing Political Discourse: Theory and Practice. London, 2004.
- Chilton P. Missing Links in Mainstream CDA: Modules, Blends and the Critical Instinct // A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis. Theory, Methodology and Interdisciplinarity / Ed. by R. Wodak, P. Chilton. Amsterdam, 2005.
- Chouliarakis L., Fairclough N. Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh, 1999.
- Dalmu M.S. The Iron Lady versus La Dama de Ferro: Western male-centred metaphors about Europe in the British and the Catalan public discourse // <http://www.dur.ac.uk/modern.languages/depts/german/Musolff/eur/ofamily.pdf>. 2005
- De Landtsheer Ch. Function and the Language of Politics. A Linguistics Uses and Gratification Approach // Communication and Cognition. 1991. Vol. 24. № 3/4.
- Drulák P. Motion, Container and Equilibrium: Metaphors in the Discourse about European Integration // European Journal of International Relations. 2006. Vol. 12(4).
- Drulák P. Metaphors and Creativity in International Politics. Discourse Politics Identity // www.lancaster.ac.uk/ias/researchgroups/dpi/docs/dpi-wp3-2005-drulak.doc – 2005.
- El Refaie E. Metaphors we discriminate by: Naturalized themes in Austrian newspaper articles about asylum seekers // Journal of Sociolinguistics. 2001. Vol. 5. № 3.
- Ezrahi Y. The theatrics and mechanics of action: the theater and the machine as political metaphors // Social Research. 1995. Vol. 62. № 2.
- Fairclough N.L. Critical and Descriptive Goals in Discourse Analysis // Journal of Pragmatics. 1985. Vol. 9.
- Gidengil E., Everitt J. Tough Talk: How Television News Covers Male and Female Leaders of Canadian Political Parties // Women and Electoral Politics in Canada / Ed. M. Tremblay, L. Trimble. Toronto, 2003.
- Gidengil E., Everitt J. Metaphors and Misrepresentation: Gendered Mediation in News Coverage of the 1993 Canadian Leaders' Debates // Harvard International Journal of Press/Politics. 1999. Vol. 4. № 1.
- Hansen A.D. Politics and metaphor – a discourse theoretical analyses. Paper to be presented at ECPR conference 2005, Granada. Draft version // www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/paperarchive/granada/ws14/Hansen.pdf – 2005.
- Hardy V. Metaphoric Myth in the Representation of Hispanics. Washington, 2003.
- Heradstveit D., Bonham G. M. The "Axis of Evil" Metaphor and the Restructuring of Iranian Views Toward the US // Vaseteh. Journal of the European Society for Iranian Studies. 2005. Vol. 1(1).
- Hülse R. Sprache ist mehr als Argumentation. Zur wirklich-

keitskonstituierenden Rolle von Metaphern // Zeitschrift für internationale Beziehungen. 2003. Vol. 10. № 2.

Johnson E. Proposition 203: A Critical Metaphor Analysis // Bilingual Research Journal. 2005. Vol. 29. № 1.

Keen S. Faces of the Enemy: Reflections of the Hostile Imagination. New York, 1988.

Klein J. Politische Kommunikation – Sprachwissenschaftliche Perspektiven // Politische Kommunikation in der demokratischen Gesellschaft. Ein Handbuch / O. Jarren, U. Sarcinelli, U. Saxer (Hrsg.). Opladen, 1998.

Laclau E. Why do empty signifiers matter to politics? // The lesser evil and the greater good: The theory and politics of social diversity / Ed. J. Weeks. London, 1994.

Lakoff G. Don't Think Of An Elephant! Know Your Values and Frame the Debate: The Essential Guide for Progressives. White River Junction, 2004.

Lakoff G. Metaphor and War. The Metaphor System Used to Justify War in the Gulf // metaphor.uoregon.edu/lakoff-l.htm – 1991.

Lakoff G. Thinking Points: Communicating Our American Values and Vision. New York, 2006a

Lakoff G. Whose Freedom?: The Battle Over America's Most Important Idea. New York, 2006b.

Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live by. Chicago, 1980.

Lakoff G., Johnson M. Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought. New York, 1999.

Lewis B. The Political Language of Islam. Chicago, 1988.

Mottier V. Meaning, Identity, Power: Metaphors, Mini-Narratives and Foucauldian Discourse-Theory // www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/paperarchive/granada/ws14/Mottier.pdf – 2005.

Musolf A. Metaphor and Political Discourse. Analogical Reasoning in Debates about Europe. Basingstoke, 2004.

Musolf A. Metaphor Scenarios in Public Discourse // Metaphor and Symbol. 2006. Vol. 21. № 1.

Musolf A. Mirror Images of Europe. Metaphors in the public debate about Europe in Britain and Germany. München, 2000.

Nasalski I. Die politische Metapher im Arabischen. Untersuchungen zu Semiotik und Symbolik der politischen Sprache am Beispiel Ägyptens. Wiesbaden, 2004.

Oberlechner T., Mayer-Schönberger V. Through Their Own Words: Towards a New Understanding of Leadership through Metaphors // http://www.ksg.harvard.edu/leadership/Pdf/OberlechnerMayer_SchonbergerWorkingPaper.pdf – 2002.

O'Brien G.V. Indigestible Food, Conquering Hordes, and Waste Materials: Metaphors of Immigrants and the Early Immigration Restriction Debate in the United States // Metaphor and Symbol. 2003. Vol. 18. № 1.

Politische Semantik. Bedeutungsanalytische und sprachkritische Beiträge zur politischen Sprachverwendung / J. Klein (Hg.). Opladen, 1989.

Rayner J. Between Meaning and Event: An Historical Approach to Political Metaphors // Political Studies. 1984. Vol. 32.

Ryazanova-Clarke L. Criminal Rhetoric in Russian Political Discourse // Language Design. 2004. Vol. 6.

Sandikcioglu E. More metaphorical warfare in the Gulf: Orientalist frames in news coverage // Metaphor and Metonymy at the Crossroads: A Cognitive Perspective / ed. by A. Barcelona. Berlin, 2003.

Santa Ana O. 'Like an animal I was treated': anti-immigrant metaphor in US public discourse // Discourse and Society. 1999. Vol. 10. № 2.

Santa Ana O. Brown Tide Rising: Metaphors of Latinos in Contemporary American Public Discourse. Austin, 2002.

Sarcinelli U. Symbolische Politik und Politische Kultur. Das Kommunikationsritual als politische Wirklichkeit // PVS. 1989. № 30.

Smith M. B. The Metaphor (and Fact) of War // Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology. 2002. Vol. 8(3).

Terchek R.J. Political Metaphors: Markets or Oligopolies? // Associations. 1999. Vol. 3(2).

van Dijk T.A. Principles of Critical Discourse Analysis // Discourse and Society. 1993. Vol. 4(2).

Vertessen D., De Landtsheer Ch.. Metaphorical Election Style? Patterns of Symbolic Language in Belgian Politics // www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/paperarchive/granada/ws14/Vertessen.pdf – 2005.

Wei J.M. Virtual Missiles: Allusions and Metaphors Used in Taiwanese Political Discourse. Lanham, 2001.

Yule G. Pragmatics. Oxford, 2000.

Zinken J. Imagination im Diskurs. Zur Modellierung metaphorischer Kommunikation und Kognition: Dissertation zur Erlangung der Würde eines Doktors im Fach Linguistik. Bielefeld, 2002.

Zinken J. Metaphoric Practices in the German Wende Discourse // Journal of Multilingual and Multicultural Development. 2004. Vol. 25. № 5/6.

Zybatow L. Antrag auf Gewährung einer Sachbeihilfe für das Projekt "Interkulturelle Analyse der Struktur kollektiver Vorstellungswelten (anhand von metaphorischen Modellen in der russischen und deutschen Presse)". Bielefeld, 1998.

© Будаев Э.В., Чудинов А.П., 2007

Лайонел Ви

Сингапур, Сингапур

Перевод: Зырянова И.П.

ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА К ГЛОБАЛЬНОМУ ГОРОДУ: «ПОНИЖЕНИЕ» КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС

Abstract

This paper focuses on the discourses produced by the state of Singapore as it attempts to re-invent Singapore as a global city. This focus is especially intriguing because it bears on a prominent theme in globalization studies: the extent to which the state is still relevant as a cultural frame for the construction of identities, the management of economies, and the protection of individual rights. Singapore appears to be seeking this global city status, even though in the early years after its independence in 1965, it was primarily concerned with establishing itself as a nation state. The paper demonstrates how the shift towards a global city is marked by discursive differences in modulation, as the state attempts to acknowledge the increasing interconnectedness between Singapore, Singaporeans and the rest of the world. The changes in modulation are consequently not to be treated as incidental discursive features of the shift. Rather, they are markers of how the state is attempting to address the problems of global mobility and deterritorialization by reasserting the status of Singapore as a place (still) worth living in.

В данной статье я уделяю особое внимание дискурсу, наблюдаемому в Сингапуре в попытке его превращения в глобальный город. Рассматриваемый дискурс весьма интересен, т.к. он имеет прямое отношение к изучению процесса глобализации: определению рамок, в которых государство является культурным фреймом для создания национальной общности; управлению экономикой, защите индивидуальных прав человека. Неоднократно утверждалось, что экономическая сила всемирных корпораций существенно подрывается действиями государства, особенно когда речь идет о привлечении иностранных вложений. Более того, высказывались предположения о том, что транснациональные движения космополитов ослабили их чувство национальной принадлежности, т.к. у них есть не только возможность, но и желание преследовать свои личные цели, что прежде всего подразумевает улучшение качества жизни.

Следует также отметить, что понятия государство и национальное государство иногда не

разграничиваются [Blommaert 2005: 217-8]. Тем не менее, различия значительные, т.к. национальное государство более чувствительно к влиянию процесса глобализации, чем *просто* государство. Критериями национального государства являются государственный язык, культурное наследие, общие национальные корни и определенная географическая территория [Kennedy 2001: 2]. Однако одним из последствий транснациональных миграций является представление национальной культуры за пределами государства [Mir, Mathew and Mir 2000: 28]. Мигранты могут по-прежнему говорить на одном языке, иметь общее культурное наследие и происхождение, но это единство может быть не связано с определенной территорией. Поскольку государство всегда обладает суверенитетом на определенную территорию [Berkling 2004: 52], то все индивидуумы осознают в различной степени свою принадлежность к тому или иному государству. Однако они могут не воспринимать себя частью нации, живущей на данной государственной территории, а значит, не считают себя членами национального государства. В этом случае, государство рассматривается с точки зрения обеспечения защиты законом, гарантии экономической и политической безопасности тем категориям граждан, которые населяют данную территорию. В этом случае, государство не может ассоциироваться с ценностями и идеалами этнолингвистических и национальных (Необходимо различать данные понятия, т.к. некоторые национальные общности состоят из нескольких этнолингвистических групп как, напр., в Сингапуре) общностей, которые его населяют.

В это же время, ученые, занимающиеся вопросами глобализации, считают спорным вопрос о целесообразности употребления термина на государство, и в частности, национальное государство, ими также отмечается общий подъем таких глобальных городов, как Лондон, Нью-Йорк, Токио и Гонконг [Sassen 2001]. Изначально в этих городах создавались центры международных корпораций, крупных банков и других финансовых учреждений. Поэтому это понятие имеет «весьма положительные коннотации и подразумевает важность, современность, нахождение в центре международных событий. Не удивительно, что многие города стремятся получить этот статус, при этом нередко путая и искажая понятия глобальный город как символ определенного положения и как аналитическое понятие» [Perrons 2004: 204, 231]. Разграничение этих понятий является очень важным, но здесь, я думаю, не стоит останавливаться на них подробно. Следует отметить, что иногда понятие глобализация рассматривается как чисто экономический термин [Perrons 2004: 35-54; Wade 2001], тем не менее, это понятие становится более полным, если его представлять как совокупность многосторонних процессов, включающих политический, технологический и культурный аспекты [Giddens 2002:10; Kennedy 2001: 8]. Это свидетельствует о все более

частом обращении к вопросу пожеланий, предпочтений, инновационной эстетики как главных изменений в определении этого понятия [Lash and Urry 1994]. Отсюда расширенное понимание терминов глобальный город и глобализация. Пытаясь обрести статус глобальных, различные города стремятся дать свои трактовки этого понятия, подчеркивая тем самым свои преимущества. Таким образом, не четкое разграничение терминов символ статуса и аналитическое понятие дает определение того, что называется глобальным городом.

В настоящее время Сингапур пытается приобрести статус глобального, хотя в первые годы после получения независимости в 1965 году, государственная политика была направлена на создание национального государства. На том этапе было необходимо сплотить разнородное в этническом и языковом плане население Сингапура. Несмотря на это, Сингапур имеет существенное преимущество среди других национальных государств: маленькая территория (Территория Сингапура составляет 692,7 кв. км, почти в 3 раза больше чем территория Вашингтона, округ Колумбия) дает ему право называться крупным городом (a city). Большие города предназначены для проживания и ведения бизнеса, в них легко уживаются различные культуры и этносы. Поэтому использование этих преимуществ дает возможность создания глобального города Сингапур, что и наблюдается в его политическом дискурсе.

Глобальный дискурс. Переход от национального государства к глобальному городу сопровождается рядом изменений, о которых пойдет речь в данной статье. По мнению, Гидденса [Giddens 1990: 64], ключевой характеристикой глобализации является усиление международных социальных связей, вследствие которых объединяются различные части мира, т.к. события, которые в них происходят, связаны между собой. Аппадьюрай [Appadurai 2001: 5] описал это понятие как «мир, который определяется движением его составляющих. Эти составляющие включают в себя концепции, идеологии, людей, товары, сообщения, технологии и техники. Это мир потоков». Отсюда следует, что переход к глобальному городу отмечается дискурсивными различиями в модуляции, т.к. государство пытается установить взаимосвязь Сингапура, его жителей и остальным миром. Эти изменения не следует рассматривать как случайные черты дискурса при осуществлении перехода к глобальному городу. Наоборот, они являются маркерами попыток государства отвечать проблемам всемирной мобильности и отрыву от территорий по средствам приобретения Сингапуром статуса места, в котором стоит жить. По мере нашего изучения речей политических лидеров, мы будем наблюдать более отчетливые доверительные и прагматические отношения с государством [Giddens 1991: 23], что является следствием внутренней взаимосвязанности. Это продиктовано тем, что жизнь в позднем модерниз-

ме (Термин «поздний модернизм» часто применяется для характеристики высокоразвитых обществ, продолжающих развиваться в тенденциях модернизма, а не постмодернизма [Beck 1992; Giddens 1991]. По мнению Гидденса [Giddens 1990; 63], понятие модернизм «изначально подразумевает глобализацию», т.е. социальные изменения, ассоциирующиеся с модернизмом, ведут к более яркому проявлению признаков, ассоциирующихся с глобализацией) означает проживание в «обществе, подверженному риску» [Beck 1992], где нет достоверных данных о том, к чему мы придем. Ненадежная информация ведет, в свою очередь, к другому изменению в модуляции: отказ от права называться «всезнающей фигурой власти» (all-knowing figure of authority) [Giddens 1992: 196]. Взамен приходит «осознание проблем мира как единого целого» [Robertson 1992: 132]. Развитое чувство ощущения глобальности означает отказ от деления на «своих» и «чужих». Вся человеческая раса и все живые существа на планете оказываются тесно взаимосвязанными. По мнению Робертсона [Robertson 1992: 132], в последнее время наблюдается существенное расширение понятий глобальность, глобализация и интернационализм. Наблюдаются автономные методы изучения этих дискурсов. Иначе говоря, «мировое взаимодействие» (global talk) – глобальный дискурс – стал относительно самостоятельным, хотя его содержание существенно варьируется как от общества к обществу, так и внутри его. Таким образом, дискурс глобальности является неотъемлемой составляющей современной мировой культуры. Он состоит из смежных и спорных понятий, с помощью которых определяется современный мир. Ядром мировой культуры являются понятия мирового порядка или беспорядка, а именно различные трактовки прошлого, настоящего и будущего различных общностей, цивилизаций, этнических групп и регионов.

Наблюдение Робертсона относительно сравнительной автономности понятия «мировое взаимодействие», различных его интерпретаций, наводит на мысль об изучении глобального дискурса на основе его проявлений. Анализ изменений в модуляции при переходе Сингапура от национального государства к глобальному городу может послужить существенным вкладом в лучшее понимание «глобального дискурса».

Следующий раздел дает краткое описание истории Сингапура, которое поможет при анализе дискурсов, наблюдаемых внутри государства. Далее следует анализ отрывков трех выступлений премьер-министров по случаю Дня Независимости Сингапура. Эти примеры были выбраны неслучайно: в своей речи каждый премьер-министр обращается ко всей стране, подводит итоги, говорит о задачах, которые предстоит выполнить и какие шаги в связи с этим нужно предпринять. Каждое выступление относится к различным десятилетиям (1974, 1984 и 1997), что делает наш анализ более глубоким.

Сингапур: краткое вступление. Федерация Малайзии было основано 16 сентября 1963 в

результате слияния государств Малайя, Сабах, Саравак и Сингапур. Сингапурские лидеры были особенно заинтересованы в слиянии, т.к. понимали, что маленький остров без природных ресурсов не смог бы выжить как независимое государство. Тем не менее, главным камнем преткновения стала политика в управлении разнородным в этническом и языковом плане обществом. Центральное правительство предпочитало проводить политику, выгодную малайцам, а Сингапур делал акцент на многонациональной политике [Benjamin 1976], которая предполагала одинаковое положение трех главных (Малочисленные этнические группы не должны были иметь официального статуса) этнических групп: китайцев, малайцев и индийцев. Как следствие этого, Сингапур недолго находился в составе Федерации и в 1965 стал независимым государством. Его уход означал осознание его лидерами необходимости объединения этнических групп в одну нацию. Здесь представлен отрывок из речи первого премьер-министра Ли Куан Ю [Wee and Bokhorst-Heng 2005]: *Сингапур вышел из состава Федерации не по собственному желанию. У нас нет природных ресурсов, и поэтому наш успех и развитие зависит только от промышленности и интеллекта своего народа. И поскольку население Сингапура состоит из разных этнических групп, это также накладывает свои особенности.*

Этот отрывок указывает не только на особенность Сингапура, но и на то, что ожидается от его жителей (усердный труд, изобретательность, уважение других этнических групп). Сегодня население Сингапура составляет 3,2 миллиона, из них 76,8% китайцы, 13,9% малайцы, 7,9% индийцы, 1,4% другие национальности (У каждой этнической группы есть свой официальный язык: мандарин у китайцев, малайский у малайцев, тамил для индийцев. Английский является четвертым официальным языком и служит средством общения этническими группами и языком экономики. Я не буду останавливаться на языковой политике, т.к. этот вопрос уже подробно изучен [Rappa and Wee 2006; Wee and Bokhorst-Heng 2005]). Управление столь разнородным населением является одним из главных моментов в политике государства.

Обстановка в стране в период выступлений. Речь 1974 года была произнесена через девять лет после обретения Сингапуром независимости. Ли осведомлен о повышающемся уровне инфляции и просит жителей быть более экономными. Он также намекает на то, что есть «иностранцы», которые будут рады неудачам Сингапура, а это делает еще большей разницу между «своими» и «чужими» и указывается на то, что «чужим» не нужны наши успехи. В речи 1984 года Ли напоминает жителям Сингапура о важности национального единства и приводит пример Гонконга. Ли говорит, что Гонконгу не разрешили развиваться как национальное единство, что привело к существующему там положению, где «что-то может очень быстро пойти не так» и правительство не сможет «быстро и рационально среагировать». Ли ставит своей целью еще раз подчеркнуть важность продол-

жения создания национального единства и роль в этом политиков. В 1997 речь произносится Го Чон Тонгом, через 32 год после обретения независимости. Сингапур является уже современным городом, и Го указывает на изменения, которые должны произойти, в связи с процессом глобализации.

Сопоставительный анализ выступлений Фрейм: Сингапур – город или государство

При хронологическом анализе данных выступлений наблюдается постепенный переход от использования понятия государство к понятию город. Лексически это выражено в преобладании сравнительных слов *не такой же, подобно, схожие черты, в отличие от*. Это является существенным для данного анализа, т.к. указывает на то, как характеризуется Сингапур. Так, напр., в речи 1974 г., когда Ли приводит данные по инфляции, Сингапур определяется как одно из государств (1). (1) 1974: *Так происходит не в каждой стране: в Канаде она составляет +6%; в США -2 ¼%; в Японии -6%; во Франции -4 ¾%; в Германии +2%, но самый низкий показатель инфляции в Италии +2% и в Великобритании -6%. Итого: -1%. Нам следует успокоиться, т.к. у нас 6 ¾%.*

В речи 1984 года, однако, Ли постоянно сравнивает Сингапур то с крупными городами, то с государствами. Он начинает с упоминания о нескольких странах, а затем описывает Гонконг одновременно как государство и как город (2). Далее, Ли обращается для сравнения к городу Манила (3), и продолжает проводить параллели со странами, еще раз объясняя, почему нельзя прибегать к политике, отстаивающей введение социального обеспечения и бесплатной медицинской помощи (4).

(2) 1984: *В последние 19 лет в нескольких странах Азии, а именно Южной Корее, Тайване и Гонконге наблюдается большой экономический рост, по сравнению с Сингапуром. Хотя Гонконг тоже является городом, как и Сингапур и у них много общего, тем не менее, существует существенная разница в структуре их обществ.*

(3) 1984: *Сингапур не похож на Манилу. Там, вследствие долгового кризиса, начавшегося год назад, 300000 рабочих потеряли свои места.*

(4) 1984: *...в Египте начались мятежи, когда субсидии на пшеницу были урезаны... Я вас заверяю, даже в экономически благополучных странах как Великобритания и Дания может это произойти.... Даже в Японии в этом году потребителям пришлось платить по меньшей мере 10% от стоимости, чтобы сдержать растущий спрос.*

В речи 1997 года, Сингапур четко характеризуется как город, при упоминании Го свободной судоходной зоны в Субикском заливе (5) различных индустриальных комплексах в китайских городах и провинциях (6), изменений на финансовых рынках Нью-Йорка и Лондона. Соревнование между городами – это тема, которая прослеживается во всех этих отрывках: *(они хотят соревноваться с Сингапуром) (5); (они будут соревноваться так же как Сингапур, т.к. они на него похожи) (6); (мы не можем соревноваться с Токио как равные соперники) (7).*

(5) 1997: *[Филиппины] развивают бывшую воз-*

душную базу Кларк как город компьютерных технологий... Субикский залив стал процветающей судоходной зоной... Японские фирмы, занимающиеся выпуском электроники, такие как Фуджитцу, построили заводы по производству жестких дисков в Субике.

(6) 1997: *Я был во многих китайских городах и провинциях... По всему Китаю разбросано огромное количество промышленных комплексов, многие из которых похожи на сингапурские. Они будут соревноваться так же как Сингапур, т.к. они на него похожи.*

(7) 1997: *Финансовые рынки становятся глобальными. Торговля начинается с восходом солнца в Токио, затем в Гонконге, Сингапуре, Лондоне, Нью-Йорке, Чикаго... Мы не можем соревноваться с Токио как равные соперники.... Но у нас есть большое преимущество над Токио – английский наш рабочий язык.... В чем-то мы опережаем Гонконг, но в чем-то и отстаем.*

В последних социолингвистических исследованиях стало уделяться больше внимания национальным особенностям. Они больше не рассматриваются как статичные или данные изначально. Они постепенно приобретают форму, по мере того как представители той или иной национальности принимают или отвергают те или иные черты. Попытка Сингапура получить статус глобального города служит одним из примеров подобного преобразования. Как правило, города, в отличие от государств, воспринимаются меньшими по размеру, более тесно взаимосвязанными и более легко совмещающими в себе различные культуры. В Сингапуре же намечается переход от государства с маленькой территорией к еще меньшему и гостеприимному, но высокоразвитому глобальному городу. Однако не стоит рассматривать это как попытку полностью избавиться от черт национального государства. В дальнейшем предполагается совмещать черты глобального города и национального государства, что соответствует тенденциям «эпохи глобализации» [Cohen 1997: 157]. Конечно, это не означает, что данный процесс будет проходить гладко. Возникающие конфликты и напряженные моменты будут устраняться локально (смотрите ниже).

Кризис и пути его решения. Кризис часто наблюдается в политическом дискурсе Сингапура, но в данных выступлениях нам интересен переход от государства к городу, который сопровождается изменением в задачах, которые появляются перед Сингапуром. В речи 1974 года Ли призывает сингапурцев быть экономными, чтобы справиться с повышающимся уровнем инфляции. Обратите внимание на то, как он отзывается о «иностранцах» и «Западе», заставляя жителей Сингапура действовать наоборот, а именно не тратить деньги впустую и не залезать в долги.

(8) 1974: *Иностранцы, пишут в своих газетах, что у нас авторитарный режим, потому что мы знаем, что такое дисциплина. Возьмем пример с одеждой. Запад диктует моду. Каждый год, они ее меняют, заставляя вас покупать новую одежду и выбрасывать свою прежнюю, которая еще не успе-*

ла изнашиваться. У них потребительское общество. Покупай сейчас, плати потом. Если не можешь заплатить, все в порядке, бери в долг. Постоянно занимайте деньги и продолжайте их тратить....

Ли даже выносит предположения о попытках саботажа Сингапурской экономики, путем распространения слухов о ее «нежизнеспособности», и намерениях подкосить уверенность и моральные принципы сингапурцев (9). Он рисует сценарий, в котором внешнему миру нельзя доверять. Если что-нибудь пойдет не так, Сингапур ждет «только слова сочувствия» и ничего больше. Поэтому сингапурцы должны надеяться только на себя (10). Но чтобы это произошло, необходимо стать единой нацией, построить тесный союз между правительством страны и ее жителями (11).

(9) 1974: *Даже когда мы справляемся со своими проблемами, все равно идут слухи, что Сингапур нежизнеспособен. Помните, это ложь... Их цель подкосить вашу уверенность и моральные принципы... Кто от этого выиграет? Только не Сингапур.*

(10) 1974: *Когда вы не можете привести свой дом в порядок, они говорят: «Да, безнадежный случай». Их сочувствие – пустые слова... Я думаю, вот вам и первый урок: мы должны сами учиться справляться со своими трудностями.*

(11) 1974: *...сила, жизнеспособность, стремление к прогрессу – это заложено в наших людях.... Это самые ценные качества, которые у нас есть, но мы можем ими воспользоваться, только когда мы все вместе, союз в достижении общей цели между правительством и людьми, профсоюзами и рабочими.*

В речи 1984 года больше нет негативного отношения к внешнему миру. Вопрос о кризисе еще есть, но Ли больше предостерегает сингапурцев от уподобления Гонконгу, и делает акцент на укреплении духа национальной гордости и целостности (12). Продолжая идею об укреплении нации, Ли указывает на важность «поиска талантов», «самых способных и самых лучших» (13). На людей же ложится ответственность правильного выбора политических кандидатов (14).

(12) 1984: *... Гонконгу не разрешили развивать единую национальную общность, и как следствие этого, отсутствие гражданской гордости, чувства частной собственности, общей цели для всей нации, общего чувства успеха.... Люди не чувствуют, что, то место, где они живут, принадлежит им. Мы же создаем нацию и гордимся успехами сингапурцев. Именно эти невидимые узы дают нам чувство единства и защищенности в Сингапуре.... Вот чего не хватает Гонконгу.*

(13) 1984: *Мы искали и нашли самых способных и самых лучших. Под лучшими мы понимаем честных, неэгоистичных, тех, кто захотел прийти на помощь нации.... Только благодаря твердым намерениям этих людей, политические лидеры смогут добиться чувства стремления к единой цели, ощущение общей судьбы.*

(14) 1984: *...какая бы не была система, все зависит от правителя. Сингапурская система показала свою эффективность. Она будет и дальше так работать, если вы будете выбирать честных, перспективных и преданных людей.*

Здесь следует отметить, что сравнение, про-

водимое Ли с Гонконгом, не стоит рассматривать как черты дискурса глобальности. Его целью было показать, что могло бы произойти с Сингапуром. В глобальном дискурсе наблюдается сравнение в контексте будущих результатов. Это мы можем проследить в речи 1997 года, где перед Сингапуром ставятся задачи глобального масштаба, а именно выделение Сингапура среди «других бесчисленных городов» (15). Го говорит о «всемирной гонке» и о том, как нужно участвовать в «этих гонках и процессе глобализации». Таким образом, в его выступлении наблюдаются не только сравнения, но и ориентиры на будущее (*если мы не будем следовать мировым тенденциям, мы станем просто еще одним городом с населением в 3 миллиона*).

(15) 1997: *Сегодня я хочу остановиться на проблемах, которые требуют немедленного решения и более подробно представить вам картину всемирной гонки. Это поможет нам лучше подготовиться к грядущим изменениям. ... Чем должен ответить Сингапур на процесс глобализации? В Азии огромное количество городов размером с Сингапур.... Если мы не примем вызов, то станем просто еще одним городом с населением в 3 миллиона.*

Другим маркером глобального дискурса является переход от всезнающего правителя и абсолютной власти к более демократичной. Этот переход особенно виден при сравнении следующих отрывков. В (16), Ли абсолютно уверен в действиях, которые будут благоприятны для Сингапура и демонстративно заявляет, что его могут считать авторитарным (*... Если вы называете это авторитаризмом, пусть будет так, зато я платежеспособен, также как и весь Сингапур*). В речи 1984 года (17) звучат вопросы, на которые Ли отвечает сам (*Все просто: хорошая организация, социальная стабильность, надежные правительство и администрация, отсутствие коррупции, качественная рабочая сила, положительное отношение*).

(16) 1974: *Если люди считают авторитаризмом наше планирование бюджета, отказ от причуд и желаний современного западного общества, то пусть будет так. Зато я платежеспособен, как и весь Сингапур.*

(17) 1984: *Как же так произошло, что на таком маленьком острове мы смогли дать работу всем людям, нам не хватает работников, и мы пытаемся уговорить пожилых выполнять легкую работу, а замужних женщин выходить на неполный рабочий день?... Все просто: хорошая организация, социальная стабильность, надежные правительство и администрация, отсутствие коррупции, качественная рабочая сила, положительное отношение.*

Отметьте различие между речью 1984 года (*Как так происходит...мы все это время могли...*) и речью 1997 года (*Насколько мы можем быть уверены, что ...*) (18). В выступлении Го 1997 года вопрос «как» не риторический. Го открыто признает, что «пока нет готовых ответов», т.к. сложившаяся ситуация достаточно сложна. Сравните в выступлении Ли в 1984: «Все просто...»

(18) 1997: *Насколько мы можем быть уверены в том, что Сингапур будет одним из ведущих финансовых центров этого региона?... Как становиться*

лучше, одновременно укрепляя наши систему регулирования, делая сильными финансовые институты, честными финансовые рынки и получить защиту инвесторов? На это пока нет готовых ответов, но мы подробно изучаем этот вопрос.

Заметьте, что к 1997 году понятие «талант» не относится только к политикам. Сейчас оно имеет отношение к исследователям, художникам, успешным предпринимателям и спортсменам [Wee and Bokhorst-Heng 2005]. Цель – привлечение талантов со всего мира. Признание того, что в государстве должны быть одаренными не только политики, указывает на сложность и многосторонность жизни в позднем модернизме, на улучшение которой требуются специалисты. Соответственно, Го утверждает, что Сингапур должен стать «космополитом, глобальным городом, открытым обществом, где люди со всех концов света будут чувствовать себя как дома» (19).

(19) 1997: *Наша стратегия – привлечь таланты и сделать Сингапур городом-космополитом. Именно так стали успешными такие города как Лондон, Нью-Йорк, Гонконг и Шанхай (до войны). ...Привлечение талантов со всего мира является первостепенной задачей для светлого будущего сингапурцев. Сингапур должен стать космополитом, глобальным городом, открытым обществом, где люди со всех концов света будут чувствовать себя как дома.*

Робертсон [1992: 132] считает, что вопрос глобализации все чаще появляется в дискурсах обществ, решающих насколько глубоко она должна проникнуть в их культуру и традиции. Как раз это мы и наблюдали при сравнении выступления 1997 года с предыдущими. На фоне этого вопроса можно также проследить отношение государства к проблеме национализма.

Национализм. Кризис и совместный из него выход играют существенную роль в формировании общественной и национальной солидарности. Но в речи 1974 года Ли говорит, что есть ученые, в частности американские, британские австралийские, которые не видят национальной общности в Сингапуре и рассматривают его как продолжение Китая (20). Ли также обращается к истории государства и отмечает, что хотя Сингапур не обладает природными ресурсами, он может пережить тяжелые времена и процветать. Еще раз, связывая географическое расположение и национальные особенности, Ли подчеркивает, что нельзя поддаваться «внешнему давлению», которое может подорвать сплоченность и единство Сингапура (21).

(20) 1974: *Американские, британские, австралийские ученые называют нас заморские китайцы... Они не называют австралийцев новозеландцев заморскими британцами: они – австралийцы, они – новозеландцы. Но для них мы – заморские китайцы. Здесь, я думаю, нужно поставить жирный вопрос.*

(21) 1974: *Мы сами взяли себе этот маленький остров. Суть нашей проблемы не в том, что у нас нет огромной территории, нефти или минеральных ресурсов. Конечно, было бы хорошо, если бы у нас это было. Но это не для нас. ... Природа, география и история решили это за нас. Ключ к успеху заложен в нас самих – в способности превратить*

мигрантов в сплоченную национальную общность, которая будет преследовать национальные интересы, не обращая внимания на внешнее давление. А оно у нас обязательно будет. Мы уже испытываем его.

Он напоминает сингапурцам, что они не могут и не должны оглядываться на страны, откуда они пришли (22). Индийских сингапурцев не должна охватывать гордость, видя, как относятся к индийским политическим лидерам, так же как и китайских при виде китайских правителей. Национальная общность должна преобладать над этнической разрозненностью (... Мы управляем Сингапуром с соблюдением интересов его жителей вне зависимости от расы, языка и религии).

(22) 1974: *Если я поеду в Индию, и там увидят, как я обмениваюсь рукопожатием с президентом Гири или госпожой Ганди, многие индийцы будут счастливы. Я не сомневаюсь в том, что если я сфотографируюсь с лидерами КНР, наступит эйфория у других. Но в наших ли это интересах? Если этого не будет, мы сможем сказать, что мы управляем Сингапуром с соблюдением интересов его жителей вне зависимости от расы, языка и религии.*

Тема преобладания духа национальной общности над этнической разрозненностью продолжается в выступлении 1984 года. Ли подчеркивает, что жизнь в Сингапуре походила бы на разрозненную жизнь в Гонконге (23), если бы сингапурцы не были бы горды успехами разных этнических групп» (24).

(23) 1984: *Представьте Сингапур, где сбережения огромного количества людей находятся в руках финансовых компаний, которые становятся банкротами, как ... в Гонконге. Должно быть, они покоряются судьбе и также остаются разбитыми на этнические группы.*

(24) 1984: *Сравните это с поведением сингапурцев в Национальный День. ... Они были рады видеть, что другие этнические группы тоже в чем-то преуспели и внесли вклад в общее дело.*

Ли также высказывает мысль о том, что сингапурцы остаются на маленьком острове, потому что им больше некуда идти (25). Поэтому, они могли бы воспользоваться сложившей ситуацией и не смотреть на страну, из которой они мигрировали. Эта тема прослеживается в речи 1974 года (22). Выступление 1984 года также нацелено на закрепление сингапурцев на острове с помощью политики обеспечения жильем, т.к. именно недвижимость будет препятствовать эмиграции.

(25) 1984: *Куда бы вы пошли, жители Сингапура, если бы наступила повсеместная безработица? Вы уже не можете вернуться в Китай, Индию, Малайзию или Индонезию. Где вы будете искать работу?*

(26) 1984: *В 1964 только у некоторых был блеск в глазах. В 1984 этот блеск появился в глазах 80000 сингапурских семей, которые вносят свои имена в списки на приобретение собственного жилья. Мы можем вас сказать с уверенностью, что каждый получит жилье. Дом – это недвижимость.*

Если в более ранних выступлениях уделялось внимание построению традиционного национального государств, где люди, помимо все-

го прочего живут на определенной общей территории, то в 1997 государство понимает, что многие его жители уезжают жить и работать за границу (Исследование, проведенное Тэном [Tan 2005: 89] свидетельствует, что вопрос миграции коснулся 27% сингапурцев). Поэтому Го начинает говорить о создании национальных общин в других городах (27). Поскольку сейчас сингапурцем является не только тот, кто проживает на острове, Го вызывает к чувству национальной преданности, семейных уз, которые, он надеется, не ослабеют из-за проживания в другой стране (28).

(27) 1997: *Мы живем в очень мобильном мире, и все больше сингапурцев уезжает работать за границу... В Сиднее, Перу, Лондоне, Париже, Токио, Бангкоке, Маниле есть большие сингапурские общины.... Это следствия процесса глобализации, с которыми мы должны считаться.*

(28) 1997: *В сложившейся ситуации особенно важны чувство преданности Сингапуру, связь с семьей и друзьями. Мы всегда должны помнить, что у нас у всех есть обязательства друг перед другом, особенно у тех, на кого у Сингапура есть большие надежды. Мы все должны крепко взяться за руки, чтобы Сингапур стал единым целым.*

Этот дискурс пытается привить жителям Сингапура чувства преданности своему государству. По мнению Йео и Уиллиса [Yeoh and Willis 1997], прививание чувства национального единства является важной стратегией в политике национального государства при участии в процессе глобализации. Тем не менее, нельзя полностью полагаться на преданность государству, целые семьи могут мигрировать. В связи с этим, данный дискурс пытается привлечь таланты, «не взирая на их национальность и страну происхождения» в Сингапур (29). Го подчеркивает преимущества данной политики для экономики государства, пытаясь предвосхитить возмущение по поводу привлечения иностранцев. Он даже предполагает, что некоторые из них обоснуются в Сингапуре (30). Здесь мы не видим яркого призыва к национализму, что наблюдалось в более ранних выступлениях, нет четкого противопоставления «нас» и «их / иностранцев / Запада».

(29) 1997: *Поэтому мы должны привлекать талантливых людей со всего мира, не только китайцев, малайцев и индийцев, но и жителей Восточной, Южной, Юго-восточной Азии, арабов со Среднего Востока, североамериканцев, европейцев, австралийцев, даже латиноамериканцев и южноафриканцев, всех не взирая на их национальность и страну происхождения. Наша экономика только выиграет от этого.*

(30) 1997: *Кто-то, однажды сюда приехав, останется. И мы надеемся, что они проникнутся чувством верности к Сингапуру.... Поэтому мы должны быть готовы перенять знания, которые принесут собой иностранцы.*

Но для того, чтобы сделать Сингапур привлекательным для иностранцев, мы должны смягчить условия проживания в нем: Сингапур должен стать интересным и «манящим» (31). В связи с этим, государство стало терпимей относиться к гомосексуализму [The Sunday Times 17 August

2003] и одобрило строительство казино как составную часть курортов. Данные изменения свидетельствуют о том, что государство понимает, что «скопление богемы в регионе свидетельствует о привлекательности Сингапура для богатых людей» [Florida 2005: 128]. Глобальный город – это место и для работы и для развлечений и для проживания. Такое внимание и отношение к культурной индустрии и эстетике [Lash and Urry 1994] сильно отличается от более ранних выступлений, в которых делался акцент на экономности, самодисциплине и национальных достижениях.

(31) 1997: *Только красивые здания и хорошая планировка города не могут сделать город привлекательным, они могут только этому способствовать.... Если мы посмотрим на другие крупные города, то увидим, что все они разделены на районы по роду деятельности. ... Поэтому мы создаем развлекательную зону в округе Бужис.*

Вопрос национализма рассматривается более подробно в речи 1997 года, чем в предыдущих выступлениях. Желание Го привлечь иностранцев в Сингапур (североамериканцев, латиноамериканцев и южноафриканцев) может свидетельствовать о желании прервать связи с жителями Азии. На самом же деле, в этом заключается стремление стать городом космополитом и сохранить в Сингапуре наследие Азии» (32)

(32) 1997: *Наша стратегия – успешное ведение макроэкономики, привлечение специалистов, сохранение наследия Азии, создание города-космополита, участие каждого в строительстве нашего общего дома. Нам это удастся, если мы будем единым народом, единым Сингапуром.*

Следует отметить, что дискурс перехода к глобальному городу едва сочетается с дискурсом Сингапура как азиатского государства. Но от последнего нельзя отказываться, т.к. он обеспечивает связь с национальным прошлым страны. Обращение к истории Сингапура, его выходу из состава Федерации и получению статуса независимого азиатского города говорит об отказе выделять какую-либо азиатскую этническую группу. И, как мы можем заметить, попытки создания национального единства, строятся только на различиях азиатского Сингапура и Запада. Го пытается, таким образом, убедить сингапурцев в том, что общество должно быть более «открытым», а не призывает отказаться от своих национальных корней. Дальнейшее соотношение процессов становления глобального города и сохранения азиатского сообщества в настоящее время еще остается неясным [см. Wee and Bokhorst-Heng 2005].

Заключение. Как правило, государства заинтересованы в сдерживании процесса глобализации [Flowerdew 2002]. В случае с Сингапуром, государство намеревается переосмыслить чувство национального единства, что связано с тем, что все больше сингапурцев покидают остров и само понятие «сингапурец» находится под угрозой. Поэтому, когда Го говорит о сингапурских общинах, разбросанных по разным горо-

дам, он указывает на то, что сингапурцы создали новую «глобальную нацию» [Kotkin 1992] и напоминает им, где находится их истинный дом. Но в современном мобильном мире государство также должно осознавать, что эти сингапурцы могут никогда не вернуться домой. Поэтому государству необходимо стать привлекательным и для других, что выражается в привлечении иностранных специалистов и, возможно, новых жителей. Целью глобального дискурса, таким образом, является представление Сингапура как места, где будут рады не только сингапурцам, но и представителям других национальностей. Отсюда следует, что переход от национального государства к глобальному городу необходим для достижения этой цели. Данный переход неизбежно ведет к изменению в модуляции. Последнее включает маркеры глобального дискурса, которые мы рассмотрели в данной статье: ослабевание противопоставления «своих» и «чужих», отказ от авторитарности в управлении, создание условий для работы, отдыха и проживания, а также соответствующие современным мировым тенденциям в развитии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Appadurai A. Grassroots globalization and the research imagination // *Globalization*/ ed. by A. Appadurai. – Durham, North Carolina: Duke University Press, 2001. P. 1-21.
- Beck U. The risk society: Towards a new modernity. – London: Sage, 1992.
- Benjamin G. ‘The cultural logic of Singapore’s “multiracialism”’ // *Singapore: Society in transition*/ ed. by R. Hassan – Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1976. P. 115-33.
- Berking H. ‘Ethnicity is everywhere’: On globalization and the transformation of cultural identity // *Global forces and local life-worlds* / ed. by U. Schuerkens. – London: Sage, 2004. P. 51-66.
- Blommaert J. *Discourse*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Bucholtz M., Hall K. Language and identity // *The Blackwell companion to linguistic anthropology* / ed. by A. Duranti. – Oxford: Blackwell, 2004. P. 369-94.
- Cohen R. *Global diasporas*. – London: UCL Press, 1997.
- Flowerdew J. *Globalization discourse: A view from the East* // *Discourse and Society*. 2002. Vol. 13. P. 209-25.
- Florida R. *Cities and the creative class*. – New York: Routledge, 2005.
- Giddens A. *The consequences of modernity*. – Cambridge: Polity, 1990.
- Giddens A. *Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age*. – Cambridge: Polity, 1991.
- Giddens A. *Runaway world: How globalization is reshaping our lives*. 2nd edition. – London: Profile Books, 2002.
- Kennedy P. Introduction: Globalization and the crisis of identities? // *Globalization and national identities: Crisis or opportunity?*/ ed. by P. Kennedy, C. Danks. – New York: Palgrave, 2001. P. 1-28.
- Kotkin J. *Tribes: How race, religion and identity determine success in the new global economy*. – New York: Random House, 1992.
- Lash S., Urry J. *Economies of signs and space*. – London: Sage, 1994.
- Mir A., Mathew B., Mir R. The codes of migration: contours of the global software labor market // *Cultural Dynamics*. 2000. Vol. 12. P. 5-33.
- Pennycook A. Global Englishes, Rip Slyme and performativity // *Journal of Sociolinguistics*. 2003. Vol. 7. P. 513-33.
- Perrons D. *Globalization and social change: People and places in a divided world*. – London: Routledge, 2004.
- Rappa A., Wee L. Language policy and modernity in South-east Asia: Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand. – New

York: Springer, 2006.

Robertson, R. *Globalization: Social theory and global culture*. – London: Sage, 1992.

Sassen S. *The global city: New York, London, Tokyo*. 2nd edition. – Princeton: Princeton University Press, 2001.

Tan E. S. *Globalization, nation-building and emigration: The Singapore case* // *Asian Migrations*/ ed. By B. P. Lorente, N. Piper, H-H. Shen, B. Yeoh. – Singapore: Asia Research Institute; Singapore University Press, 2005. P. 87-98.

Yeoh B., Willis K. *Singapore Unlimited: Configuring social identity in the regionalization process*. – Paper presented at University of Nottingham Department of Geography Seminar Series, 1997.

Wade R. Is globalization making world income distribution more equal? – London School of Economics DESTIN Working Paper 01-01, 2001.

Wallerstein I. The national and the universal: Can there be such a thing as world culture? // *Culture, globalization and the world-system* / ed. By A. D. King. – Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996. P. 91-106.

Wee L., Bokhorst-Heng W. Language policy and nationalist ideology: Statal narratives in Singapore // *Multilingua*. 2005. Vol. 24. P. 159-83.

© Lionel Wee, 2007

© Зырянова И.П. (перевод), 2007

Костылев Ю. С.

Екатеринбург, Россия

ОБРАЗ ЯПОНЦА В СОВЕТСКОЙ МАССОВОЙ ПЕЧАТИ

Abstract

The author describes how the image of an enemy (a Japanese) was presented in Soviet mass press in the times of Soviet Russia & Japan conflict. While analyzing the means used in creating this image attention was given to specific features and characteristics that became part of Russia and Japan descriptions in 1918–1945. This approach lets to trace the development of Japanese image in this period of time.

В корпусе текстов, созданных в период существования советского государства, существуют такие, авторство и очевидная целеустановка которых позволяет определить функцию использования этностереотипа в ключе влияния на политические воззрения адресата. Такими текстами можно считать тексты массовой печати российского (советского) государства в разные периоды его существования. Создание и использование образа врага (японца) в этих текстах и стало предметом исследования данной работы.

Рассматривались исторические документы, относящиеся к периодам вооруженного противостояния советского государства с Японией в три исторических периода: 1) период гражданской войны и иностранной военной интервенции в России, 2) эпоха малых войн и локальных военных конфликтов конца 1930-х – нач. 1940-х гг., 3) период военных действий конца Второй Мировой войны. Выбор этих эпизодов объясняется тем, что именно во время вооруженных столкновений наиболее ярко выражается позиция военных и политических властей по отношению к представителям государства-противника. Очевидно, что до того, как некоторое государство не приобрело статус противника, и взаимодействие с ним не стало занимать достаточно большого места в общественно-политической жизни страны, наличие «официального» языко-

вого стереотипа, вырабатываемого фактически искусственно, не требуется, не оправдывается прагматически и потому создание этого образа не происходит настолько целенаправленно и активно, как в период войны. Говоря о сущности стереотипа, Е. Бартминский, напр., пишет: «Подчеркнем, что понятия изначально отвечают требованиям научного мышления, поддаются верификации на основании опыта, стереотипы, наоборот, включаются в опыт, являясь в достаточной степени независимыми от него; что в понятиях доминирует интеллектуальный компонент, в стереотипах – эмоциональный; что стереотипы устойчивы к изменениям, понятия же открыты изменениям, поддаются модификациям в соответствии с развитием знания; что, наконец, социальная функция понятия имеет познавательный характер, функция стереотипа – интегративный и охранительный <...> нет смысла искать его в стилях, стремящихся к объективизму и интеллектуализации, прежде всего в научном и официально-деловом, которые предполагают собственно интеллектуальные, а не эмоциональные способы упорядочения мира» [2005: 160]. Очевидно, что именно в период войны восприятие представителя чужой страны становится предельно эмоциональным, и языковые формы его описания приобретают не познавательную, а собственно характеризующую функцию. Идея об ином – более эмоциональном и стереотипизированном – восприятии действительности во время войны поддерживается многими учеными – историками, психологами, социологами. Так, напр., психолог Лоуренс Лешан говорит о совершенно ином, чем в мирное время, – «мифическом» – типе сознания, преобладающем в условиях вооруженного противостояния и характеризующем предельной стереотипизацией восприятия действительности: «Эти две реальности – «мифическая» и «сенсорная» отличаются по структуре, и эта разница непреклонно приводит к отличиям в мыслях и поведении. «Мифическая» реальность характеризует общество во время войны, когда все понятия делятся на белое и черное, и нет промежуточных оттенков» [2004: 45]. Естественно, что стереотипы сознания должны проявляться в стереотипах языковых, причем языковые стереотипы военного времени будут наиболее полно соответствовать своему определению, поэтому стереотип, выработанный в условиях вооруженного противостояния искусственным, отчасти, образом, в пропагандистских целях, и представляет как таковой, на мой взгляд, наибольшую ценность и, с другой стороны, отражает функционирование стереотипа именно в политическом тексте достаточно наглядно.

В качестве источника материала использовались тексты массовой печати, т.е. тексты, предназначенные для достаточно широкого круга читателей и отражающие целеустановку авторов на идеологическое воздействие на адресата: 1) публикации центральных и фронтовых газет и журналов, газет отдельных видов

вооруженных сил, 2) тексты сборников Политуправления армии, 3) приказы по войскам, 4) тексты агитационных плакатов, листовок и т.п.; 5) опубликованные в печати речи руководителей государства и армии. В отдельных случаях в качестве материала для сравнения с основной массой исследуемых текстов приводятся тексты, созданные носителями военной и государственной власти, не предназначенные для публикации и широкого распространения. Рассматривались тексты, хронологически относящиеся не только к конкретному историческому эпизоду, по поводу которого эти тексты были созданы, но и более позднего времени, т.к. очевидно, что способы описания и характеристики противника оставались практически неизменными на протяжении всей советской эпохи.

Анализ средств создания образа производился путем рассмотрения того, какими специфическими чертами и характеристиками наделялись противники в описываемый исторический период. Эти элементы отражают достаточно полно образ врага в текстах описываемого периода и позволяют увидеть, как именно представляли себе противника авторы текстов и, следовательно, какой образ формируется в совокупности текстов эпохи.

1. Образ японца в текстах периода гражданской войны и иностранной военной интервенции. Первые столкновения советского государства с Японией произошли в апреле 1918 г. – во время интервенции стран Антанты на российский Дальний Восток. В 1922 г. японские войска покинули советские территории, а в июне 1923 г. в Пекине прошли переговоры по поводу нормализации советско-японских отношений. В период интервенции японцы заняли Приморье, но дальше на запад практически не продвинулись. В то же время на Дальнем Востоке действовали американские десанты, белые войска под началом Каппеля, Семенова и др., несколько западнее против Красной Армии воевал корпус барона Унгерна фон Штернберга, против войск РСФСР и ДВР сражалась и более мелкие вооруженные формирования. Естественно, при таком обилии врагов (с учетом военных действий на других театрах) и сравнительно скромных успехов японцев, советская пропаганда, как и в случае с финнами, не могла уделять большое внимание именно японцам. Поэтому и здесь мы сталкиваемся с недостатком полным освещением образа врага на этом фронте и довольно малым количеством материалов, характеризующих японцев. Но все пройти мимо появления нового врага в Приморье советская пропаганда, конечно же, не могла, и мы все же можем увидеть, какими средствами пользовался советский идеологический аппарат для описания японца и Японии в этот период.

Источником материала стали публикации газеты «Известия» за 1920 г. и Большая советская энциклопедия [1935-1940].

Бросается в глаза некоторая неразработан-

ность образа японца в этот период – отказавшись от дореволюционной традиции характеристики японцев преимущественно по национально-антропологическому признаку (ср.: «*Лезешь сдуру к Порт-Артуру, там, брат, желтую-то шкуру спустят моряки*»; «*Курносый дурачище*» – с плакатов времен русско-японской войны), советская пропаганда вынуждена была обратиться к освоению классово и политической сущности врага. Но, похоже, к тому времени арсенал подобных характеристик не был в должной степени разработан. Так что ведущей стала идея империалистической политики Японии, при этом, раскрывалась эта идея очень ограниченным рядом лексем: «*Вождения японских империалистов*»; «*Последние десятилетия для Дальнего Востока характеризуются непрерывным ростом японского империализма*» («Известия» 5.09.20).

Лексема империализм и ее производные явно содержат в себе идею агрессии, нападения (ср. в Толковом словаре русского языка под ред. Д.Н. Ушакова [1935-1940] (далее ТСУ): «Империализм 2. Захватническая внешняя политика»), эта же идея содержится и в словах *захватчик*, *завоеватель* и однокоренных с ними, также широко используемых при описании японцев в текстах: «*Японской военщине* (В текстах, созданных непосредственно в период боевых действий лексема *военщина* не встречается. Очевидно, ко времени написания БСЭ-40 это слово уже закрепилось в языке в отношении врага, и авторы энциклопедии просто воспользовались приобретенным уже после 1920 г. опытом) *приходилось сокращать свои первоначальные захватнические планы*» (БСЭ-40). «*Но сейчас японским завоевателям не до этого*» («Известия» 11.02.20).

Практически только этими лексемами ограничиваются авторы при создании портрета врага, но, хотя и достаточно редко, в текстах встречаются и другие элементы образа японца. Так, мы можем встретить указания на стремления Японии к войне, но при этом, достаточно слабую подготовленность к ней: «*Она [Япония] лихорадочно гонит все дальше и дальше свое вооружение*» («Известия» 8.05.20). Лексема *лихорадочно* в данном случае указывает на то, что подготовка ведется сумбурно, непоследовательно, имея мало шансов на успешное воплощение, но при этом достаточно активно.

Как и при создании образа других врагов, подчеркивается мысль о наличии сил, противодействующих врагу хотя бы и пассивно, внутри самой Японии: «*Японский солдат не хотел больше крови ради захватных планов своих капиталистов*» («Известия» 9.03.20). Здесь мы видим, как *капиталистам*, представляющим собой сравнительно небольшую группу, противопоставлен обобщенный *японский солдат*. Единственное число, употребленное здесь, указывает на то, что японская армия представляет собой единое целое, причем настроенное враждебно по отношению к *капиталистам*. Взаимодействие Японии с другими врагами Советской России представлено довольно противоречиво. Здесь мы видим влияние двух взаимоисключающих целеустановок – 1) представить внешних врагов единой

силой, посягающей на молодое государство, борьба с которой потребует усилий от населения страны, 2) подчеркнуть противоречия внутри враждебного лагеря и указать на возможность победы над этим врагом: «*Господину Учида были показаны тайные соглашения, которыми клика безответственных деятелей – генро – связала японский народ с европейско-американским капиталом*» («Известия 28.02.20); «*Ясно, что двинуть против Советской России крупные силы японский империализм при всем своем желании не мог бы из-за соперничества американской буржуазии, ревниво следящей за успехами японского хищника*» («Известия» 11.02.20). В первом тексте мы можем видеть еще несколько способов описания врага как малочисленного и не имеющего шансов на успех – именование противостоящей группы *кликой* показывает ее количественную ограниченность (ср. в ТСУ: *Клика. Небольшая компания, сообщество людей, объединившихся для каких-н. неблагоприятных действий.*), при этом, *связывая народ*, она противопоставляется населению собственной страны. Называя генро *безответственными*, авторы подчеркивают определенный заранее провал их политики, вызванный недостаточной продуманностью их действий. Называние противника *хищником* в тексте от 11 февраля снова актуализирует идею его агрессивности, метафорически описывая его империалистическую сущность.

Итак, мы видим, что при создании образа японца в период иностранной военной интервенции для описания противника более или менее последовательно использовались всего лишь несколько лексем. При этом его образ складывается из нескольких элементов, в разной степени отраженных в печати: 1) ведущим (практически единственным) элементом образа становится описание противника стремящимся к агрессивной внешней политике; напрямую агрессором он не называется, но последовательно именуется империалистом, захватчиком и завоевателем; 2) действия противника до конца не продуманны, непоследовательны и обречены на провал, это выражается в лексемах типа *лихорадочно* и *безответственно* при описании его действий; 3) этот враг, как и остальные в этот период представлен противостоящим подавляющему большинству собственного народа, отдельная клика идет против воли всего населения Японии; 4) противоречиво описывается взаимодействие этого врага с другими, это вызвано стремлением представить враждебную коалицию сильной и слабой одновременно.

Образ японца в этот период разработан гораздо слабее, чем образы других врагов даже того же самого периода и состоит практически из одной черты. Это можно объяснить тем, что японцы были плохо знакомы адресату массовых текстов 1920-х гг. – очевидно, даже хуже, чем, напр., поляки и финны, и для создания их портрета пришлось обратиться к одной, наиболее общей, объединяющей всех врагов того периода характеристике – *империалист*, которая определяла внешнюю политику Японии до

вольно близко к истине. Не было создано даже квазиэтнонима типа *белофинн*, *белополяк*, *белочех*, известных нам по другим театрам военных действий. Это можно объяснить, во-первых, тем, что для деления японцев по их политическим убеждениям было меньше, чем в случае с другими врагами, оснований в действительности (во всяком случае, широкий читатель, кажется, ничего не знал о *красном* движении в Японии).

2. Образ японца в текстах периода локальных конфликтов конца 1930-х гг. Конец 1930-х гг. также ознаменовался многочисленными столкновениями советского государства с Японией. Вызвано это было тем, что Япония в это время вела крайне активную политику на континенте. Так, уже в сентябре 1931 г. японские войска были введены на китайскую территорию и к началу 1932 г. заняли территорию Маньчжурии, выйдя непосредственно к советско-китайской границе. 9 марта 1932 г. было провозглашено образование государства Маньчжоу-Го, опиравшегося на японские вооруженные силы. После этого уже с 1935 г. начались многочисленные приграничные столкновения на границах Маньчжурии с Советским Союзом и Монгольской Народной республикой, с которой СССР был связан договором о взаимопомощи. Во многом причина этих конфликтов заключалась в том, что линии границ на Дальнем Востоке зачастую были определены недостаточно четко и у противоборствующих сторон были разные взгляды на принадлежность территорий, прилегающих к некоторым участкам границы. Эти взгляды подкреплялись различными документами, подтверждающими правоту обеих сторон, естественно, в таких условиях требовались некоторые усилия пропаганды для обоснования претензий на оспариваемые земли. В частности этой причиной можно объяснить резко возросшую активность советской военной пропаганды при создании образа этих конфликтов и врагов, противостоящих Красной Армии. К тому же, именно с боевых действий против японцев началась цепь локальных конфликтов с участием Советского Союза в конце 1930-х гг. Происходили эти события в некотором смысле изолированно от других военных конфликтов: до сентября 1939 г. СССР не вступал в открытое вооруженное противостояние с другими государствами, и пропагандистскому аппарату представилась возможность достаточно полно осветить боевые действия в этом регионе.

Наиболее известными и значительными в ряду приграничных столкновений с Японией стали конфликты у озера Хасан в Приморье (1938 г.) и у реки Халхин-Гол (1939 г.) на монгольско-маньчжурской границе. Тексты, относящиеся к одному из этих конфликтов – у озера Хасан и стал объектом исследования в данной главе. Следует заметить, что тексты, относящиеся к столкновениям с японцами во второй половине 1930-х гг., создающие образ врага в этот исторический период, дают совершенно

одинаковый результат в сфере конструкции такого образа, но бои у Хасана освещались особенно подробно и активно, поскольку здесь имел место конфликт с участием достаточно больших неприятельских сил, причем непосредственно на территории СССР.

В агитационно-пропагандистском плане эти столкновения были обеспечены достаточно хорошо, освещались в центральной печати, по их следам Политуправлением армии создавались сборники о партийно-политической работе в этот период.

В качестве источника материала были использованы публикации газеты «Правда» за август 1938 г. и текст сборника «Бои у Хасана. Партийно-политическая работа в боевой обстановке» [1939] (далее – «Бои у Хасана»).

Наиболее частотной лексемой, характеризующей японца в этот период, становится лексема самурай и ее производные: «*Проучить самураев. Не быть грязной самурайской ноге на священной советской земле*» («Бои у Хасана»); «*Пусть знают гнусные японские самураи...*» («Правда» 4.08.38). При использовании этой лексики актуализируются национальная и социальная составляющие образа врага. Самурай – представитель привилегированной части общества (ср. в ТСУ: Самурай. Член привилегированной военной касты Японии (истор.). Здесь мы видим попытку использования средств, создающих образ одновременно классового и национального врага, подобно использованию, напр., лексем пан, шляхта и т.п. по отношению к полякам. Следует заметить, что использование лексики самурай является более удачным с пропагандистской точки зрения, поскольку она актуализирует не только указанные элементы образа, но и подчеркивает – через принадлежность его к «военной касте» – его природную агрессивность и опасность. Этим можно объяснить высокую частотность этой лексики в текстах: в текстах встретилось 93 случая употребления слова самурай, это ведущий способ характеристики японцев

При этом, кажется, в текстах классовая принадлежность самурая отходит на задний план, во всяком случае, образ японца не раздваивается по социальному признаку, как мы видели это ранее в образах поляка и финна. Так что, учитывая и классовую составляющую образа японца, названного *самураем*, следует признать, что ведущими здесь являются элементы, отражающие национальную принадлежность и агрессивную сущность противника. При этом интересным кажется то, что такое – связывающее ее с событиями у Хасана – значение лексики *самурай* указывается в ТСУ (Самурай // премущ. мн. Название, данное советским народом японской военизированной, осуществляющей политику империалистических захватов (нов. презр.). Видно, что такая подача толкования слова отделяет его от *самурая* в основном значении, что можно объяснить ощущением некоторой искусственности этого дополнительного значения, сознательного его

конструирования (при том, напр., что у лексемы *пан* в ТСУ нет подобного дополнительного толкования).

Вообще же в текстах всячески подчеркивается агрессивность противника. Наиболее частотной лексемой (26 случаев словоупотребления), характеризующей врага именно в этом аспекте является лексема *военщина* (в составе конструкции *японская военщина*): «*Японская военщина усиленно подтягивала свои войска*» («Бои у Хасана»); «*Но японская военщина забыла, по-видимому, что Советский Союз – не Маньчжурия, не Австрия*» («Правда» 12.08.38). Эта лексема, как мы видели выше, становится чрезвычайно популярной в эпоху локальных конфликтов конца 1930-х гг., но, учитывая то, что столкновения с японцами произошли раньше, чем с финнами и поляками, можно предположить, что именно во время пограничных конфликтов с участием японцев и было опробовано такое средство характеристики врага.

Эта же идея реализуется в лексемах *провокатор*, *провокация* и их производных, характеризующих действия врага. Подобные обозначения показывают врага агрессивным и бесчестным, пытающимся вызвать своего противника на нежелательные для него действия. При этом часто встречаются конструкции *провокаторы войны*, *провокация войны*, являющимися переработками авторитетного прецедентного текста: «Это не война, а только провокация войны» – из речи К.Е. Ворошилова по поводу боев у Хасана. Использование таких конструкций характеризует врага еще и как достаточно слабого, неспособного на масштабные военные действия, но движимого своей агрессивной природой: «*Мы малой кровью победили японских провокаторов войны*»; «*Советский народ, партия и правительство поручили им дать отпор японским провокаторам*» («Бои у Хасана»); «*Мы возмущены новой провокацией японо-маньчжурской военщины*» («Правда» 4.08.38).

Используются лексемы *захватчик*, *империалист*, *агрессор* и однокоренные с ними для характеристики японцев и их действий, что снова актуализирует идею агрессивности и опасности врага: «*Прочитать японских захватчиков, вынуждая их с советской земли было поручено эскадрону, комиссаром в котором был Пожарский*» («Бои на Хасане»); «*Мы одобряем мудрую политику Советского Союза, направленную на организацию решительного отпора фашистским агрессорам*» («Правда» 4.08.38). При этом лексема *захватчик* употребляется гораздо чаще, чем *империалист* и *агрессор*, что можно объяснить большей прозрачностью внутренней формы этого слова, а значит, большей эмоциональностью, с которой оно будет воспринято.

Идею неправомочности притязаний японцев, их слабую подготовленность наряду с большими амбициями, неспособность рассчитать свои силы выражают определения *наглый* и *зарвавшийся* и однокоренные с ними, характеризующие врага и его действия: «*Партийные и беспартийные большевики, борясь плечом к плечу, победили трудности и вышвырнули обнаглевших*

самураев с нашей родной земли»; «*Скоро придется встретиться с врагом и по-настоящему рассчитаться с ним за наглость, перешедшую все границы*»; «*Каждый сантиметр земли мы облили кровью зарвавшихся самураев*» («Бои у Хасана»). Эти средства также стали широко использоваться в войнах, последовавших за столкновениями на Дальнем Востоке. В рассмотренных текстах этого периода они используются также широко – было отмечено 32 случая словоупотребления.

Также идею слабой подготовки японцев отражает лексема *авантюра* и ее производные, дающие представление о враге как не способном считать свои силы, но достаточно активного: «*Почему японская военщина избрала для новой вооруженной авантюры район озера Хасан?*»; «*Эти подлые авантюристы напали на наши священные рубежи и заняли пядь нашей земли – Заозерную сопку*» («Бои у Хасана»).

Неспособность противника вести прямые боевые действия, его хитрость, бесчестность отражают определения *коварный* и *подлый*, также часто встречающиеся в текстах: «*Боевые действия против подлого и коварного противника*» («Бои у Хасана»).

Как и в случае с другими врагами, активно эксплуатируется идея криминальной основы действий врага. Сам враг называется *бандитом*, *разбойником*, *налетчиком*, а его действия *налетом*: «*Они пали смертью храбрых, защищая свою любимую родину от подлых бандитов*»; «*Японские разбойники нагло нарушили священные границы страны социализма*»; «*Кровь наших братьев не пройдет налетчикам даром*»; «*Не учли этого японские налетчики*»; («Бои на Хасане»); «*Японским бандитам не усыпить нашей бдительности*» («Правда» 7.08.38); «*Японским налетчикам не быть на советской земле*» («Правда» 4.08.38). Наиболее часто из этих лексем используются *налет*, *налетчик* и *бандит*. Это можно объяснить тем, что в основу лексем однокоренных со словом *налет* положен признак более динамичный, чем в основу слова *разбой* и однокоренных, значит, можно ожидать, что эта лексема обладает большей экспрессивностью, вызывает более активные чувства по отношению к врагу и в пропагандистском аспекте окажется более удачной. Что касается лексемы *бандит*, то здесь можно предположить влияние уже сложившейся к тому времени традицией именования бандитом любого врага – и внутреннего, и внешнего, значит, столкнувшись с хорошо знакомой лексемой и стоящим за ним образом, адресат более живо и эмоционально воспримет именно такой способ характеристики, чем использованный в тексте впервые.

Опору на сложившуюся к этому моменту традицию мы видим и в связи японцев с *германцами* и *фашистами*. Следует заметить, что к этому времени в советских пропагандистских текстах лексема *фашист* становится практически функциональным аналогом лексемы *немец* (естественно, речь идет прежде всего о немцах-врагах). Уже к концу 1930-х гг. фашизм воспринимался как нечто опасное, страшное, и во вре-

мя пограничных конфликтов с Японией естественно возникало желание связать врага с этим одиозным движением: «Они заявили, что в ответ на наглую провокацию японского фашизма комсомольские ряды будут пополнены десятками и сотнями лучших красноармейцев» («Бои у Хасана»); «Кровавые фашистские бандиты готовят войну против СССР» («Правда» 12.08.38).

Учитывая сближение внешнеполитических интересов Германии и Японии и подписание в 1936 г. антикоминтерновского пакта, можно заметить, что некоторые основания для такой связи были, но т.к. Япония не была фашистской, а германские войска в боях у Хасана не участвовали, целеустановку обозначения такой связи можно расценивать как сугубо пропагандистскую.

В текстах прослеживается тенденция к снижению образа врага, выражается это в чрезвычайно широком использовании бранной лексики по отношению к противнику, в частности, употреблении лексем гад, сволочь, злусный, не выражающих практически никакой идеи, кроме эмоционального негативного отношения к врагу: «Клянусь перед родиной, перед партией, перед правительством, что за своих товарищей отомщу и буду беспощадно уничтожать фашистских гадов»; «Нет места ни одному гаду на нашей священной земле!»; «Бей самурайскую сволочь!» («Бои у Хасана»). Вообще же отдельно следует отметить высокую эмоциональность текстов, создающих образ японца. Так, на 20 случаев употребления конструкции японская военщина встречается 10 случаев употребления лексем сволочь и гад, 26 случаев употребления лексем наглый и заввавшийся однокоренных с ними. Все эти лексемы явно обладают негативным экспрессивным фоном, причем лексемы гад и сволочь имеют достаточно большой удельный вес. Встречаются, хотя и редко, также лексемы погань падаль, нечисть по отношению к японцам: «Стальной кулак Красной Армии развеет в прах эту падаль»; «Товарищ Черевик замечательно, работавший у пулемета, уничтожившего немало самурайской погани...»; «Я уверен, что с доблестью выполним эту задачу, и наша родная земля будет вновь свободна от всякой нечисти» («Бои у Хасана»). Это можно объяснить необходимостью мобилизации армии и населения в борьбе с достаточно сильной японской Квантунской армией, при этом, следует заметить, что сниженная лексика гораздо чаще встречается не в публикациях центральных газет, а в пропагандистских сборниках. Очевидно, центральная печать все же стремится сохранить видимость объективности, а пропагандистские сборники, основной целью которых является идеологическая мобилизация населения, могут позволить себе более эмоциональные способы описания врага.

На снижение образа врага работает и использование многочисленных зоологических образов, сравнивающих противника с различными животными, вызывающими негативные ассоциации. Враг может называться неким обобщенным способом при помощи слов типа

хищник, гадина, зверь и однокоренными с ними лексемами: «Пусть помнят фашистские хищники, что им несдобровать» («Правда» 7.08.38); «Я собственными руками уничтожил нескольких озверелых самураев» («Бои у Хасана»). Лексемы озверелый и хищник, кроме простого снижения образа, еще и характеризуют врага как опасного и агрессивного.

Японская армия в текстах повторяет организацию групп, в которые формируются животные: «Пусть знает вся эта самурайская свора, все эти презренные лакеи фашизма, что никогда им не смыть крови наших павших героев»; «Сунулись бандитов стаи» («Бои у Хасана»).

Широко используются метафоры, сравнивающие японцев с конкретными животными: «Выбить японцев с нашей советской земли и проучить их так, чтобы они никогда не забыли этот урок и никогда больше не пытались совать свое свиное рыло в наш советский огород (Как было сказано выше, эта конструкция является трансформацией авторитетного прецедентного текста, автором которого является Сталин)»; «Пусть знают бешеные шакалы, что никогда не ходить им по нашей священной земле»; «Обязуюсь в самый короткий срок самостоятельно отремонтировать танк, овладеть им и пойти в бой против японских собак»; «Гранаты наши полетели прямо в окопы к японцам. Те, как мыши, забежали по высоте, засуетились»; «Ошеломленные неожиданным натиском, японцы растерялись. Побросав винтовки, они, как крысы, забежали по подземным ходам» («Бои у Хасана»). Несмотря на то, что, в основном, сравнения с конкретными животными не являются постоянными, само употребление подобных метафор показывает стремление к снижению образа врага, а сравнение японца с животным является систематическим и достаточно частым (на 10 случаев употребления лексем сволочь и гад встречается 11 сравнений японцев с животными), что свидетельствует о крайне эмоциональном восприятии врага.

Снова встречается идея интеллектуальной несостоятельности врага, при этом и здесь авторы прибегают к довольно эмоциональным характеристикам – вплоть до именованья врага сумасшедшим: «Обнаглели самураи, потеряли разум, Чести мы не потеряем – разобьем их разом»; «Провокация войны со стороны беспокойного и далеко не умного соседа»; «Японская военщина, ущемив свой хвост в Китае, решила, как вообще полагается сумасшедшим, ущемить и голову» («Бои у Хасана»).

Встречается в текстах и упоминание конкретных военных и политических деятелей Японии: «Не хитрите, сигэмицы (Сигэмицу Мамору – посол Японии в Советском Союзе). Мелко плавааете вы»; «Если ж надо, Коккинаки (Коккинаки К. К. – советский летчик-истребитель, сбивший во время боев с японцами семь вражеских самолетов) долетит до Нагасаки И покажет он Араки (Араки Садао – военный министр Японии) где и как зимуют раки» («Бои у Хасана»).

В отличие от конфликтов с Польшей и Финляндией, во время которых в советской печати были представлены «хорошие» и «плохие» финны и поляки, в период столкновений у Хасана образ японца не «раздваивается» подоб-

ным образом.

Таким образом, в период локальных конфликтов конца 1930-х гг. создается достаточно четкий и подробный образ японца, включающий в себя следующие черты: 1) основным средством обозначения японца становится лексема *самурай*, актуализирующая сразу три негативно воспринимаемых аспекта образа врага – принадлежность к другой национальности, принадлежность к чуждому классу и природную агрессивность противника; 2) подчеркивается агрессивная сущность врага, очень часто по отношению к нему применяется характеристика *военщина*, а также *агрессор*, *захватчик*, *империалист*; 3) авторы указывают на несправедливость претензий японцев и слабую их подготовленность к боевым действиям, для этого используются лексемы типа *наглый* и *зарвавшийся*; 4) эту же идею – несправедливость претензий врага, а также его агрессивность реализует лексика криминальной сферы – *бандит*, *налетчик* и т.п.; 5) неготовность и слабость врага отражена также в лексеме *авантюра*, характеризующей деятельность противника, и однокоренных с ней; 6) проводится однозначная связь японцев с фашистским движением, причем также довольно настойчиво; 7) прослеживается тенденция к снижению образа врага – для его характеристики используется сниженная лексика – *сволочь*, *гад* и т.п., а также образы различных животных; 8) авторы текстов указывают на интеллектуальную несостоятельность противника, используя определения *неумный*, *безумный*, *сумасшедший* и т.п.

Итак, можно заметить, что по сравнению с периодом иностранной военной интервенции 1918-1922 гг. образ японца стал более подробным и четким, но более сниженным. Вместе с тем, из него исчезла раздвоенность по социальному признаку, ведущими его чертами остаются агрессивность и слабость, но теперь они разработаны более подробно. Идея несамостоятельности действий Японии выражается в ее связи с фашистским движением.

3. Образ японца в текстах периода Квантунской операции. После окончания войны с Германией Советский Союз по договоренности с союзниками открыл военные действия против Японии, денонсировав советско-японский пакт о нейтралитете, заключенный в 1941 г. 9 августа 1945 г. советские войска перешли советско-маньчжурскую границу и двинулись на юг – к пограничной реке Амноккан (Ялуцзян), разделяющей территории Маньчжоу-Го и Кореи. Инициатива начала очередной войны с Японией принадлежала Советскому Союзу, поэтому и здесь потребовались значительные усилия советской пропаганды для объяснения смысла нападения на японскую Квантунскую армию. Несмотря на относительную кратковременность боевых действий, советская пропаганда уделила достаточно большое внимание очередному конфликту.

В качестве материала для данной главы ис-

пользовались публикации газеты «Правда» за август-сентябрь 1945 г. и тексты некоторых плакатов.

Снова ведущим элементом образа японца становится агрессивность. Представляя противника агрессивным, советская пропаганда обосновывала право Советского Союза напасть на Японию, поскольку от такого соседа можно ожидать любого шага, направленного против СССР, а это значит, что единственным логичным способом взаимодействия с ним является превентивный удар. Япония и японцы называются *агрессорами*, *захватчиками*, *поджигателями войны* (причем конструкция *поджигатель войны* становится аналогом активно использовавшейся ранее лексемы *провокактор* – таким образом, на противника перекладывалась моральная ответственность за начало войны), используются однокоренные с этими лексемами, характеризующие действия японцев: «*Японский агрессор будет разгромлен*» (с плаката); «*Мы не забудем ни одного агрессивного шага Японии предпринятого против нашей страны*» («Правда» 10.08.45); «*Бейте японских захватчиков по гвардейски!*» (с плаката); «*Пора покончить с японскими поджигателями войны*» («Правда» 10.08.45).

Цели морального оправдания начала военных действий служит также определение японцев и их действий как вероломных – таким образом, утверждается, что от Японии в любой момент можно ожидать агрессивного шага, значит логично будет ударить первыми: «*Через тридцать семь лет после этого* (Имеется в виду атака японской эскадры адмирала Того на Порт-Артур в 1904 г.), *Япония в точности повторила этот вероломный прием в отношении Соединенных Штатов Америки, когда она в конце сорок первого года напала на военно-морскую базу США в Перл-Харборе*» («Правда» 3.09.45). При этом указание на вероломность действий японцев как на традицию подчеркивает их «органическую» бесчестность и дает дополнительные основания для нападения на нее – даже если в текущий момент Япония не предпринимает никаких агрессивных шагов, ее поведение в прошлом показывает, что она может действовать совершенно неожиданно. К тому же таким образом можно подключить пафос отмщения и воздаяния Японии за прежнее вероломство.

Как и в прежние периоды, авторы указывают на империалистическую и криминальную природу действий японцев. При этом разнообразие лексик, относящейся к криминальной сфере, сужается до слова *разбой* и однокоренных с ним: «*Крахнули надежды японских империалистов затянуть войну*» («Правда» 25.08.45); «*В этой разбойничьей повадке сказались обычные методы японского империализма*» («Правда» 9.08.45); «*Навсегда отучим японцев от разбоя*» («Правда» 12.08.45).

Зато в этот период активно используется конструкция *разбойничий империализм*, синтезирующая идеи агрессивности внешней политики врага и криминальной ее сущности, такое сочетание должно усиливать пропагандистский эффект, поскольку объединяет два негативно воспринимаемых признака: «*Японский разбойничий империализм – лютый враг советского народа*»

(«Правда» 13.08.45).

Используются разработанные в конце 1930-х гг. способы характеристики врага, такие как именованья его *военщиной*, указания на его связь с Германией и фашизмом. Применение таких способов, знакомых адресату, объясняется желанием использовать достижения и опыт пропаганды предшествующих времен: «*Надо раз и навсегда покончить с японской военщиной*» («Правда» 9.08.45); «*Разгром японской фашистской военщины – великая победа свободолюбивых народов*»; «*Япония – это государство фашизированных империалистов*» («Правда» 25.08.45); «*Японский агрессор полностью разделит участь разгромленной и поставленной на колени гитлеровской Германии*» («Правда» 10.08.45).

С этой же целью используется лексема *самурай*, характеризующая японцев, удачно найденная советской пропагандой в конце 1930-х гг.: «*Все горят одним желанием – получить и выполнить новое боевое задание – нанести самураям еще более сокрушительный удар*» («Правда» 10.08.45); «*Сейчас, обрушивая свои удары на головы японских самураев, тихоокеанцы показывают, что их труды не пропали даром*» («Правда» 12.08.45).

Активно используются зоологические образы: «*Красная Армия и войска союзников сделали великое дело, поставив на колени японского хищника*»; «*Бурят-монгольский народ знает звериную повадку японского агрессора*» («Правда» 24.08.45). Вообще следует отметить, что советская пропаганда в этот период гораздо менее эмоционально характеризует японцев, чем в период боев у Хасана – теперь она не позволяет себе называть их *сволочью*, *гадами* или *крысами*.

Снова встречается мысль о противопоставленности японского народа японским же властям: «*Японские правящие круги не считаются с интересами японского народа*» («Правда» 9.08.45), но, как и раньше, мы не видим здесь указаний на активную позицию японского народа или освободительного пафоса по отношению к японцам. Так что и теперь образ японца выглядит достаточно цельно, в отличие от образов финна или поляка.

Знакомая идея психической неполноценности врага в этот период эксплуатируется не столь активно, но все же присутствует в описательных метафорических конструкциях: «*Красная Армия наденет смирительную рубашку на злобную японскую военщину*» («Правда» 10.08.45) – в данном контексте указывается скорее не интеллектуальная несостоятельность врага, а его активность, которую важно было подчеркнуть, учитывая то, что активной стороной в этот период на самом деле являлся Советский Союз.

Таким образом, мы видим, что в образе японца периода Квантунской операции августа 1945 г. сохраняются многие черты образа времен боев у Хасана 1938 г, но все же этот образ несколько видоизменяется. Такое изменение вызвано, в первую очередь, стремлением оправдать превентивные меры по отношению к Японии со стороны Советского Союза: 1) снова подчеркивается агрессивная сущность врага, по

отношению к нему применяется характеристика военщина, а также агрессор, захватчик, империалист, поджигатель войны; 2) исчезают указания на неподготовленность противника к войне, т.к. в этот период важно подчеркнуть агрессивные устремления японцев при отсутствии в реальности военной активности с их стороны – ведущей установкой становится мысль о том, что, хотя Япония не воюет с Советским Союзом, но готова к такой войне и может начать ее в любой момент; 3) при помощи определения вероломный по отношению к японцу проводится та же мысль – враг в любой момент может начать боевые действия, значит нужно опередить его; 4) криминальная сущность действий врага выражается в лексеме разбойник и однокоренных с ней; 5) проводится однозначная связь японцев с фашистским движением и Германией, которые к тому времени должны были восприниматься особенно негативно; 6) одним из средств обозначения японца становится лексема самурай, актуализирующая сразу три негативно воспринимаемых аспекта образа врага – принадлежность к другой национальности, принадлежность к чуждому классу и природную агрессивность противника и к тому же хорошо знакомая адресату. 7) резко снижается эмоциональность характеристик врага по сравнению с концом 1930-х гг.

Теперь мы можем проследить эволюцию образа японца в период 1918-1945 гг. Неизменной его чертой становится агрессивность врага-японца, воспринимаемая как органическая, неотъемлемая черта характера и криминальная сущность его действий. В конце 1930-х гг. появляется ранее не использовавшаяся лексема *самурай*. Образ японца 1945 г. сближается с образом 1918-1922 гг. по признаку разобщенности его по социальному признаку (однако эта разобщенность выражена не так явно, как, напр., в образах поляка и финна). Знакомая по образам других врагов идея безумия актуализируется достаточно четко только в период пограничных конфликтов конца 1930-х гг. По признаку неготовности к войне объединяются образы японца периода интервенции 1918-1922 гг. и конца 1930-х гг., тогда как в 1945 г. эта идея исчезает. Идея несправедливости претензий врага объединяет образы 1939 и 1918-1922 гг.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бартминский, Е., Языковые стереотипы // Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике. М. 2005.
Бои у Хасана. Партийно-политическая работа в боевой обстановке. М. 1939. // <http://militera.lib/ru/h/hasan/>
Большая Советская Энциклопедия. М. 1935-1940
Лешан, Л., Психология войны. М. 2004.
Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. проф. Д. Н. Ушакова. М., 1935-1940

© Костылев Ю.С., 2007

Симон А.А.
Москва, Россия

«БОЛЬШЕ ДЕМОКРАТИИ –

БОЛЬШЕ СОЦИАЛИЗМА»: ЯЗЫК ЖУРНАЛЬНОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ ПЕРИОДА ПЕРЕСТРОЙКИ

Abstract

The author focuses upon the language of press discourse in the perestroika period, to be more exact of "Nash Sovremennik" and "Ogonyok" issues. The author tries to prove that modern style of journalism develops gradually and slowly involving a collision of opposite tendencies. There are no grounds to presume that this evolution of post soviet press discourse has been completed. In this article perestroika mass media discourse is treated as a rapidly developing system based upon a variety of styles and techniques.

История перестройки (1985-1991) со всеми ее общественно-политическими перипетиями и новыми идеями дает современным исследователям русского языка возможность пронаблюдать в развитии редкую и весьма интересную ситуацию активной языковой трансформации.

Сегодня судить об изменениях, происшедших в языке, можно главным образом на примере публицистики. Провозглашение гласности и отход от цензуры заметно изменили стилистический облик большинства советских изданий. Изначально склонные подражать стилю поведения главы государства, журналисты переняли у М.С. Горбачёва манеру неподготовленной и неофициальной свободной речи. Язык прессы, прежде нарочито казённый, намеренно неконкретный, постепенно стал приобретать яркую и эмоциональную окраску, т.е. начал в значительно большей степени, чем раньше, соответствовать параметрам публицистического стиля.

Однако, как это всегда бывает в переходный период, изменения происходили не в одночасье. Один из известных лозунгов того времени – «Больше демократии – больше социализма». В нем можно усмотреть как идейное и речевое новаторство, так и тяготение к советскому «новоязу», – оба свойства были присущи эпохе в равной мере.

Доминирование того или иного стиля на страницах газет и журналов зависело от характера каждого конкретного периодического издания. Журналы официальных партийных или государственных организаций с трудом отходили от привычного, вырабатывавшегося десятилетиями языка советских средств массовой информации и пропаганды. Напр., журнал «Наш современник» – официальный печатный орган Союза писателей РСФСР – в разгар перестройки, в 1988 г., с точки зрения стиля всё ещё напоминал типичный образец риторики советского «новояза».

Здесь сохранилась установка на обезличенность журналистского материала. Очень редко автор текста говорит о себе «я», чаще заменяя его на «мы»: «*Однако эффективными эти меры, как мы полагаем, будут лишь после коренной перестройки управления водопользованием*», «*Почему мы не вводим анонимное лечение..?*». В первом случае журналист употребляет «мы» вместо «я», снимая с себя личную ответственность, распределяя её между членами некоторого ав-

торского коллектива (сходно с употреблением научного «мы»). Во втором примере – типичное для советской печати «мы» сопричастности, объединяющее весь народ в единую массу.

Кроме того, в качестве заменителей авторского «я» используются безличные синтаксические конструкции: *известно, что...; выходит...; тревожит...; нужно; необходимо; не обязательно; следует отметить; надо сказать* и т.д. Публицистический текст превращается в сплошную прописную истину, которую все, кто считает себя входящим в советское «мы», принимают как объективную реальность.

Статьи «Нашего современника» изобилуют штампами-советизмами, используемыми без переосмысления. В результате речь, с одной стороны, становится идеологически поляризованной, а с другой – теряет оригинальность, обнаруживает принадлежность к советской традиции, которая в то время вызывает негативную реакцию и даже неприятие у значительной части читательской аудитории. Среди наиболее ярких и часто встречающихся советизмов можно выделить такие слова и словосочетания: *линия партии, взять курс на..., рубежи нашей страны, маяки и ориентиры, базис и надстройка, отозваться на призыв, творческая перекличка, святой ленинский завет, рабочий класс, удовлетворение нужд трудового народа, подвергаться (справедливой) критике, разукруплять, политиканство, литературные спекулянты и приспособленцы, братская Болгария (союзная республика), русская советская литература*.

Характерно для данного журнала и использование призывных восклицательных предложений. Частое риторическое применение лозунгов в печати отмечалось А.М. Селищевым как характерная черта постреволюционного русского языка уже через десять лет после Октября. Как видим, этот приём актуален и для 80-х гг.: «*Трезвость – оружие революции*», «*Всем – добро пожаловать на древнюю Новгородскую землю!*».

К «формулам» советской публицистики можно отнести также обязательное упоминание всех официальных званий героя материала, если таковые у него имеются: «*Писателю Анатолию Степановичу Иванову, Герою Социалистического Труда, лауреату Государственных премий СССР и РСФСР, других литературных премий, секретарю правления СП СССР, главному редактору журнала «Молодая гвардия» – 60 лет...*» – с таких слов начинается статья. И лишь после этого говорится, что Иванов – автор всенародно известных романов «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» (думается, для читателя это должно было иметь большее значение).

Ещё одна «формула» – обязательная ссылка на Полное собрание сочинений В.И. Ленина или К. Маркса и Ф. Энгельса при цитировании их высказываний. Именно из таких мелких деталей и состоит канон советской журналистики, который, как мы увидим позже, оказалось далеко не просто изжить.

Из новой и актуализированной лексики (ле-

рестройка, демократия, гласность и т.д.) журнал «Наш современник» активно использует слово *перестройка* как наиболее отвечающее традициям советской политической номинации, в то время как лексическим символом либеральных журналов стала *демократия*.

Язык обновляющейся публицистики рассмотрим на примере материалов журнала «Огонёк», который на протяжении всего периода перестройки был своего рода символом свободной и устремленной в демократическое будущее прессы.

В целом стиль «Огонька» 1988 г. характеризуется стремлением к максимальной доступности языка, а также к отказу от объективности тона в пользу открытости авторской позиции и, соответственно, яркой стилистической окрашенности текста. В журналистские материалы проникает множество разговорных и просторечных выражений: *«Новое явление? Ой ли? Давайте покопаемся в памяти. Я не припомню случая, чтобы в южных аэропортах даже 20 лет назад можно было бы взять государственное такси, таксисты наотрез отказывались, а частники тут как тут»* или *«Отрицаловка и сочувствующая им часть работяг...»*.

Одновременно происходит активизация использования научных терминов (в основном, из области экономики), прежде встречавшихся лишь в специальной литературе. В годы перестройки массовому читателю пришлось осваивать не только азы политики и экономики, но и соответствующую терминологию. В «Огоньке», в частности, упоминаются *мировой кинопрокатный рынок, инфраструктура, демократизация, правовое государство, внеэкономическое принуждение, прецедент, конъюнктура, налогообложение, инфляция*.

В связи с тем что новая для языка публицистики лексика относится к разным стилистическим пластам, возникает эффект стилистического смещения: *«Мы спокойно относимся к прощелье-доставале, нас не смущает уникальная способность «доставать» дефицитную колбасу или строителей для срочного ремонта, не удивляет купленная по дешёвке дублёрка на бывшей генеральше, мы воспринимаем без протеста, чуть ли не как должное, все эти несуразности бюрократизированного рынка»*.

Использование стилистически сниженной лексики – один из приёмов, с помощью которых выражалась активная авторская позиция и сокращалась дистанция «журналист-читатель». «Вместо официального, застёгнутого на все пуговицы журналиста, говорящего от имени партии, явился автор, говорящий от своего имени, частный человек, автор-собеседник», – замечает Г.Я. Солганик [2004: 4].

В статьях журналистов «Огонька» стало активно использоваться авторское «я» («я убеждён»; «на мой взгляд»; «я бы тут посмотрел пошире»). Иногда это «я» намеренно акцентируется, подменяя «мы» в устойчивой конструкции. Напр., задавая вопрос в интервью американскому писателю Джону Апдайку, корреспондент

«Огонька» Артём Боровик употребляет выражение «в моей стране». Для американца это звучит обыкновенно (in my country), но для советского человека такого выражения не существовало вовсе. Ставшее штампом словосочетание «в нашей стране» имеет в основе понятие коллективности – краеугольный камень советской идеологии. Таким образом, говоря «в моей стране», журналист демонстрирует способность к новому индивидуалистическому мышлению.

Как жанр публицистики интервью наиболее ярко отразило изменения, происходившие в языке СМИ [Земская 1996]. На пример, вряд ли в тексте интервью доперестроечного журнала можно было бы встретить подобную реплику журналиста: *«Я тем не менее сам для себя решил: факт «бессмертия», не подверженный никаким конъюнктурам, важнее чистки, ценнее прецедента закрытия»*. Здесь и авторское «я», и термины (*конъюнктура, прецедент*), и разговорная лексика (*чистка*).

Изменяется и композиция интервью. Речь журналиста, задающего вопрос, теперь вполне может превышать по объёму ответ героя. Редакторы стараются сохранить не только информативную составляющую беседы, но и её стилистические особенности.

Интервью отходит от советского типа «вопросника-анкеты», становится эмоциональным, причём как со стороны собеседника, так и со стороны журналиста. Читатель видит настоящий разговор двух людей, от начала и до конца, причём иногда в тексте остаются даже «рабочие» фразы журналиста, напр.: *«Похоже, что здесь тема для будущей беседы. То есть делаю заявку на разговор о воспитании, которого мы сегодня почти не касались. Можно ли рассчитать?»*. Собеседник, председатель Государственного комитета СССР по народному образованию, соглашается, и этим заканчивается интервью. С информационной точки зрения совершенно не обязательно сохранять для печати эти реплики, но для читателя такое доверие со стороны журналистов, впусивших его «за кулисы» своей работы, должно означать многое.

Диалог, к которому неоднократно призывал в своих выступлениях М.С. Горбачев, становится одним из ключевых приёмов обновляющейся публицистики. На страницах журнала постоянно публикуются не только интервью, но и письма в редакцию. Даже внутри монологического журналистского текста возникают элементы диалога: авторы «Огонька» часто используют риторические вопросы, приводят различные точки зрения, стремясь обеспечить так называемый «плюрализм мнений».

Итак, анализ журнальных публикаций периода перестройки позволяет обнаружить две коммуникативные модели. С одной стороны – советская публицистика на основе «новояза», с другой – стремящийся к стилистическому разнообразию и диалогичности обновляющийся язык демократической прессы. Безусловно, эти две системы не могли существовать, не взаи-

модействуя друг с другом.

Периодически на страницах обоих журналов встречается явно ироническое, пародийное воспроизведение стилистических особенностей изданий другого типа. Суть данного явления в том, что выражение, употреблённое в «идеологически чуждой» ему обстановке, приобретает яркую стилистическую окраску, естественно негативную.

Напр., в «Огоньке» № 29 за 1988 год помещен отзыв о поэтическом сборнике «Молодая российская поэма». Изначально авторами рецензии задаётся иронический тон, и в этом же ключе прочитывается следующая фраза: *«Главный принцип объединения авторов под одной обложкой не их молодость... не эпичность их дарования... главный принцип – идейная чистота и непримиримость к вездесущему врагу. Где только его не находят авторы сборника!»*. «Идейная чистота и непримиримость к вездесущему врагу» – выражение для «Огонька» совсем не характерное, но употребляемое теми, кого высмеивают авторы статьи. Сочетание несёт явный отпечаток «новояза» и приобретает в данной ситуации негативную окраску.

«Наш современник» отвечает тем же: использует терминологию, наиболее характерную для издания-оппонента. *«По существу, ту же «демократическую» и «новаторскую» позицию занимает журнал Юность»*. С помощью кавычек авторы материала ставят под сомнение оправданность применения этих терминов по отношению к указанному изданию, параллельно высмеивая слишком активное употребление данных слов в «прогрессивной» прессе.

Но борьба, как это ни парадоксально, происходит и внутри каждого из журналов. Особенность рассматриваемого периода как раз и состоит в том, что ни одна из приведённых коммуникативных моделей в точности не копирует прежнюю советскую стилистику, но ни одна ещё и не освободилась полностью от влияния публицистики «новояза».

В «Нашем современнике» встречаются материалы, где основные черты, выделенные для обновляющейся модели публицистики (диалогичность, авторское «я», использование разговорной лексики), присутствуют не в ироническом осмыслении, а как полноправные журналистские приёмы. Такова, напр., статья «У кого что болит» – обзор почты, сопровождаемый рассуждениями журналиста. Он употребляет «несоветское» слово *коттедж*, пишет *«в моей почте»*, *«я согласен с ним»* и использует для подтверждения своих идей живые бытовые зарисовки: *«Бывает, в очереди к магазину «Вино» или в бане кто-нибудь из них в философию житейскую ударится, и довольно здраво рассудит ту или иную общественную беду»*. Но здесь же встречаются выражения «линия партии», «нравственная сердцевина перестройки», «идейная и нравственная высота», «прославленные председатели колхозов», «архисовременно». Этот материал занимает промежуточное положение. Вероятно,

автор уже принял модель «личностной» журналистики, но на него ещё слишком сильно воздействие советской системы идеологических и речевых штампов, которой он себя не противопоставляет.

Не исключены подобные ситуации и в «Огоньке». На фоне прочих материалов тексты, тяготеющие к «новоязу», выделяются достаточно ярко. И это не только случаи официальных, «одобренных» публикаций (как, напр., сообщение о результатах работы пленума ЦК КПСС или интервью с министром иностранных дел Японии). Видимо, неосознаваемая самими журналистами дань советской традиции – обязательное упоминание социального происхождения в биографическом материале («*Б.Г. Биргер родился в 1923 году в семье московских интеллигентов*» или «*Сын крестьянина, Алексей Зернов пятнадцатилетним подростком сбежал из дома в Петербурге*»). Особенно бросается в глаза повышенная концентрация советизмов в небольшом материале «В будущее – с открытыми глазами»: *настораживает...; работники идеологического фронта; подавать пример гласности, социалистический образ жизни, буржуазная идеология и мораль*. Отдельные штампы «новояза» встречаются и в других, менее «идеологически выверенных» статьях.

Таким образом, рассматривая в комплексе ситуацию внутри каждой из языковых моделей публицистики перестройки, невозможно говорить о каком-либо сложившемся стиле, характерном именно для этой эпохи. Более правильным представляется охарактеризовать прессу перестройки как динамически развивающуюся систему, в которой сочетаются разнотипные элементы и приёмы. Именно поэтому модель «Огонька» того времени не новая, но обновляющаяся, а модель «Нашего современника» не старая, но тяготеющая к «новоязу». Перестройка – это явление не только политическое, но и культурное, в частности – языковое. Коренные изменения в политической, экономической, социальной реальности привели к заметным сдвигам в общественном сознании и, соответственно, в речевой практике. Закономерно, что столь сложные процессы не могли быть ограничены узкими хронологическими рамками. Формирование современного стиля публицистики происходило медленно, в напряженной борьбе противоположных тенденций, и нет оснований считать, что постсоветская эволюция публицистического стиля полностью завершилась.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Земская Е.А. Русский язык конца XX столетия (1985–1995). – М.: «Языки русской культуры», 1996.
Селищев А.М. Язык революционной эпохи. – М., 1928.
Словарь перестройки / Под общ. ред. Максимова В.И. – СПб., 1992.
Солганик Г.Я. Язык современных СМИ // Журналистика и культура русской речи. – №1, 2004. – С. 3-6.
Солганик Г.Я. Газетные тексты как отражение важнейших языковых процессов в современном обществе // Журналистика и культура русской речи. – Вып. 1, 1996. – С. 13-25.

© Симон А.А., 2007

Солопова О. А.
Челябинск, Россия

ВРАТА ГРЯДУЩЕГО: УТОПИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Abstract

This paper briefly recalls some of the cognitive functions of metaphors used to sense the future. The focus here is on issues in Russian. The future is obviously a feature of our understanding of time. Faced with the complexities and challenges of the times, much effort has gone into the development of models and scenarios through which to comprehend the future of our country and to guide the navigation of policy-makers. The author argues that particular metaphors for configuring understanding of the future have both specific advantages and disadvantages. The problem raised in the article is if it matters which metaphor is used to sense the future of Russia, because "future" itself may prove to be a metaphoric tra.

Будущее – это тот период времени, в отношении которого люди ничего не знают, но питают иллюзию, что все там могут сделать (Новалис).

Говорят, что будущее невозможно предсказать. Однако оно непредсказуемо лишь потому, что люди не умеют или не хотят предсказывать. На самом деле, мы живем, постоянно предвидя грядущее и делая прогнозы. Вероятное будущее возникает из прошлого, предсуществует в настоящем, закономерно следуя из него. По сути оно есть описание сегодняшнего времени в его прогнозном аспекте. Мы живем уже в грядущем, а значит, его можно усмотреть умственным взором.

Человеческое любопытство неодолимо, и никто не в праве запретить человеку знать будущее. Интерес к возможности познать будущее и подготовиться к его приходу, предотвратить, если удастся, какие-то негативные последствия, не угасал у человечества на протяжении тысячелетий. Не являются исключением и сильные мира сего. К ясновидящим в свое время обращались Черчилль, Неру, Гитлер, Сталин. С особой остротой этот интерес проявляется в сложные, переломные моменты истории. Так происходит и в наши дни.

Сегодня много говорят о будущем нашей страны: в XXI веке Россия стоит на рубеже, который во многом определит ее дальнейшую судьбу. Россия одновременно ищет свое место в быстро меняющемся мире и пытается определить идеологический фундамент внутривнутриполитической консолидации. Каждый переломный период приводит к глубокому анализу путей развития страны, в ходе которого предлагаются различные идеологические схемы и концепции, даются оценки исторического масштаба перемен, качественно изменивших облик страны за минувшие годы, стратегический вектор развития и курс движения России на ближайшие десять лет и последующую перспективу.

И тем не менее самым фундаментальным кризисом современности является кризис будущего. Людей, которые всерьез задумываются о будущем и заглядывают хотя бы на тридцать лет вперед, немного. Стратегией развития общества в современной официальной России по-

настоящему никто не занимается. В нашей стране по сей день не существует той концептуальной власти, которая является высшим уровнем управления общества. Предназначение этой власти заниматься сбором информации и делать многолетние прогнозы на будущее, но самое главное просчитывать оптимальные пути, по которым будет идти страна, воплощая в жизнь стратегические проекты общественного развития. «Проблема "дальней" перспективы всегда была больной не только для официально-советского миропонимания, но и для различных направлений протестных и постсоветских идеологием, для российского национального сознания в целом» [Левада 2001: 45]. Почему-то русский народ всегда предпочитает не рассчитывать будущее, а рассчитывать на будущее, надеясь на «авось», «небось» и «как-нибудь».

Диагностировать текущее состояние общества и предлагать конкретные рецепты развития общества в будущем – прямая обязанность политиков. Они постоянно находятся в этом процессе, т.к. прогнозирование будущего является особенностью не только нашего восприятия времени в целом, но и политического дискурса в частности: «будущее является одной из имплицитных категорий, которые определяют прогрессивную культуру, прогрессивную форму правления, дают начало всем прогрессивным политическим курсам» [Lakoff, [http](http://)].

В политическом дискурсе восприятие будущего аффективно по преимуществу, потому что вступает в сложную коллизию с целесообразной природой самого политического действия [Иваненко 2002]. Политическая коммуникация призвана эмоционально воздействовать на граждан, формировать в их сознании соответствующую картину мира, мобилизовать избирателей для проведения конкретных акций [Чудинов 2003а: 58]. Одной из функций политической коммуникации является «проекция в будущее» [Graber 1981: 198], «фактор коммуникативного будущего», наличие которого отмечают Т. В. Шмелева, разрабатывающая «анкету речевого жанра» [1997: 92], Е. А. Артемова, рассматривающая жанр политической карикатуры [2002: 153-155], В. А. Даулетова, исследующая жанр политической автобиографии [2004: 79]. Исследователи коммуникативных стратегий политического дискурса неизменно включают в число тактик тактику «создание образа «светлого / темного будущего» (Муронова, 2003; Руженцева, 2004; Judge, 2001a), смысл которой – предсказать возможное будущее и показать, как в будущем отразится настоящее.

Результат любого политического действия (поскольку оно актуально и не завершено) с неизбежностью отсылает к будущему – к тому, чего еще нет. В этой перспективе видится любое настоящее событие. С одной стороны, политическое предвидение, будучи перформативным высказыванием, есть само по себе действие, направленное на осуществление того, о чем оно сообщает. «Оно практически вовлечено в создание реальности того, о чем оно возве-

щает, тем, что сообщает о нем, предвидит его и позволяет предвидеть, делает его приемлемым, а главное, вероятным, тем самым создавая коллективные представления и волю, способные его произвести» [Бурдые 2003: 34]. С другой стороны, избыточность, нагромождение, всеохватность обещаний, на базе которых практически полностью строятся программные документы и предвыборные листовки, отвлекают внимание адресата от того факта, что политик может преувеличивать, искажать свои возможности, обещая избирателям «всевозможные блага, которые зависят только от прихода этого человека к власти» [Anderson [http](#)]. Перенесение способов решения проблем в будущее позволяет политику избежать фактологической аргументации, поэтому делается расчет в основном на эмоциональную сферу адресата.

Когнитивный процесс создания модели общественно-политической ситуации в будущем часто становится возможным благодаря использованию в политической коммуникации разнообразных метафорических моделей. Лингвистические исследования последних десятилетий за рубежом и в нашей стране показали, что метафора является не столько риторическим приемом, сколько особой познавательной моделью, с помощью которой мир и описывается, и прогнозируется, и *создается*. Политические деятели часто используют метафору, чтобы аргументировать свои представления о будущем, т.к. яркие, близкие, «цветные» репрезентации последствий вызывают более сильную реакцию и с большей вероятностью мотивируют поведение адресата, убеждая его в реальной возможности преобразований, исправления накопленных ошибок, в том, что «будущее может быть пересмотрено, переработано и исправлено современностью» [Sola Pool; цит. по: Judge 2001c]. Сопоставляя определенные реалии окружающего мира, метафора, устремленная в будущее, позволяет заглянуть за кулисы производства образов, которые формируются в сознании народа.

В политической коммуникации дифференцируются следующие функции метафорических наименований, задействованных в создании образа будущего: 1) Человек не имеет возможности физически ощутить измерения времени, поэтому он пользуется метафорой, чтобы понять, что ожидает его в будущем [Judge 2001b]. 2) Метафора позволяет представить что-то, еще не до конца осознанное, создать некоторое предположение о сущности метафорически характеризуемого объекта [Чудинов, 2003b: 49]. 3) Указывает, чего ожидать и как себя вести [Kelling [http](#)]. 4) Дает «возможность изменить социальный мир, меняя представление об этом мире, которое вовлечено в создание его реальности» [Бурдые 2003: 34]. 5) «Противопоставляет парадоксальное предвидение, утопию, проект, программу обыденному видению» [Бурдые 2003: 34]. 6) «Запугивает и успокаивает избирателей, заставляет их поддержать политика или замол-

чать» [Edelman 1988: 103-104]. 7) Выполняет двойственную функцию: она отстаивает и подвергает сомнению существующий порядок, поддерживает и перестраивает его [Kennedy 2000]. 8) «Позволяет политику произвольно обращаться с предоставляемой адресату информацией» [Миронова 2003: 58].

В век бурно развивающегося научно-технического прогресса мы, столкнувшись с его последствиями, а также великими житейскими трудностями, порожденными несовершенной системой нашего жизненного уклада, чувствуем себя незащищенными, а потому с недетским любопытством обращаем внимание на предсказания как древних пророков, так и политических прорицателей современности. Попыткам «угадать» мир в его динамичном развитии в грядущее посвящены статьи, доклады и тезисы ведущих политиков, журналистов и общественников современности: «Немцов и Хакамада предсказывают будущее» (РТР-Вест.Ру.), «Проекты на XXI век» (Завтра, 01.01.04), «Поддержим будущее» (СПС, 03.10.03), «СПС смотрит в будущее с оптимизмом» (СПС, 24.12.02), «Общество нашего будущего» (Завтра, 12.01.99), «Национализация будущего» (МСК, 20.11.06), «Схватка за будущее мира» (Завтра, 19.05.04), «У России есть будущее!» (Завтра, 19.06.01), «Угадать будущее» (Завтра, 25.01.00), «Будущее России» (И. Шафаревич, 2005) и др. Огромное количество политических интересов, мнений и случайностей, предположений, преднамерений и предпочтений, человеческих судеб и характеров, душевных и духовных качеств сплетаются в единый клубок настоящего, в котором решается будущее России. Но как по-разному понимают они судьбу и будущее России! Как по-разному видят место русского народа в этом будущем! Цель одних – помочь народу в ориентации в современном мире и определении перспектив развития страны. Цель других вполне практическая – манипуляция сознанием людей, некий политический «фотомонтаж», имеющий вполне определенные намерения, а именно – дискредитацию политических соперников, самовосхваление, завоевание или удержание власти.

В связи с этим целью настоящей работы является попытка рассмотреть вопросы, ответы на которые в какой-то мере определяют будущее России, экономическое, социальное и политическое благосостояние общества, поскольку грядущее часто определяется через метафорические вопросы, которые ставит перед настоящим.

Грядущее. ЧТО ожидать? Будущее, по сути, не может восприниматься нейтрально, т.к. в ином случае «оно стало бы неразличимым на фоне настоящего» [Иваненко 2002]. Экзистенциально человек относится к будущему с надеждой и пониманием. Интеллектуально он строит его, экстраполируя в будущее тенденции настоящего, выявляя вызовы будущего и возможные ответы на них. Поэтому будущее всегда не единственно. У него разные варианты. Вгляды-

ваясь в мутные очертания грядущего, человек и общество в целом практически всегда выбирает один из двух типичных сценариев: 1) качественная трансформация общества, появление принципиально новой системы, переход в принципиально новую фазу существования; 2) полная катастрофа и ликвидации старой системы.

Далекое будущее, страшное и пленительное, описывалось еще в основных мифологиях и религиозных учениях – это рай и ад, «Страшный суд», «Армагеддон», «последняя битва» и грядущее возрождение обновленного праведного мира: «Во свидетелей перед вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие» [Второзаконие, гл. 30: 19]. Народная мечта создавала сказочные образы краев, где текут кисельные реки в молочных берегах. Позже утописты – от Мора и Кампанеллы до Фурье, Сен-Симона и Оуэна – систематически описывали образ идеального общества, где все люди будут жить в счастье и достатке. В отечественной общественной мысли утопическая мысль получила мощное развитие еще в девятнадцатом веке, «золотом» для русской культуры. «Западники» и «славянофилы», революционеры-демократы и народники составляли свои проекты «русской мечты». Были страшные предвидения Ф. Достоевского о «бесах» и «трихинах», но все-таки в большинстве случаев надеялись на лучшее будущее в духе хрустально-алюминиевых дворцов из снов Веры Павловны.

И в современном политическом дискурсе будущее, как правило, выступает в двух ипостасях: ему даются условные метафорические определения «светлое / темное», «ужасное / прекрасное». Позитивный образ будущего по контрасту дополняется антиутопией, наступление которой необходимо предотвратить. Стереотипное преподнесение проблемы с полюсами «светлое / темное» предназначено для «коррекции представлений адресата, касающихся ситуации в политике и экономике страны» [Миронова 2003: 51–52].

Атрибуты будущего наиболее ярко обнаруживаются в текстах предвыборных программ [Миронова 2003: 106]: Таковы ближайшие веки нашего пути в безопасное, обеспеченное, достойное будущее. Мы верим, что России по силам пройти этот путь. Успех России – в наших руках! (Единая Россия» (2003)); Человечество вступило в XXI столетие с тяжелым грузом прошлого и с большими надеждами на лучшее будущее. Вывести наше Отечество из всеобщей разрухи и кризиса, добиться его возрождения и расцвета – такую задачу ставит перед собой Либерально-демократическая партия России (ЛДПР (2003)); За это борется КПРФ – партия будущего! ... За будущее России! (КПРФ (2003)); В двадцать первом веке Россия должна стать великой державой, сила которой основывается на созидательном труде и свободном творчестве ее граждан (Демократической партии России (2003)).

Создается картина лучшего мира, контрастирующего с настоящим положением дел, а его потенциальная устроенность определяется за-

слугами автора. Как показывает анализ, предполагаемые мероприятия распределяются в рамках противопоставления «за – против» и адресату навязывается один возможный выбор: он должен согласиться с аргументами «за» «светлое / (реже) прекрасное будущее» («утопия») и «против» «ужасного будущего» («антиутопия»). Однако, окутывая будущее флером благоденствия, политические лидеры и их сторонники в своих программных документах не рискуют прописывать его зримые приметы.

Прогнозирование будущего напрямую зависит от метафор, используемых для описания «благополучного» и «неблагополучного» будущего [Judge 1992], от их способности пробуждать в человеке рациональное и иррациональное, а также эмоциональные ассоциации, связанные с ожиданием будущего. В темпоральных метафорах будущее часто предстает как грядущий золотой век по аналогии с золотым веком прошлого: оптимисты рисуют образ «прекрасного будущего», «сказочники» предсказывают «долгую и счастливую жизнь», создатели политических утопий разных стран и эпох используют атемпоральную, вечную метафору «времени мечты»: В оккупации, на развалинах государства, на пороге новых бед – восхвалять, лелеять, ковать, сновидеть, тянуться к картинам грядущего русского Рая. Предвидеть, перешагивая десятилетия скорби, унижения, смерти, – последний Парад после последней войны. Мы пройдем через предательство и жертву. Мы ощутим жар битвы и стоны одоления, слезы гордости и морской ветер счастья. Мы создадим мистику Русской цивилизации, напишем ее священные книги и ритуалы. Мы будем сражаться в великих битвах будущего, как живые бойцы или же как ожившие тени предков. И, одержав Победу, пронесем по Красной площади знамя торжества русского духа, одолевшего мир. В рай мы войдем сообща, единым русским народом (Завтра 07.09.99).

Образ будущего, видение далекой перспективы необходимы обществу не только для выработки стратегии развития. России как воздух необходимы большие проекты, нужна мечта, от которой дух захватывает, привлекательные цели, которые возбуждали бы энтузиазм, готовность к самопожертвованию: Россия существует только потому, и только тогда, когда есть проект, или хотя бы его контуры. Народ приносил себя в жертву имперскому строительству, пройдя за короткое время, с тяжеленными веригами на теле, огромный исторический этап, который другие проходили века или не проходили вовсе. Но оказалось, что именно в рывке может существовать русский народ (Завтра 15.09.04).

Без этого идеального «двигателя» невозможен качественный скачок в общественном развитии, никакая высшая продуктивность, по крайней мере, в нашей стране. В России никогда не были возможными эффективные изменения «сверху», именно поэтому русскому человеку необходима яркая, ясная, правдивая и реальная сверхзадача, пленительная мечта о земном рае, которая способна поднять народ на титанические свершения: Русский народ всегда

живет мечтой о Рае. Ему мало было в древние времена Киевской Руси иметь коня, крепкий дом и красавицу жену. Он обращался к своим языческим богам, прося удачи не только в ратном деле, не только в обильном урожае, но и в построении славянского братства, в воплощении счастья человеческого... Он мечтал о своем языческом Рае... Весь языческий мир – это мечта о взлете, о победе Добра... С тех времен живет в русских людях легенда о Беловодье, о сказочной земле, где царят справедливость и совесть... (Завтра, 07.01.98).

С другой стороны, политическому дискурсу по природе свойственно апокалипсическое настроение. Поэтому будущее неизбежно «оценивается не только с позиций ожидаемых благ (атрибуты Небесного Иерусалима), но и с позиций возможного вреда» [Иваненко 2002]: Прогнозы на 1998 год все как один являются крайне тревожными. Эта дата – 1998 – будит множество эсхатологических предчувствий. Само число 1998 – это 666 умножить 3, и на этом основании оно вполне может считаться одной из производных апокалипсического числа Зверя (Лимонка №82); Ад открылся нам и в чеченской войне, и при взрывах домов в Москве и Вологодске, при штурме театра на Дубровке и школы в Беслане. Сейчас черная пропасть ада открылась за антигрузинской истерией и убийством Анны Политковской. И это еще далеко не дно пропасти, в которую сползает страна (Грани.ги, 2006).

Используя метафоры для создания образа «ужасного будущего», политики часто апеллируют к чувству страха, ориентируют аудиторию на будущие беды, что нацелено на дискредитацию политических противников. Будущее «представляется в преувеличивающем негативные последствия, предельно заостренном виде, а категорическая форма высказывания не допускает иного варианта развития событий» [Руженцева 2004: 137]. В метафорическом представлении будущего могут звучать фаталистические нотки конца света и Страшного суда, лейтмотив которых – «что посеешь, то и пожнешь». В образах «ужасного будущего» реализуется такая интенция, как «запугивание негативными последствиями» [Руженцева 2004: 133]: Не будет больше Родины, не останется рода-племени, семьи, поэзии, музыки, любви, а будет только вечный рынок с его утробной крысиной сутью.... Будущее смутно, прошлое заляпано сплошь черной краской – куда ж нам плыть? Делать вид, что мы по-прежнему заняты осмыслением вечных истин, ... – и это в то время, когда несчастный, обманутый, приведенный в первобытное состояние народ корчится в предсмертных муках, немо, безгласно умоляя о пощаде неведомого палача? (Завтра, 07.12.99).

Нарисованная картина фантасмагорична, но не лишена реальных корней. Осмысляя ситуацию в стране как неприятную и даже опасную, СМИ предупреждают о возможности еще более серьезного развития событий: Что же дальше? Неужели вирус-победитель будет истреблен новым, еще более едким и активным? Вирус «Путин» – вирусом «Патрушев»? Или все-таки полуоглохшие, с помутненным сознанием люди услышат от власти простые, внятные слова: «Так жить нельзя. ... Иначе эпидемиолога сменит патологоанатом

(Завтра, 11.11.03).

Рисуя образ «ужасного будущего», автор апеллирует к чувству страха, инстинкту самосохранения и здравомыслию читателя. В представлении «ужасного будущего» звучат апокалипсические нотки конца пути, а вместе с ним – жизни общественно-политического строя и страны в целом.

Переплетение светлых и черных сторон грядущего сопровождает образ будущего в целом. Он не является ни черным, ни розовым. С одной стороны, в попытке опередить историю, увидев в ней позитивные преобразования политической и экономической составляющей жизни общества, видна романтическая утопия. С другой стороны, в современной России большинство политических лидеров используют протестное сознание основной массы населения в собственных интересах, а именно – для достижения власти. Использование метафор, наполненных отрицательной символикой, очевидно, связано с желанием уменьшить степень влияния политического соперника или унижить его, сформировать негативное отношение к событиям и явлениям социальной и политической жизни страны, что продуцирует образ «ужасного будущего».

Грядущее. КАКИМ оно будет? Чтобы правильно понять перспективы развития России в XXI веке, следует оценить его возможные варианты. Большинство политиков и журналистов, обращающихся к проблемам будущего, обеспокоено не тем, каким оно будет, а тем, как понять и сделать единственный верный выбор в пользу одного из альтернативных вариантов развития событий.

В последние годы на отечественном политическом рынке идей между собой жестко конкурируют две концепции: Видимо, Россия может пойти по одному из двух путей: либо еще усилить свою подчиненность Западу и в результате погибнуть под его обломками, либо найти свой собственный путь развития, постепенно дистанцируясь от Запада, и тогда пережить его падение (И. Шафаревич. // http).

Одна – либеральная, по которой будущее России – это реформирование и ускоренное встраивание в западную модель, в западную цивилизацию: Глубоко убежден: единая Большая Европа от Атлантики до Урала, а фактически до Тихого океана, существование которой основано на общепризнанных демократических принципах, – это уникальный шанс для всех народов континента, в том числе и для российского народа. ... При этом мы считаем, что усилия России по развитию интеграционных связей как со странами ЕС, так и государствами СНГ являются единым органичным процессом, который должен привести к существенному расширению общих гармоничных пространств безопасности, демократии, делового сотрудничества в гигантском регионе (Фигаро, 07.05.05); В России будут открыты границы, Россия будет в стратегическом и тактическом союзе с демократическими странами Запада. Вместе с ними она будет противостоять угрозам фундаментализма и той агрессии, которая возможна в адрес демократических стран сегодня («1 канал», 02.11.05); Со-

временное правительство России исповедует свое рождение «цивилизационный романтизм». Оно постоянно добивается знаков признания и уважения от Запада. (ИноСМИ, 27.11.06).

Современные дискуссии о модели российской демократии, с одной стороны, подтверждают неизменность демократического выбора России. С другой стороны предлагаемая на общественный суд «суверенная демократия» несет по своей сути хороший заряд западничества, предполагая воплощение в жизнь западных демократических традиций.

Другая концепция говорит об особом пути и миссии России, о русской цивилизации как особом цивилизационном проекте. Ее приверженцы говорят о том, что «российское общество принадлежит иной цивилизации, отличной от западноевропейской» [Ядов 1996]: Развал экономики России и вопиющая неэффективность пореформенной экономики связаны как раз с тем, что проводники этой полтики из всех сил пытались проводить в жизнь именно те рецепты, которые советуют западные эксперты. Факт остается фактом – эти рецепты и формы отторгаются Россией как кровь чужой группы, порождают химерический симбиоз («Мост», нояб. 1999); ... Образец прогнил до основания, трухляв как пеня. И идти по его стопам – самоубийство (Завтра, 20.07.05); И выясняется, что пресловутый «колбасный рай» по части духовного разложения далеко опережает всех нас, и «золотой миллиард» в перспективе растит поколение самоубийц. ... Западный мир, лишенный смысла и воли, уже стоит на грани полного и окончательного падения ... (Журнал социологии и социальной антропологии, 06.12.06); Идею «особого пути» не просто «спускают сверху», чтобы усилить почвеннический изоляционизм, герметично закрыть «резервацию». (Независимая газета, 12.01.07); Так строить ли нам «нормальный современный дом» на суровом российском ландшафте или строить свой дом, по своим чертежам и технологиям, какие мы изобретем сами? И окажется ли он удобным, дарящим силы и домашнее тепло очагом, а не склепом некогда великой цивилизации... (Среда, нояб. 2006).

Авторы подобных высказываний настаивают на том, что Россия – уникальная, общинная, евразийская цивилизация, у которой законы ее развития детерминированы евразийским местоположением. Мы – это «другая Европа» [Федотова 1997]. Симбиоз Востока и Запада красной нитью проходит через всю ее историю: Народ тяготеет к натуральному развитию медленным шагом времени, что органично для русского медведя (кому еще и в спячку надо погрузиться долгою зимою) или даже мамонта – таким животным телам могут быть народ и страна русская уподоблены. ... Но соседство с Западом и влеченность в историю Европы подстегивали, и к страданию для народа и жизни индивида – капилляра в нем мера, скажем, волка («аршин общий») навязывалась нашему мамонту-медведю – как нормальный пульс, и вытаскивали его на ярмарку-рынок плясать чужемерно и неуклюже, на посмешище. А если не поспевал, подгоняли его кнутом и насилием: слово «ускорение» у государства на устах (Завтра, 15.10.03).

Указывая на обращение с народом с позиции силы и власти, метафоры способствуют

внедрению в сознание реципиентов ощущения опасности и угрозы, исходящей от метафорически характеризуемых представителей прошлого и настоящего. Помимо этого, в политическом дискурсе подобные метафорические образы очень часто подчеркивают идею о насильственной ломке сложившегося в течение тысячелетий образа жизни и смены социокультурной парадигмы поведения русского человека. В последние десятилетия дрессировщики, заставляющие русского медведя выделывать различные па, активно реанимируют давнишнюю теорию о том, что Россия – «неправильная» цивилизация, развитие которой следует существенно скорректировать по западному образцу, в противном случае она обречена на гибель. Эти «новые» идеи, по мнению авторов агитационно-политических текстов, вызывают страшный разрушительный эффект морально-психологической растерянности и полной ценностной дезориентации народа, именно поэтому Российское общество сегодня – это общество, утратившее идейные, социальные, нравственные ориентиры, невидящее сколько-нибудь эффективных путей выхода из социального тупика.

Из сущности этих двух концепций и выводятся сценарии развития на ближайшее будущее. Каждый политик, журналист и обществовед осознает, что Российское общество остро нуждается в общенациональной солидаризирующей идеологии. Но она не может быть придумана и внедрена «сверху»: такая идеология «произрастает» сама по себе из доминирующих общественных настроений, из массовой психологии [Плеханов 1958: 89]. На настоящий момент власть так и не выработала того национального проекта, который направит жизнь страны в осмысленное грядущее, чем так силен был разрушенный СССР, поражает воображение Китай, доминируют США: У государства нет «Идеи Развития». Нет «фронта работ». Нет «Большого проекта», который оживит ржавую машину убитой цивилизации. Подымет из пучины затонувшую лодку «Россия», дав ее экипажу – многострадальному российскому народу – глоток воздуха, желанное избавление, полноценную земную жизнь. (Завтра, 09.08.06); Сегодняшнее величие небесспорно, завтрашнее – неочевидно. ... Кажется, газированная экономика тонизирует и освежает. Но если и когда она выдохнется, мы увидим, чего стоят ее производные – шипучие амбиции, изристая риторика и дутое благополучие (МСК, 20.11.06); Россия существует только потому, и только тогда, когда есть проект, или хотя бы его контуры. Народ приносил себя в жертву имперскому строительству, пройдя за короткое время, с тяжеленными веригами на теле, огромный исторический этап, который другие проходили века или не проходили вовсе. Но оказалось, что именно в рывке может существовать русский народ (Завтра, 15.09.04).

Именно поэтому сегодня выдвигаются сотни вариантов национальных идей, но все эти попытки в основном связаны с амбициями и упрочением чьих-то собственных позиций, незави-

симо от того, актуальны эти идеи или нет: Учитывая нынешнюю ситуацию, «новый монархизм» будет продолжением ситуации консенсуса между либеральными и авторитарными тенденциями (pravaya.ru, 14.03.05); Государство – это проект. Без мобилизационного проекта, без государственного строительства русское тело дряхлеет. Только новое мобилизационное государство способно пробудить творческие созидательные энергии в народе, вывести его из состояния апатии, депрессии и уныния. Нам нужна цель, сверхзадача, нужна утопия (Завтра, 15.09.04). Наш проект – проект почвеннический, но в России почвенничество особое – почвенничество в России всегда связано с Космосом. ... предназначение русских – заселить космос, воскресить мертвых и вдохнуть искру божественного огня в мертвую Вселенную. Русские – это коллективный Бог, ждущий реализации. Русские – это наша религия и кровь, и почва, а все остальное – ложь, мошенничество и подлость (Завтра, 26.10.05); Дружба, а не унификация народов должны лечь в основу процесса глобализации, не злоеущие мутации духа, вроде мутации после радиоактивного поражения, составят будущее цивилизации, а разумный и осторожный путь вперед. Не маргинальная оторванность от корней, а способность вместить в сердце всю планету, не позабыв о родной калитке, – только это может сделать глобализацию благом... (С пленума Союза писателей России, 18.02.03); «Сокращение воровства на двадцать процентов». Сокращение воровства должно стать модным, чем-то похожим на то, как американцы бросают курить. «В этом квартале я сократил на двенадцать процентов!» – «А я уже на пятнадцать!» И президент особо отличившимся вешает на грудь орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (Русская мысль, 2-8.02.06); Если мы хотим победить, наш проект новой России должен опираться на прочный фундамент научной «утопии». (Завтра, 27.09.06).

Слишком много факторов как внутренних, так и внешних не позволяют сколько-нибудь обоснованно прогнозировать будущее. Вместе с тем дискуссии российских политиков, журналистов и обществоведов убеждают в том, что мы сохраняем веру в устойчивые и благоприятные социальные изменения в России, в социальные трансформации, опирающиеся на динамичную экономику, демократические институты и достаточно интегрированное общество, веру в лучшее будущее.

В рамках создания образа «светлого будущего» особенно активны пространственные метафоры, предлагающие возможности для «прыжков», «скачков» и «крупных достижений»: Россия готова к новому рывку (Завтра, 04.01.00); Мы выступаем за то, чтобы сделать период до 2010 года крупным прорывом в области смягчения национальных противоречий (Великая Россия Евразийский Союз (2003)).

Однако позитивно окрашенные концептуальные метафорические единицы чередуются с негативными образами, в которых будущее представляется «колониализованным», где Россия как самостоятельное государство утратила перспективу развития: принципиальные черты и тенденции «мрачного настоящего» эволюцио-

нируют и становятся «ужасным будущим». В этом случае неизбежно возникают зависимость, колониальный вариант, деградация: Народ просто перестанет существовать – распадется, будет покорен или поглощен более «целестремленными» соседями (Завтра, 02.11.96); следующая «революция» будет совершена на американские доллары, а Конституция колониальной России XXI века написана, естественно, по Джефферсону... (Завтра, 01.06.99); Запад и капиталистический мир приговорил наш народ и наше государство к несуществованию. Это безотзывный приговор, вынесенный циничным и расчетливым, но вместе с тем крайне жестоким и прагматичным геополитическим противником Евразии, сумевшим воспользоваться нашими внутренними болезненными процессами. ... мы – никто, мы – обреченный этнос, мы – культура и форма, народ и этика, у которых насильственно отнято будущее. Мы переживаем «духовную Хиросиму», и ждать последней серии финальных аккордов осталось совсем недолго (Лимонка №83).

Наша страна, по-видимому, находится в точке слома тенденции и выбора между разными сценариями грядущего: Россия всегда была и будет проектом другого мира, проектом альтернативной глобализации. Какой? Решать вам (Среда, нояб. 2006); Либо трудное очищение, либо окончательное утопание в болоте измены, прикрываемой псевдопатриотической демагогией. Третьего не дано (Лимонка №83); Вот стоит выбор перед Русью: либо погибнуть во тьме язычества или другой веры, либо расцвести под сенью истинного Богопознания (<http://www.rus-sky.org>); Хочет ли она выбрать свою сущность, а значит и историческое будущее, или же она подчинится сущности врага и уйдет в историческое небытие (Лимонка №73).

В российском общественном сознании палитра мнений относительно перспектив развития страны достаточно разнородна. События можно пустить либо по одному варианту, либо по другому. Спрашивается: по какому? «Число возможных Реальностей бесконечно велико. И у каждой Реальности существует бесчисленное множество вариаций» [Азимов 1966: 147]. Можно оптимистично сказать: «Вперед к победе коммунизма / капитализма / социализма / любого другого «изма!» Можно пессимистично твердить о конце света. Политические и социальные группы нашли для себя различные, удобные им объяснительные модели. Каждая партия разрабатывает «свою жилу», но целостной картины будущего нет. Поэтому анализ и обсуждение проблем будущего очень важны, т.к. поиск лучшего решения среди взаимоисключающих вариантов в этой ситуации – это проблема не только политических лидеров. О ней должны думать все, кому дорого будущее России: «перед теми, кого не устраивает нынешняя жизнь и перспективы ее развития в представлении “сильных мира сего”, стоит задача искать, возвращать, собирать воедино все основы нового мира, пока существующие в виде отдельных зачаточных элементов в недрах мира нынешнего» (Общество будущего, 23.09.06).

Грядущее. ГДЕ оно и КОГДА оно наступит

пит? Темпоральная модель [Evans 2004: 25] мира политики, как и любого другого мира, включает в себя: «а) одновременность событий, б) события «прежде», или предшествующие события, в) события «после», или последующие события, г) изменение событий во времени по отношению к другим событиям». Любое событие составляет перспективу, где время конституируется как непрерывность и необратимость движения прошлого, настоящего и будущего как единого целого. Оно осмысливается как единство благодаря тому, что временные горизонты любого настоящего, т.е. прошлое и будущее, обязательно пересекаются (Аристотель, 1981; Аскин, 1966; Кузанский, 1979; Лосский, 1995; Подольный, 1989; Рассел, 2004; Тихонов, 2004; Трубников, 1987; Филиппов, 2004; Ясперс, 1991). Т.к. «будущее создается настоящим и лежит через прошлое, может возникнуть из того, что, казалось бы, осталось далеко позади» [Judge 2001a], возвращение к истокам мыслится как движение к будущему: «памятью своей человек, как челнок, возвращается мыслью в прошлое, во внутренний мир своих воспоминаний, одновременно заглядывая в будущее и планируя события» [Тиунова 2000: 49].

Предполагается что будущее где-то «впереди», «за горизонтом». «Движение вперед» – это то, чего мы ждем от будущего, поскольку оно предполагает, что мы продвигаемся к цели или, по крайней мере, стоим перед воротами потенциальных перемен к лучшему: *Мы уже понимаем, что у России есть путь, который уже прописан. Осталось лишь вымостить этот путь, обиходить, построить кюветы, провести коммуникации – и идти вперед* (Завтра, 19.06.01); *«Пятая Империя» – хрупкий отрок с тоненькой шейкой, в косоворотке, как отрок Варфоломей на картинах Нестерова. Стоит босичком на сырой траве под черными тучами мира, в которых клубятся молнии, падают горящие самолеты, взрываются кварталы Бейрута, сотрясаются континенты. Куда пойти? Где снискать благодать?* (Завтра, 09.08.06).

Россия не может существовать как государство без цели, бредущее невесть куда. Для русского человека неизбежна надежда на то, что в дороге бытия откроется нечто новое, более совершенное и истинное. Метафоры «пути» все время зовут в будущее, обещают достижение некоего рубежа. Имея в виду перспективу, такие метафоры вселяют надежду на «светлое будущее», именно поэтому они активно употребляются в программных документах политических партий: *На выборы Политическая партия «Единая Россия» идет с четкой программой действий* («Единая Россия»(2003)); *Именно такая политика даст России шанс встать на путь устойчивого экономического роста и демократического развития* (СПС (2003)); *Партия социальной справедливости поддерживает переход российского общества к устойчивому экономическому развитию по пути социальной справедливости* (ПСС (2003)); *Сегодня у нас только одна дорога вперед. Это дорога к Социализму. Дорога к восстановлению Советской власти. Дорога к возрождению Союзного государства* (КПРФ (2003)).

Дорога обещает постепенное приближение к

цели, блеснувшей вдали. В идеальном будущем – с точки зрения русского менталитета – «видится средоточие всего лучшего, что было в прошлом и настоящем; в нем чудится и воздаяние, и воскресение» [Сухина 2005: 148]. Подобные метафоры наталкивают на линейное понимание времени.

В этом смысле общество представляется «паровозом, который летит в будущее», где будущее только прямо по курсу, даже если на железнодорожном пути есть другие ветки: *Сворачивать с магистрального пути – только кровь попусту лить. И никому уже не важно, что этот магистральный путь ведет наш локомотив на кладбище паровозов. Там нам и место* (Собеседник, 21.10.03).

С другой стороны, наше будущее очень часто лежит через прошлое, может возникнуть из того, что, казалось, осталось позади. Отталкиваясь от видений и понимания прошлого, можно ярче и глубже понять настоящее и перекинуть мост предвидения в будущее: *Россия набирает силы для своего нового исторического шага. Будущее России – в корнях ее истории, в социализме, в общинной логике развития* (geopolitika.narod.ru, 23.10.05).

Правильное решение политической задачи требует знания методов, лучших путей ее решения, обращения к истории всего человечества и к истории государства, упомянутого в задаче. Поэтому перед прыжком в будущее носители нового мироощущения неизбежно отступают подальше в минувшее, выбирая траекторию для разбега: *На заре своей истории мы создали цветущее государство – Землю Русскую, которая была «ведома и слышима всеми концы земли»... Мы прошли через века тяжких испытаний. Победили нашествие кочевников, «бесчисленных, как морской песок и степной ковыль». Отстояли свою независимость в Смутное время. Построили и сохранили вплоть до конца XX века великую державу, которая являлась формой бытия российских народов, мощным заслоном от угроз извне. Русские! Неисчислимы испытания и муки, взлеты и падения выпали на нашу долю в XX веке. Первая мировая война, Февральский переворот и Великая Октябрьская социалистическая революция. Разруха и голод, иностранная интервенция и Гражданская война. Коллективизация и голод начала 30-х годов, репрессии. Великая Отечественная война, возрождение державы и прорыв в космос. Губительная перестройка, удушающие простых людей либерально-демократические «реформы». В мире нет такого народа, который вынес столько трудностей и лишений в столь сжатое историческое время. Мы вынесли! (Дуэль, 14.10.03).*

Забота о будущем, как и уважение прошлого, напрямую связаны с духовностью и нравственностью народа, поскольку без собственной уникальной истории у нации не может быть и собственного будущего. Национальная культура, национальная память позволяют народу ощутить связь времен и поколений, получить духовную поддержку из прошлого и жизненную опору для настоящего и будущего. Вот почему мифы о прошлом часто наслаиваются

на футурологические размышления о будущем: с одной стороны, чтобы не потерять перспективу, необходимо помнить о былом, о ретроспективе; с другой – исторические напоминания заставляют постоянно задумываться о будущем. Те, кто считает историческое наследие и динамику культуры «бессмысленными академическими рассуждениями», обречены на непонимание происходящего и лишены возможности видеть и прогнозировать будущее.

Однако многих политиков и журналистов современности прошлое интересует больше как строительный материал для некой «виртуальной России». В этом видится попытка клонировать разные исторические периоды России с целью «хорошо пожить» в них.

Одни пытаются «жить» в рафинированном самодержавии: *В прошлом веке граф Уваров сказал об этом просто и ясно: «Православие, Самодержавие и Народность». Это государственность, это власть, которая народом осознается как своя власть, поскольку она будет отражать веру народа в добро и справедливость, чего никогда не даст власть республиканская. На практике это означает, что единственная власть органично присущая России – это Православная Самодержавная Монархия. Вот тогда можно будет сказать, что над Россией воссиял Крест и что Господь помиловал и воскресил Россию* (www.patriotica.ru, июль-август 1995); *Монархический строй, выражение высшей степени политического здоровья, непременно требует своего дополнения в таком же здоровом общественном социальном строе, расслоенном на множество взаимно охватывающих групп, живых, сильных, производящих своей жизненной работой необходимую сортировку личностей в разных степенях управления и подчинения* (Московские ведомости №298).

В настоящий момент появляется все больше людей, способных и желающих строить такое будущее. Этатизм – культ государства и порядка, культ «сильной руки» [Шаова 2005: 36] – свойственен русскому характеру, поэтому «даже века рабства и насилия не уничтожали веры в царя» [Абульханова 1999: 10], в доброго и справедливого правителя, который сыграет в судьбе России решающую роль: *Барин строг, но справедлив: сперва прикажет выпороть на конюшне – но затем простит и подарит рубль* (Новая газета, 13.10.03).

Вероятно, использование монархических метафор можно объяснить тоской уставшего от потрясений и политических перетрубаций народа по подобной монарху политической фигуре как объединительном начале нации. С другой стороны, трепет и преклонение перед властью легко переходят в отчуждение от власти, страх перед нею, в крайние формы протеста, ненависть к ее конкретным носителям и представителям: *Я считаю, что эта тема – «страна рабов, страна господ» – эта тема очень важна для понимания того, куда должна идти Россия. Сейчас власть пытается закрутить гайки, построить журналистов, построить губернаторов, построить депутатов, пытается построить общество. И самое главное в том, что многие с охотой стро-*

ятся, с подобострастием даже, с восторгом. Дело в том, что это рабство, которое не изжито в каждом из нас, оно просто наружу лезет. Генетический страх и ужас настолько в нас утвердились, что даже трудно поверить, что чувство собственного достоинства, присущее свободному человеку может взять верх (Борис Немцов. Персональный сайт).

Другие политики хотят найти в советской эпохе аргументы для своих современных представлений и как альтернативу «ужасному настоящему» предлагают не «светлое будущее», а «прекрасное прошлое», направляя страну на путь ретроспекции, на путь утопии, обращенной в прошлое: *Сегодня для молодых людей легенда о Советском Союзе – это мечта о Будущем, это Русская Мечта о новом творении, новом человеке, о новом небе и новой земле* (Завтра, 21.03.00); *Нынешний, т. н. демократический, режим, есть не прорыв в будущее, а возврат к восьмидесятилетнему прошлому – к февралю 17-го года, с его свержением исторической монархии, либерально-демократическими лозунгами и анархией, развалом Империи и армии, подчинением Западу. ... Мы отброшены в прошлое, из которого советский период русской истории смотрится как будущее, как земля обетованная* (Завтра, 31.03.98).

Безусловно, «сходство с прошлым облегчает созерцание будущего» (Н. О. Лосский). Но то, что ушло далеко в прошлое, не может быть «воссоздано» вновь: *Нельзя быть одновременно преемниками и царского самодержавия, и демократической республики, и советского коммунизма* (Известия, 23.01.07); *Не может быть успешной страна, власть которой играет засаленными картами позавчерашнего дня* (<http://www.svobodanews.ru>).

Пройденные жизненные этапы с их успехами и достижениями, утраченными иллюзиями и несостоявшимися возможностями остались безвозвратно позади. Поэтому, на наш взгляд, переустройство общественно-политического мира должно базироваться не на прошлом, а на абсолютных ценностях, сопрягающихся с будущим. Политикам современности следует смотреть не назад, а вперед. Не зря говорят, что ностальгия обычно настигает тех, кто лишен надежды на будущее. Ретроспективный взгляд предполагает критическую оценку значимости того или иного исторического наследия, извлечение из-под спуда времен тех положений, которые послужат ферментом дерзкого теоретического прорыва в грядущее.

Люди с апокалипсическим видением мира либо осторожны, либо пессимистичны в разговорах о будущем любой дальности. Они полагают, что мир прекратит существовать в течение относительно короткого периода: *Разверзлась пасть дракона, из нее высунулось жало и вонзилось в Россию. Но потом пасть опять сомкнулась, жало спряталось, боль от укула постепенно проходит. И так хочется обо всем забыть! (Завтра, 28.04.98); У России нет места в будущем. Нам в нем отказано. Наше время считается завершенным. В будущем нам гарантирована ночь исторического небытия* (Завтра, 04.01.00).

«Если я буду говорить людям то, что знаю,

они не захотят жить», – сказала однажды Ванга. Так, может быть, чтобы не испытывать судьбу, не следует интересоваться тем, что нас ожидает? Возможно, природа поступает разумно, скрывая от нас наше будущее? В этом случае будущее ограничивается только моментом настоящего времени «здесь и сейчас». Оно «не является движением назад, оно далеко от настоящего, и вместе с тем, это проникновение вглубь настоящего» [Young 1978: 101]. Когда будущего нет, именно настоящее предоставляет единственную и неповторимую возможность полноты сегодняшнего дня: Ревущие от интеллектуального перенапряжения стадионы, ошалевшие от децибелов диско-клубы, шастанье по улицам древнегреческого и древнеримского охлоса? А если по улицам таскаться невозможно, то бесконечные сериалы и телеконкурсы с крестинами-участниками и паяцами-исполнителями вполне удовлетворяют нищую реань – нынешний охлос современной России... Бесконечные презентации, саммиты, топ-шоу и прочая политико-эстрадная мерзость – вот уровень их духовных и культурных запросов, от которых пахнет серой и подземельной гнилью. ... Рулетка, стриптиз, ночные клубы для однополовых политиков, финансистов и кутюрье, садомазохистские представления для пресыщенных – чем угодно можно расслабиться, развеселиться уставшим от политического предательства и экономического грабежа хозяевам жизни (Завтра, 09.12.97).

Вследствие размывания ценностных и мотивационных ориентаций народ теряет способность формулировать свои интересы. Подобные мысли не диссонируют с пожеланиями обычных людей «пожить жизнью развеселой» здесь и сейчас, и будь что будет, парализуя волю к сопротивлению и возможность реально оценивать все происходящее вокруг.

Еще блаженный Августин говорил о том, что «только через напряжение действия будущее (потребное) может стать настоящим. Без напряжения действия будущее навсегда останется там, где оно есть» [Августин 1992]. Нельзя жить лишь сегодняшним днем. Современный мир сложен, события в нем разворачиваются в гигантском интервале пространственных и временных масштабов. И чтобы разобраться в нем, полезно строить другие миры, причудливые, необычные, парадоксальные. Политическая метафора – одно из средств широкого спектра приемов и доктрин, генерирующих подобные миры, где через уникальное и единичное удается постичь всеобщее, где гипербола и гротеск позволяют увидеть нечто важное и необычное. «Представить образ будущего – значит сделать прогноз, предсказать, к какой точке в воображаемом пространстве будущего будет тянуться ход событий от настоящего момента. Но предсказание, а тем более пророчество, не безучастно к будущему, оно его конструирует. Оно подталкивает ход событий к предсказанному образу» [Кара-Мурза 2005].

Метафоры, подразумевающие, что будущее

находится где-то «впереди», касаются дискуссий о природе прогресса. В этом смысле будущее представляет собой некую более позднюю календарную дату. Однако существует множество философских трактовок времени [Fraser 1981]. В некоторых из них будущее связано не с линейным осознанием времени как прошлого-настоящего-будущего, а с его циклическим пониманием. Последнее может оказаться более «совместимым с экономическими и социальными циклами общества» [Mallmann 1991: 13]. Подобная интерпретация времени подразумевает, что будущее – это еще один, и только в идеале – более высокий виток спирали: ... Махнув назад в будущее по витку спирали длиной в 15 лет, мы вновь оказались в системе координат «одна партия – один генсек»... (Новая газета, 26.10.2004).

Будущее вездесуще. Оно во вчерашнем дне и в дне сегодняшнем, оно есть следующий виток спирали и мысль, простирающаяся за горизонт очевидного, которая бестрепетно зовет идти вперед. Метафоры, сквозь призму которых мы видим будущее – ключ к новому отношению и восприятию самого будущего.

Строители грядущего. КТО они? Люди часто воспринимают будущее через метафоры, которые сосредоточены вокруг архитипов. В позитивном ключе – это воскресший и вернувшийся на землю Христос, Будда, следующий Имам: Нас по-прежнему, как и четыреста лет назад, все еще ждет покорение Сибири и основание Рая, будь то Новый Иерусалим или коммунистический Город-Сад, чтобы на Земле было куда вернуться Господу Богу (Завтра, 04.01.00).

В негативном – Сатана или Антихрист: Мы – свидетели апокалипсиса. Нам дано обличать зверя, кидать ему в лицо пламенный укор. Сгинь, собака! Сгинь, лжец! Яко исчезает воск... Сгинь, гадина! ...; То, что в отдаленном будущем придет время научно-технологического «Антихриста», всегда ощущалось в творениях истинно русских мыслителей, будь то писатели, философы, художники или поэты (Завтра, 04.01.00).

В политике будущее очень часто ассоциируется с именем одного человека, с которым связывают надежды на будущее, именно он и является центром и сосредоточием ожиданий на прогрессивные преобразования: Для того, чтобы возврат к избираемому правлению стал реальностью, нужна именно общенациональная фигура, вызывающая минимум аллергии у народа, причем фигура, которая не связана с грабительской монетизацией, опереточной вертикалью и прочими реалиями сегодняшних дней (Prognosi.ru, 19.08.05).

В период массового разочарования результатами деятельности власти в образе лидера будущего привлекает способность «навести порядок», «восстановить поруганную честь Отечества», готовность к чрезвычайным мерам: Все возможные культурные изыски НБП – это мощно! Это новая, убийственная идеология, за которой будущее! Эдуард Лимонов – гений и вождь! (Лимонка №45).

Принцип «вождизма» всегда был присущ русскому национальному сознанию. Потребность народа в вожде как в символе единства

нации особенно возрастает в периоды национальной нестабильности. При этом авторитет вождя зиждется не на осознанном доверии: связь вождя с массами носит скорее харизматический, личностный характер.

Грядущее может быть также сосредоточено в группе людей, поскольку политическое будущее любой страны зависит от групп, партий и движений, стремящихся во власть: Правая идеология подразумевает наличие дисциплинированного и профессионального государственного аппарата, однако четко определяет его место – мотор экономики это бизнес, бюрократия – тормоза. Никто не сядет в машину без тормозов, но машина со слабым двигателем никогда не победит в той гонке на выживание, в которую превратилась международная конкуренция (Правое будущее, 26.06.06); Будущее СПС, будущее России – в наших руках (Газета.ру, 11.04.01); Путин ясно дал понять, что за СЕПРОм (Независимая газета, 15.01.07).

На полюсах «за» и «против» у разных политиков, как правило, находятся одни и те же проблемы, затрагиваются сходные аспекты, несмотря на принадлежность к различным партиям, на различную идеологическую основу. Оппозиционный политик рисует образ «мрачного настоящего» и «лучшего будущего», уготованного народу в случае смены власти. Правящая партия, акцентируя свои достижения и сравнивая их со «страшным прошлым», говорит о «светлом настоящем» и обещает еще более «прекрасное будущее»: Сегодняшний выбор гораздо важнее: у граждан России появился реальный шанс выбрать успешное будущее для себя и для всей страны... Таковы ближайшие вехи нашего пути в безопасное, обеспеченное, достойное будущее. Мы верим, что России по силам пройти этот путь. Успех России – в наших руках! Сделаем 7 декабря шаг к этому («Единая Россия» (2003)); ... Один путь ведет в сторону развития демократии и рынка, формирования открытой политической системы и инновационной экономики, экономики знаний, т.е. к демократическому рынку. Другой – к полицейско-бюрократическому капитализму, где основной и монопольный игрок на рынке – государство, институты демократии декоративны, демократические процедуры не работают, а лишь имитируются. И «Союз Правых Сил» готов исполнить свою историческую миссию – удержать Россию на столбовой дорожке цивилизации. Мы должны защитить демократические завоевания прошлого. И тем самым защитить будущее России (СПС (2003)).

В программных документах все политики выступают за хорошую зарплату, пенсию, профессиональную армию, реформы, против высоких налогов, повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, коррупции, стремясь объять все предполагаемые преобразования некоторым конечным списком задач, гарантирующим «светлое будущее» в случае прихода к власти их партии. Практическая реализация этих целей в идеале кажется задачей чрезвычайно сложной и почти неосуществимой. Но движение к прогрессу и есть стремление к достижению сложного, порой кажущегося неосуществимым стремления к совершенству.

Грядущее. КАК это будет? Будущее часто понимается в терминах того, чем оно вызвано и как достигнуто. Особенно активны в процессе создания образа будущего метафоры строительства, которые «созидают» будущее. Причины особой значимости рассматриваемой метафоры именно в рамках данного образа кроются, скорее всего, в том, что концепт строительства ассоциативно связан с позитивными преобразованиями: Фундамент предлагаемой нами политики – возрождение нашей духовности и державности (программа НРПП); «Наши усилия будут направлены на аккуратный, но настойчивый и жесткий демонтаж той системы периферийного капитализма, который сложился в России. Пока это еще не поздно», – заявил Явлинский (Газета, 06.09.03).

Отметим, что зачастую высказывания, иллюстрирующие использование метафоры «строительства», связываются с началом застройки – расчисткой завалов, закладкой фундамента, а не с возведением стен. Автор метафоры «строительства» приходит на разрушенное место, пустырь, руины, поэтому его обещания о потенциальном вкладе в возведение нового здания звучат более внушительно [Мирунова 2003: 100]. С одной стороны, в процессе создания картины «светлого будущего» актуализируются концепты стабильности, безопасности, реанимирования былых достижений, с другой – использование данной метафоры позволяет политику уйти от необходимости называть своими именами планируемые мероприятия, за которые придется отвечать, которые нужно будет реализовывать: Если мы хотим построить новое Славянское здание, то нам необходимо составить план этого строительства. При строительстве любого здания сначала закладывается фундамент, после возводятся стены (это несущая конструкция) и в конце делается крыша, которая предохраняет здание от воздействий окружающей среды. Что же может служить фундаментом нового государственного здания? ... У нынешнего демократического режима фундамента нет. Так почему же эта власть держится? ... Но это не фундамент государственного здания – это костыли, чтобы не упасть. И простоять такое здание долго не сможет. Дальше мы должны решить из какого материала будут возводиться стены Славянской империи. Ответ более чем очевиден. Нет у нас другой «несущей конструкции», кроме славян, которые и будут строителями государственного здания и ее государствообразующей нацией. Крыша здания предохраняет несущую конструкцию от воздействия окружающей среды. ... Ну а нынешнее, демократическое здание, построенное без всяких правил, долго простоять не сможет и обязательно с позором рухнет, похоронив под обломками своих строителей (Народная партия возрождения России (2003)).

Поскольку строительство – это всегда надежда на лучшее будущее, прогнозирование дальнейшего развития событий окрашено преимущественно позитивно. При создании «светлого будущего» активно эксплуатируется образ «страны», «народа», который нуждается в уважении и достоин счастливой жизни. Народ ста-

новится объектом, о котором будет проявлена забота и в чьих интересах будет действовать правительство: То, что русский народ, чей боевой дух, казалось, уничтожен, как Хиросима, десятилетиями пацифистской пропаганды, породил героев-работодателей, доказывает, что есть у России будущее (Лимонка №82); Знать себя русским надо, слышать в себе Родину, особенно сейчас, в пору ее тяжелой болезни и общего свиста ей вслед – надо, любить свой народ в несчастье – надо, имя свое именовать достойно и во всеуслышание – надо (Завтра, 15.12.03).

Человечество не может существовать в статичном мире: совершенствуя себя, оно качественно изменяет мир, в котором живет. Этот путь к совершенству и новым возможностям нередко отмечен противоборством, подчас грозящим уничтожением государств и цивилизаций. Именно поэтому вполне закономерны ожидания того, что некоторые представители сообщества станут «жертвами» будущего, при условии, что предполагаемые перемены повлекут за собой определенные «неудобства»: ... Если уж русские пережили трагедию Буденновска, у них большое будущее невозмутимых жертв (Лимонка №45); Что дальше? Ждем? Чего? Я спрашиваю – чего?!! Американской оккупационной администрации? Исламского Чингизхана? Немецкого штурмбанфюрера, доделывающего план «Ост»? ... Махновщины с ядерными штыками наперевес? В эпоху Брежнева (или Александра III) можно было фантазировать на следующую тему: «Сейчас дерутся грязные дяди! Мы отодвинемся, останемся чистыми! Грязь схлынет! Придет адекватная власть, и тогда уж вместе с нею мы всерьез поработаем!» Придет, придет! С могильными червями вы поработаете! Под шутки гамлетовских могильщиков (Росбалт, 22.09.06).

Никто не может дать гарантий, что все в конце концов будет хорошо, но и делать из происходящего непрерывную трагедию тоже не стоит. Государственный организм сродни человеческому. Утратив способность мечтать, он обрекает себя на бессмысленность. «Выбор образа будущего – «молекулярный» процесс в сознании всего народа. Политики и пророки лишь чуть-чуть подталкивают этот процесс в ту или иную сторону» [Кара-Мурза, 2005]. Следовательно, истинным строителям будущего следует наполнить смыслом и содержанием собственные действия, т.е. сконструировать, спроектировать желательное будущее и постараться его осуществить.

Грядущее. Будет ли оно? Вышеперечисленные варианты предполагают, что образ будущего – это ответы на вопросы. Для одних – это лишь появление новых вопросов, которые наполняют будущее содержанием и делают его приемлемым: От того, что произойдет с Россией, зависит куда пойдет история: либо полный и окончательный крах всякого протеста, торжество корпоративной олигархии и реализация элитарного проекта «вечного фараона», либо... вот тут-то и начинаются вопросы (Завтра, 18.11.03).

У других, возможно, возникает вопрос, заслуживает ли наша страна и человечество в

целом будущее: Пока общество, переживающее вот уже несколько лет перманентную психотравму, не способно подняться до уровня непальских приматов, оно загипнотизировано системой, временно мертво (Лимонка №56); Вопрос о власти сегодня соотносится с вопросом о том, какое будущее ждет нашу страну и, более того, – есть ли у нее будущее (Завтра, 30.03.99).

Для третьих они кажутся слишком радикальными. Из-за быстрого накопления проблем и отсутствия их потенциального решения складывается ощущение, что будущего нет и быть не может. Любой шаг не только открывает новые возможности, но и создает новые проблемы: Никто из ученых-футурологов не берется заглядывать в глубины третьего тысячелетия в надежде увидеть там человека в его теперешнем облике. Мало того: и в конце XXI века мы боимся заглянуть – там мрак, непохожесть и неподобие, иная планета и иные земляне. Изменения ныне совершаются столь стремительно и энергия этих изменений вобрала такую массу, что аналогии с прошлым, к которым все еще продолжают прибегать в утешительных прогнозах, как правило, не годятся, а надежды на благополучные перемены в будущем сравнимы с расчетом на искусство каскадеров, которым в последний момент удастся выбраться из обрушивающейся лавины, опередить ее падение и подставить спасительное плечо (Завтра, 04.01.99); В психиатрии есть такой диагноз – «нравственный идиотизм». ... Сходите в театр на оперу Альфреда Шнитке «Жизнь с идиотом». ... А вернувшись из театра, откройте новый роман Владимира Сорокина «День опричника». Это о путинской России-2006, уже несущей в чреве сорокинскую Россию-2027 (Грани.ru, 11.10.06); В этом тезисе – «у России нет будущего в мировой цивилизации» – заложен более глубокий и более зловещий, более объективный, если угодно, смысл (Завтра, 04.01.00).

Нет образа будущего, значит, нет и самого будущего. «Отсутствие образа будущего обрекает на бессмысленность и людей, и общества, и страны, и цивилизации. Те антропоструктуры, которые теряют образ будущего, теряют желание жить и погибают. Либо – сами по себе, либо под ударами жизнеспособных и развивающихся соседей» [Осипов 2005]. Описание будущего может подчеркивать фаталистические и кармические аспекты, понятие судьбы и предопределения: ... Русские идут в небытие. Ради чего? (Завтра, 14.10.97); Большинство русского населения убеждено в торжестве зла и не представляет иной возможности. ... Вот она мечта дьявола, чтобы люди верили в его могущество, его торжество. Он и торжествует, потому что мы верим в такую возможность (www.rus-sky.org).

Выбор метафор, посредством которых представляется будущее в политическом дискурсе – театр возможностей, интенций и предпочтений, ключ к установлению закономерностей развития общества, логическое продолжение и развертывание настоящего и прошедшего. Грядущее есть неоднозначная параллельная реальность. Часто именно метафоры помогают постичь его безбрежность: у каждого момента есть не одно будущее, а целый конти-

нуум будущих моментов; и наш выбор влияет на вероятность того, какой из моментов случится. Человек всегда становится перед выбором, и от этого зависит его собственная судьба и в какой-то мере судьба человечества. Задача российского политического класса и общественного мнения в целом состоит не в том, чтобы верно «предсказать» будущее, а в том, чтобы сконструировать, спланировать и воплотить, в том, чтобы прорабатывать приоритеты дальнейшего развития. Политическим лидерам, на наш взгляд, не следует забывать, что в человеке, коль скоро он – мыслящее существо, – заложено врожденное стремление к улучшению своей жизни. И поэтому им следует уделять внимание пропаганде и конструированию привлекательного общества грядущего, позитивному образу, пленительной мечте, которая поднимет миллионы на его воплощение в жизнь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Августин Аврелий. Исповедь. – М., 1992.
- Абульханова К. А. Российская проблема свободы, одиночества и смирения // Психологический журнал. – 1999. – Т. 20. – № 5. – С. 5–14.
- Азимов. А. Конец вечности. БСФ, Том 9. М.: МГ, 1966.
- Артемova Е. А. Карикатура как жанр политического дискурса: Дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2002.
- Бурдые П. Описывать и предписывать. Заметки об условиях возможности и границах политической действительности / пер. с франц. А. Бикбокова // Логос. – 2003. – № 4–5. – С. 30–41.
- Даулетова В. А. Вербальные средства создания аутидмджа в политическом дискурсе: Дис. ... канд. филол. наук. Краснодар, 2004.
- Иваненко А. Искушение террором // <http://old.russ.ru/politics/20020115-iv-pr.html>, 2002.
- Кара-Мурза С. Г. Будущее России: мнение Кара-Мурзы // Полит.ру, 2005.
- Левада Ю. Перспективы человека: предпосылки понимания. – М., 2001.
- Миронова П. О. Стратегия редукционизма в политическом дискурсе: когнитивно-прагматический аспект: Дис. ... канд. филол. наук. Омск, 2003.
- Осипов В. Будущее сегодня // Сообщение. – 2005. – № 4. – С. 10–15.
- Плеханов Г. В. Идеология мещанина нашего времени // Плеханов Г. В. Избр. филос. произв. Т. 5. – МЛ, 1958.
- Руженцева Н. Б. Дискредитирующие тактики и приемы в российском политическом дискурсе. – Екатеринбург, 2004.
- Сухина Е. И. Три ипостаси времени: прошлое, настоящее, будущее – в современном русском самосознании // Вестник МГУ. Сер. 19. – 2005. – № 1.
- Тиунова С. П. Типы пределов беспредельных миров человека культуры // Mentalitat. Konzept. Gender. – Landau, 2000. – С. 46–51.
- Федотова В. Г. Модернизация «другой» Европы. М.: ИФ РАН, 1997.
- Чудинов А. П. Политическая лингвистика (общие проблемы, метафора). – Екатеринбург, 2003а.
- Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале: Когнитивное исследование политической метафоры. – Екатеринбург, 2003б.
- Шаова О. А. Россия и Франция: национальные стереотипы и их метафорическая репрезентация (на материале французских газет в сопоставлении с русскими): Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2005.
- Шафаревич И. Есть ли у России будущее? – М., 1991.
- Шафаревич И. Будущее России // <http://www.moskvam.ru/2005/04/shafarevich.htm>
- Шмелева Т. В. Модель речевого жанра // Жанры речи. – Саратов, 1997.
- Ядов В. А. Российское общество в политеоретической

интерпретации // Социологические чтения. Вып.1 / Ин-т «Открытое общество»; ИС РАН; Британский социол. клуб в Москве, М., 1996.

Anderson, R. Encouraging Democratic Participation in Russia: Pragmatic Ambiguity and Identification with Political Speakers) // <http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/anderson/modcautx.htm>.

Edelman, M. J. Constructing the Political Spectacle. – Chicago, 1988.

Fraser, J. T. Voices of Time; a cooperative survey of man's views of time as expressed by the sciences and the humanities. – Amherst, 1981.

Graber, D. Political Languages // Handbook of Political Communication. – London, 1981.

Judge, A. Future coping strategies beyond the constraints of proprietary metaphors // <http://www.laetusinpraesens.org/docs/coping.php>, 1992.

Judge, A. Presenting the Future (Part 1): Presentation and Representatives // <http://www.laetusinpraesens.org/docs/present/present1.php>, 2001a.

Judge, A. Presenting the Future (Part 2): Making (the) Present and Thriving in the Moment // <http://www.laetusinpraesens.org/docs/present/present1.php>, 2001b.

Judge, A. Presenting the Future (Part 5): Present Moment Research: exploration of nowness // <http://www.laetusinpraesens.org/docs/present/present1.php>, 2001.

Kelling, G. L. Crime and Metaphor: Toward a New Concept of Policing // <http://www.city-journal.org/article01.php?aid=1577>.

Kennedy, V. Intended Tropes and Unintended Metatropes in Reporting on the War in Kosovo // <http://www.usis.it/wireless/wf981006/98100601.htm>, 2000.

Lakoff, G. Framing the Dems: How Conservatives Control Political Debate and How Progressives can Take it Back // <http://www.prospect.org/web/page.wv?section=root&name=ViewPrint&articleId=6862>.

Mallmann, C. Societal rhythms, generations, and psycho-motivational tempos. Paper for the Club of Rome Conference. – Punta del Este, 1991.

© Солопова О.А., 2007

Шустрова Е. В.
Екатеринбург, Россия

ОТЗВУКИ ПОЛИТИКИ В АФРОАМЕРИКАНСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЖАНРЕ

Abstract

The aim of the article is to show how political events and discourse of the whole society may result in the appearance of some certain features as far as individual style is concerned. In particular, the author traces linguistic means that are found in prose and verse by Maya Angelou when she comes to use such conceptual domain metaphors as “arms / war / warrior”, “means & symbols of authority”, “prison and chains”.

Влияние политической жизни страны не может не найти отражения в литературном дискурсе, особенно если писатель проявляет живой интерес к политике, пытается повлиять на развитие событий, лично участвуя в митингах, демонстрациях, акциях сопротивления, издании специализированной литературы. Одной из таких активных фигур в политической жизни США несомненно стала М. Анджело – женщина, которая одновременно создавала и прекрасные литературные произведения, единственная поэтесса, удостоенная чести выступить со стихотворным обращением на инаугурации Билла Клинтона в январе 1993 г. Следует отметить, что и на агитационный и на литературный дискурс М. Анджело несомненно повлияла ее принадлежность к афроамериканской диаспоре. В

рамках данной статьи мы попытаемся показать, как в литературных произведениях этого автора сливаются «черные» и «белые» черты, как это отражается на направлении метафорического моделирования и конкретной языковой реализации сфер-мишеней. Для анализа были выбраны следующие концепты **«оружие / воин / битва»**, **«символ власти»**, **«тюрьма / окопы»**, напрямую соотнесенные с политикой и политическим дискурсом.

ОРУЖИЕ / ВОИН / БИТВА. Данный концепт используется у М. Анджело применительно к самому человеку, его эмоциональному состоянию, социальному, природному и бытовому окружению, истории, прошлому.

У сферы-мишени «человек» четко выделяются несколько подтипов. Во-первых, мужчины (только афроамериканцы) изображаются как сильная, организованная, движущаяся армия. При построении модели автор привлекает семы «сила» и «красота». Возлюбленный, друг, любовники предстают как бойцы, воители, вступающие в битву, находящиеся в осаде. Данная модель отличается от традиционной европейской трактовки любви как войны только присутствием указаний на расовую принадлежность. *Walking like an army were the sweet men | The brown men | The men. After fifty-five | the arena has changed. | I must enlist new warriors. | My resistance, | once natural as raised voices, | importunes in the dark. | IS this battle worth the candle? | IS this was worth the wage?* [Angelou 1994: 263, 260].

Как дуэль трактуются взаимоотношения родителей и повзрослевших детей, особенно матери с сыном, что приближает данные контексты к модели «любовь – война». Реплики мелькают с быстротой рапир, проникают под забрало, голоса напоминают взрывы – эти образы переносятся и на другие ситуации общения, при этом необязательно враждебного. *The double entendres, the two-pronged sentences, slid over his tongue to dart rapier-like into anything that happened to be in the way. Our customers, though, generally were so straight thinking and speaking that they were never hurt by his attacks. His voice was falling and the explosions became fewer and quieter. «I'm leaving now, Mother Dear.» The deferential tone heightened the content of his announcement. In a bloodless coup he had thrust beneath her visor. A chance to be perpetrated. Bailey sat wrapped in his decision and anesthetized by youth. If I had any suggestion to make I couldn't have penetrated his unlucky armor* [Angelou 1969: 88, 125, 252, 256]. *No more | the hope that | the razored insults | which mercury-slide over young tongue | will be forgotten* [Angelou 1994: 44].

Усталый или умирающий человек проигрывает битву хлопку, бедам или смерти. Противопоставленность миру проявляется через вызывающие манеры, которые развиваются, реют подобно знаменам. *Down front to the right, Mr. and Mrs. Stewart, who only a few hours earlier had crumbled in our front yard, defeated by the cotton rows, now sat on the edges of their rickety-rackety chairs. Instantly I surrendered myself to the grimness of death* [Angelou 1969: 123, 158]. *They'd nasty manners, held like banners, | while they looked down their nose-wise* [Angelou, 1994:

48].

Из эмоциональных состояний в данном случае М. Анджело выбирает любовь, отчуждение, конфликт, надежду, сомнения, которые становятся битвой, щитом, негодной (пробитой, ненадежной) броней, разрывами снарядов, нейтралитетом, защитой флангов, поисками укрытия, поражением, отступающей армией, гибелью на поле брани и т.д. Неуверенность и муки подростка, осознающего, что он взрослеет, трактуются как бой с могучим врагом, высшими силами, ржавчиной на лезвии бритвы, приставленной к горлу. На лексическом уровне особенно часто задействуются (*unlucky*) *armor, army in retreat, battle, to close the gap, to dart, defeat, to die, enemy, to enlist, explosion, flanks, forces, to perish, to protect, protection, (busting) shells, shield, (to expand) struggle, superior forces, to surrender, to threaten, torture, war, warriors, to wrestle* и др. *If growing up is painful for the Southern Black girl, being aware of her displacement is the rust on the razor that threatens the throat. I carried the same shield that I had used in Stamps: «I didn't come to stay». All right, what evil dirty things did he have in mind? My questions fell over themselves, an army in retreat. Haste, dig for cover. Protect your flanks. Don't let the enemy close the gap between you. What did a Valentine do, anyway? Most surrender to the vague but murderous pressure of adult conformity. It becomes easier to die and avoid conflicts than to maintain a constant battle with the superior forces of maturity. I was ready to go back to my room and wrestle alone with my worries* [Angelou 1969: 6, 68, 139, 264, 269]. *On the afternoon before opening, the usual excitement was heightened by Jay Flash Riley who lighted the tinder for a group explosion* [Angelou 1986: 159].

Иногда М. Анджело называет реальные имена бойцов. *Just as Jomo Kenyatta was Kenya's «Burning Spear,» so Malcolm X was America's Molotov cocktail, thrown upon the White hope that all Black Americans would follow the nonviolent tenets of Dr. Martin Luther King. «Freedom at any cost» had been his rallying cry. He had been the stalking horse for the timid who openly denied him but took him, like a forbidden god, into their most secret hearts, there to adore him* [Angelou 1986: 129]. *My crime is «heroes, dead and gone,» | dead Vesey, Turner, Gabriel, | dead Malcolm, Marcus, Martin King. | They fought too hard, they loved too well. | My crime is I'm alive to tell. | My sin is «hanging from a tree,» | I do not scream, it makes me proud. | I take to dying like a man. | I do it to impress the crowd. | My sin lies in not screaming loud* [Angelou 1994: 45].

Недавно овдовевшая жена афроамериканского политического лидера У. Э. Б. Дюбуа, бывшая ему верной соратницей, изображается как раненый боец, нуждающийся в поддержке. *Have you considered that her [Shirley Du Bois' – E. III.] husband has only been dead for a few months? Have you considered that at her age she needs some time to consider that she is walking around wounded, limping for the first time in many years on one leg* [Angelou 1986: 145].

Следует отметить изначальное ожидание проигрыша для афроамериканцев, неуверенность в своих силах – следствие социальных условий. *Our people for over three hundred years had been made so useful, a bloody war had been fought and lost* [Angelou 1986: 19].

Это дополнительно подчеркивается рядом

метафорических и инвертированных эпитетов, ведущим из которых становится уподобление необразованности, безграмотности крушащим лезвиям (*the grinding blades of ignorance*) [Ср. Angelou 1994: 255].

На уровне олицетворения зооморфными характеристиками наделяется война (*a muzzle of war*), а антропоморфными – стяги, флаги, печально склонившие головы, роняющие непереносимую боль и т. д. (*flags droop their unbearable sadness*). Второй образ выступает и в качестве аллегории войны между Севером и Югом, былых дней, воспоминаний о потерях, и, скорее всего, был заимствован из романа «Унесенные ветром» М. Митчелл и американского военного песенного дискурса времен Гражданской войны. Продолжает эту тему аллегоричный образ пыльных флагов (*dusty flags*).

В качестве метонимической модели упомянем связь между поражением на ринге черного боксера и расправами, унижением, неравенством всей диаспоры. *My race groaned. It was our people falling. It was other lynching, yet another Black man hanging on a tree. One more woman ambushed and raped. A Black boy whipped and maimed. It was hounds on the trail of a man running through slimy swamps. It was a white woman slapping her maid for being forgetful. (Black boxer's defeat)* [Angelou 1969: 131].

Дополнительно были зафиксированы случаи уподобления солнца, его лучей – стреле, что, помимо прямого сходства объектов, напоминает о традиционном для афроамериканцев понимании образа солнца как недруга. Офисы и другие официальные учреждения становятся противниками, соперниками, ждущими поражения негра. Ночной город, его «белые» кварталы изображаются как вражеская территория, что вполне соответствовало реальности и грозило гибелью. *The sun struck like an arrow* [Angelou 1994: 61]. *The struggle expanded. I was no longer in conflict only with the Market Street Railway but with the marble lobby of the building which housed its offices, and elevators, and their operators* [Angelou 1969: 261]. *The night suddenly became enemy territory, and I knew that if my brother was lost in this land he was forever lost* [Angelou 1969: 111].

СИМВОЛ ВЛАСТИ. В данный концепт у М. Анджело входят следующие понятия: алтарь, аукцион, биржа, венец, корона, аура, трон, плеть, хлыст, пирамиды. Они соотносятся в первую очередь с физическим или эмоциональным состоянием, которое воспринимается как аура, нимб (боли, страдания), терновый венец, свитый из одиночества и утрат. *Until we reached the pond the pain was my world, an aura that haloed me for three feet around* [Angelou 1969: 182]. *The day hangs heavy | loose and grey | when you're away. | A crown of thorns | a shirt of hair | is what I wear* [Angelou 1994: 69].

Библейские образы подкрепляются инвертированным эпитетом (*the altar of sunlight, a crown of light*), однако здесь эмоциональный полюс меняется на положительный и на первый план выходит образная связь со светом, красотой, величием, любовью, осуществлением мечты [Ср. Angelou 1994: 20, 239; 1986: 20, 64].

Трон как прямая метафора – это белый символ, часто имеющий ироническую составляющую. Как шаткие троны изображена пожилая белая пара, пародия на благородные семьи Юга. *Discard the fear and what | was she? Of rag and bones | a mimicry of woman's | fairy-ness | Archaic at its birth. | Discharge the hate and when | was she? Disheveled moans | a mimesis of man's | estate | deceived for its worth. | Dissolve the greed and why | were they? Enfeebled thrones | a memory of mortal | kindness | exited from this earth* [Angelou 1994: 93].

Плеть или хлыст в метафорической группе связывается с молодым афроамериканцем, мальчиком, подростком. В переносе автор действует как прямое физическое сходство (стройность, грациозность), так и потенциальные компоненты «смелость, отвага», «резкость жестов», «внезапность, порывистость движений» [Ср. Angelou 1969: 133].

Дополнительно отметим уподобление полового акта ритуалу – модель, в которой М. Анджело подчеркивает расовую составляющую [Ср. Angelou 1994: 204].

В метонимических и аллегорических моделях автор продолжает противопоставление «черный – белый». Символы власти имеют два четко обозначенных полюса: прошлое Юга, связанное с наказаниями и продажей рабов, и Африка, ее красота, история, мужество, богатство. Выражением первого направления становятся аукцион, биржа, плеть, хлыст, позорный столб (*auction, auction block, lash, stock, whip, whipping posts*), для второго ведущим является образ пирамид (*high pyramids of stone and question*). *Novitates sing Ave | Before the whipping posts, | Crisscrossing their breasts and | tearstained robes | in the yielding dark. There in those pleated faces | I see the auction block | the chains and slavery's coffles | the whip and lash and stock* [Angelou 1994: 32, 108].

ТЮРЬМА / ОКОВЫ. Концепт «тюрьма / оковы» в дискурсе М. Анджело имеет три сферы мишени: человек (только афроамериканец), эмоциональное состояние, реалии социального и физического окружения.

Афроамериканская диаспора изображается как люди, постоянно могущие вновь стать заложниками системы рабовладения, сообщество, которому, несмотря на его сплоченность, постоянно грозит неудача, поражение, гибель. Эти же характеристики переносятся и на отдельного представителя. Афроамериканка, мать, испытывающая постоянный страх за своих сыновей, становится заложницей реалий Юга США; ее жизнь, любовь постоянно находятся в ловушке, на аркане. Человек, неспособный исправить ситуацию, помочь своим близким, заточен за рамками происходящего. *I wanted to throw a handful of black pepper in their faces, to throw lye on them, to scream that they were dirty, scummy peckerwoods, but I knew I was as clearly imprisoned behind the scene as the actors outside were confined to their roles. The Black woman in the south who raises sons, grandsons and nephews had her heartstrings tied to a hanging noose. This might be the end of the world. If Joe lost we were back in slavery and beyond help* [Angelou 1969: 30, 110, 131].

Вторая тема развития образа человека – это связь с любовью, влечением. Мужчина заманивается в ловушку, радостно попадает в силки. Само чувство ожидания любви, печаль или напряжение благодаря метафорическому эпитету и олицетворению становятся вечно ждущими цепями, сковывающими путями, оковами. I planned a chart for seduction with surprise as my opening ploy. One evening as I walked up the hill suffering from youth's vague malaise (there was simply nothing to do), the brother I had chosen came *walking directly into my trap* [Angelou 1969: 274]. Hope fades, day is gone | into its irredeemable place | and I am thrown back into *the familiar | bonds of disconsolation* [Angelou 1994: 198-199].

Это направление продолжается и применительно ко второй сфере-мишени. Помимо любовных мук частотным становится ощущение своей вины, неполноценности, безутешности, которое предстает как цепи рабства, звено длинной цепи разочарований, привычные оковы. I never talked about St. Louis to her, and had generally come to believe that the nightmare with its attendant guilt and fear hadn't really happened to me. It happened to a nasty little girl, years and years before, who had *no chain* on me at all. I was another *link* in a long *chain* of disappointments [Angelou 1969: 154, 221]. My guilt is «*slavery's chains*» too long | the clang of iron falls down the years. | This brother's sold, this sister's gone, | a bitter was, lining my ears. | My guilt made music with the tears [Angelou 1994: 45].

Грусть, тоска, горе свисают с дерева подобно висельной веревке – намек отнюдь не на возможное самоубийство, а на вполне реальные события линчей. The blues may be the life you've led | Or midnight hours in | An empty bed. But persecuting | Blues I've known | Could stalk | Like tigers, break like bone, | Pend *like rope in | A gallows tree*, | Make me curse | My pedigree [Angelou 1994: 184].

Подобные эмоции накладывают отпечаток и на восприятие физического окружения. Жилье, комната светятся весельем темницы или могилы, реалии жизни становятся загадкой, в стенах которой заточен афроамериканец, пытающийся понять, почему он изгой. Звуки и запахи становятся спасительными крючками, за которые цепляется ум, память человека, пытающегося преодолеть свою беду, не сойти с ума. The children's voices and the thick odor of food cooking over open fires were *the hooks* I grabbed just in time to save myself. He was away in a mystery, *locked in the enigma* that young Southern Black boys start to unravel, start to try to unravel, from seven years old to death. The humorless puzzle of inequality and hate. Later, my room had *all the cheeriness of a dungeon* and the appeal of a tomb [Angelou 1969: 136, 193, 256].

В то же время образ веревки применительно к африканским сообществам, гражданам африканских государств имеет положительную эмоциональную маркированность и отождествляется с правилами поведения, достоинством, традициями, общей историей, позволяющим понимать друг друга. Black Americans insouciance was the one missing element in West Africa. Courtesy and form, traditional dignity, respectful dismissal and history were *the apparent ropes holding their society close and nearly impenetrable* [Angelou 1986: 158].

В качестве метонимии и аллегории цепи, оковы, кандалы либо продолжают линию эмоций и становятся частью состояния несвободы духа, скованности, тревоги, либо символизируют дни рабства, историю диаспоры, трагичные страницы жизнь на Юге США [Ср. Angelou, 1986: 121; 1994: 108, 210].

Итак, в литературном дискурсе М. Анджело ведущими сферами-мишенями метафорического развертывания концептов «**оружие / воин / битва**», «**символ власти**», «**тюрьма / оковы**» становятся «человек», «эмоциональное состояние», «социальное, природное и бытовое окружение», «история диаспоры». При реализации сфер-источников и сфер-мишеней на первый план выходит линия борьбы, сопротивления, противопоставленности миру, страдания, соотносимая как с реалиями жизни афроамериканской диаспоры в целом, так и судьбой отдельного человека, его внутренними переживаниями, любовью, обретением семьи, познанием своего Я – несомненный отпечаток политики своего жизни США и расовой политики, проводимой государством на протяжении всей истории страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Чудинов А. П. Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2005.
- Angelou M. All God's Children Need Traveling Shoes. – N. Y., 1986.
- Angelou M. And Still I Rise. – N. Y.: Penguin Books Inc, 1989.
- Angelou M. A Song Flung Up to Heaven. – N. Y.: Random House, 2002.
- Angelou M. Even the Stars Look Lonesome. – N. Y.: Random House, 1997.
- Angelou M. I Know Why the Caged Bird Sings. – N. Y.: Bantam Books, 1969.
- Angelou M. I Shall Not Be Moved. – N. Y.: Random House, 1990.
- Angelou M. Oh Pray My Wings Are Gonna Fit Me Well. – N. Y., 1975.
- Angelou M. On the Pulse of Morning. – N. Y.: Random House, 1993.
- Angelou M. The Complete Collected Poems of Maya Angelou. – N. Y., 1994.
- Major C. Juba to Jive. A Dictionary of African American Slang. – N. Y., 1994.
- Smitherman G. Black Talk. Words and Phrases from the Hood to the Amen Corner. – N. Y.: Houghton Mifflin Company, 1994.
- © Шустрова Е.В., 2007

значительной части представителей лингвокультурного сообщества; актуальные в когнитивном плане; обращение к которым обнаруживается в речи представителей того или иного лингвокультурного сообщества [Красных 1997, Нахимова 2004].

Современными исследователями выделяются различные виды прецедентных феноменов, среди которых особое место занимает прецедентное высказывание – репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности, законченная и самодостаточная единица, которая может быть или не быть предикативной, сложный знак, сумма значений компонентов которого не равна его смыслу. Прецедентным высказыванием может быть 1) цитата (в том числе и трансформированная), 2) название произведения, 3) полное воспроизведение небольшого по объему текста [Гудков 2003: 107].

Очевидно, что источником прецедентности являются различные сферы культурного знания: литература, религия, история и др. Однако в рамках данной статьи рассматриваются особенности восприятия лишь литературных прецедентных высказываний, т.е. таких, источником возникновения которых послужили художественные тексты, ибо «литературоцентричность» является одной из отличительных черт русской культуры.

Способом изучения особенностей восприятия указанных единиц послужило проведение психолингвистического эксперимента с последующей обработкой полученных данных. Его участниками стали 80 студентов первых и третьих курсов, обучающихся в Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии (специальности «Химия и биология», «Математика и информатика», «История», «Реклама»). Выбор данной группы информантов обусловлен, с одной стороны, отсутствием у ее членов специальной филологической подготовки, а с другой – предположительно высокой степенью общекультурной и речевой компетентности в связи с имеющимся статусом студента высшего учебного заведения. Материалом для составления анкеты явились выдержки из современных газетных и журнальных публикаций, содержащие литературные прецедентные высказывания. Приведем образец предложенных информантам текстов и заданий.

I. Прочитайте выдержки из газетных статей. Выпишите знакомые Вам по литературным источникам выражения (прецедентные высказывания). 1) *Лисичка-оборотень <...> встречает волка-оборотня в чине генерал-лейтенанта ФСБ, и они полюбили друг друга. Нет повести печальнее на свете: следует ряд откровенных <...> и эпических сцен [о новой книге Пелевина «Священная книга оборотня»] (С. Сергеев // НВ, 2004, №49); 2) «Овсянка, сэр». Именно это выражение всплывает в первую очередь при слове «дворецкий». Мрачные, отсыревшие стены замка, огромные двери, Бэримор, сэр Генри... И тут примешивается вечно скабресный дво-*

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК – ПОЛИТИКА – КУЛЬТУРА

Боярских О. С. Нижний Тагил, Россия ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ В ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ: ОСОБЕННОСТИ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ВОСПРИЯТИЯ

Abstract

The article studies the peculiarities of perception of precedent utterances by means of a psycho-linguistic experiment. The survey results lead to describing a complex of factors, which determine the particularities of recognizing and understanding different kinds of literary quotations present in a newspaper article.

Для современной лингвистики характерен повышенный интерес к закономерностям восприятия языковой личностью ментефактов, способных, с одной стороны, служить средством комплексной когнитивной обработки действительности, а с другой – отражать ценностные ориентации соответствующей лингвокультуры. К числу указанных единиц, безусловно, относятся прецедентные феномены – единицы, имеющие вербальное выражение, известные

рецкий из сериала «Моя прекрасная няня». Впрочем, к современному дворцовому эти образы подходят так же, как фрак черепахе [В. Баршев // РГ, 2005, № 158]; 3) Если говорят, что уровень попсы ниже плитуса, надо начинать разбирать паркет и долбить цемент. В песнях происходит деградация лексики, исчезает утонченный интонационный язык. Мелодия не нужна. Вот и остается в песне всего несколько слов и интонаций. Она как шагреновая кожа, в которой прекрасно чувствуют себя наши попсовые исполнители (В. Дашкевич // НГ-ежемес. обзор., 2006, февраль); 4) Народным артистом Чечни и Ингушетии неожиданно для себя вернулся Филипп [Киркорев] из Гудермеса... Певец вспоминает, что был концерт, он много пел, ему хлопали... А потом раз – и звание народного! Да, кстати: отмечали 30-летие Рамзана Кадырова. Но песни Филиппа нравятся не только имениннику, кто их только не поет – и в горах, и на равнине! (О. Шапавалов // КП, 2006, № 152-т/41); 5) Эксперты Deloitte&Touch сравнили стоимость ночевки в равнозначных номерах в 6000 европейских отелях (три звезды и более). По их данным, только за 2005 год цены на койко-место в Москве выросли на 34,4 процента! Другим городам и не снился такой впечатляющий скачок. Причем при сохранении практически на прежнем уровне гостиничного сервиса. Возможно, цены росли в привязке к стремительно дорожающему московскому жилью? Впрочем, умом Россию не понять. Даже столь известной аудиторской компании, которая в свое время смогла просчитать суммарную стоимость ОАО «Газпром» (И. Являнский // Изв., 2006, № 107); 6) «Квартирный вопрос» испортил и продолжает портить жизнь подавляющему числу россиян. В улучшении жилищных условий нуждаются четыре пятых населения страны, и их надежды тают с каждым днем (В. Андреев // АиФ, 2006, № 20); 7) Кузнецову кинули на пивзавод в 1986 году. Производство к тому времени не обновлялось 18 лет. Ей рассказали разговор в самолете. «Откуда эта новая директриса? Из торгашек?»... Бред, сапоги всмятку. Начальник управления торговли полгода с ней не здоровался (А Тарасов // НГ-ежемес. обзор., 2006, февр.); 8) У меня вызывает удивление, когда я вижу, как представляют себя некоторые «народные избранники». Владелец заводов, газет, пароходов, член совета директоров, известный предприниматель и где-то, скажем, последней строчкой – депутат Госдумы местного собрания. Это прямое и циничное нарушение закона о статусе депутата (С. Миронов // Труд, 2006, № 110); 9) Но униженная перед всей страной врач из злосчастного родильного дома – почему же она промолчала об истинной природе этой внутрибольничной инфекции, о том, что существующая система санитарно-эпидемиологического режима в роддомах – что борьба с ветряными мельницами? Почему не назвала

десятки других похожих случаев? (Dr. pipetkin // НГ-ежемес. обзор., 2006, февраль); 10) Вакханалия погони за роскошью и удовольствиями, захлестнувшая страну, имеет вполне объяснимые причины. На поверхность российской жизни, точно зловонные болотные газы, выползают криминальные деньги. По прикидкам МВД, более 800 подпольных цехов ежегодно выбрасывают в продажу примерно 6 млн. бутылок поддельного алкогольного зелья. А ведь за каждым таким зельем стоит свой торгующий смертью миллионер (В. Костиков // АиФ, 2006, № 45); 11) Правда, говорить о планах строительства Российских вооруженных сил на 2006 – 2010 гг. думцы будут в закрытом режиме <...> зато все остальные вопросы – и о том, каким гражданином быть обязан парламентарий, и том, как должен выглядеть российский рубль в графике и слове, депутаты обсуждают не таясь (Т. Шкель // РГ, 2006, № 108).

II. Укажите авторов и названия произведений, послуживших источником выписанных Вами выражений (прецедентных высказываний).

III. Считаете ли Вы оправданными, соответствующими смыслу и стилю текста, подобные словоупотребления? Почему?

IV. Есть ли в приведенных текстах выражения (в том числе и среди выписанных Вами), смысл которых Вам не совсем ясен? Если да, то укажите их.

V. Прочитайте переиначенные (трансформированные) современными журналистами цитаты из литературных произведений. Восстановите их первоначальную форму. Каким проблемам, по Вашему мнению, были посвящены статьи, из которых извлечены данные выражения? Как хорошо уметь считать (Е. Надрова // РГ., 2005, № 146). Утром – острова, вечером – отношения (С. Репов, А. Фуфырин // АиФ, 2004, № 47). Про рок: и виждь, и внемли (П. Костенко // НГ, 2005, № 27). «Собственник» звучит гордо. И выгодно (И. Невинная // РГ, 2005, № 158). Но если маразмы плодятся вопреки здравому смыслу, значит, это кому-нибудь нужно (А. Ягодкин // НГ, 2005, № 30). Много шума или ничего? (А. Ерастов // Труд-7, 2005, № 118). Пусть сильнее грядет баррель! (С. Минаев // Коммерсант – власть, 2005, № 34). Я б в инвесторы пошел, пусть меня научат (А. Полунин // Труд-7, 2006, № 87). Четверо в лодке, не считая смерти (В. Сварцевич // АиФ, 2006, № 12). Почему Кощей-Минфин над золотом чахнет (В. Цепляев // АиФ, 2005, № 37)

Известно, что восприятие речи является сложным и многомерным психическим процессом, в общем протекающим по тем же закономерностям, что и любой другой вид восприятия. Оно представляет собой рецепцию слышимых или зрительно воспринимаемых элементов языка, установление их взаимосвязи и формирование представления об их значении. При этом в деятельности речевосприятия можно выделить две ступени. Первая связана с собственно восприятием (опознанием), вторая – с

пониманием речевого высказывания (его интерпретацией). Понимание определяется как расшифровка общего смысла, который стоит за непосредственно воспринимаемым речевым потоком, как процесс превращения фактического содержания воспринимаемой речи в стоящий за ней *смысл*. Под интерпретацией в данном случае следует понимать вербализованную форму понимания. Учитывая специфику данного эксперимента, понимание и интерпретация оказываются весьма схожими понятиями, ибо судить о наличии/отсутствии понимания реципиентом смысла того или иного прецедентного феномена можно только на основании имеющейся интерпретации.

В связи с этим предложенные информантам задания состояли из нескольких блоков. В первом блоке необходимо было в текстовых фрагментах найти в большинстве своем немаркированные цитаты из художественных текстов, а также указать автора и название произведения, послуживших источником данных единиц. Данный блок состоял из одиннадцати текстовых фрагментов, девять из которых содержали прецедентные высказывания с источником из отечественной или зарубежной литературы, а два были «пустыми», т.е. не имеющими в своем составе интересующих нас единиц. Введение в анкету данных «пустых» текстов было обусловлено стремлением приблизить искусственно созданную ситуацию чтения газетных материалов к аналогичной естественной ситуации (ибо не во всех газетных текстах используются прецедентные феномены) и тем самым избежать так называемого «парадокса наблюдателя» [Гришаева 2004]. Последний в данном случае связан с тем, что, имея установку на поиск определенных вербальных единиц в предложенных текстах, информант будет стремиться в каждом из них непременно найти искомое, а возможно, и не найти, а угадать. Сведения же о том, что не во всех фрагментах есть интересующие нас выражения, делает, на наш взгляд, поиск более естественным и непринужденным. Участникам эксперимента предлагалось также оценить уместность / неуместность использования в данных контекстах найденных выражений и из всего текстового массива выписать отдельно выражения, смысл которых им не совсем ясен (из-за несоответствия окружающему контексту или в силу незнания данного выражения).

Во втором блоке заданий информантам было предложено десять трансформированных (переименованных) журналистами прецедентных высказываний с просьбой восстановить их первоначальную форму, ибо при восприятии подобного выражения первоначальным этапом является сопоставление его с «каноническим», исходным. Участникам эксперимента следовало также предположить, чему были посвящены статьи, из которых извлечены данные выражения.

Таким образом, первый блок заданий был направлен преимущественно на изучение осо-

бенностей узнавания литературных прецедентных высказываний (выделение в тексте, установление источника) и лишь частично, косвенно на понимание (оценка уместности словоупотребления, выделение не соответствующих контексту, по мнению информантов, выражений). Задания второго блока имели целью выявить специфику как узнавания (восстановление первоначальной формы), так и интерпретации литературных цитат с учетом произведенных трансформаций.

Согласно положениям современной теории восприятия, наиболее простой формой осмысления предметов и явлений является узнавание. Здесь восприятие тесно связано с памятью. Узнать предмет – значит воспринять его в соответствии с ранее сформированным образом. Узнавание может быть обобщенным, когда объект относится к какой-либо общей категории, и дифференцированным (специфическим), когда воспринимаемый объект отождествляется с ранее воспринимавшимся единичным объектом. Как показали результаты проведенного эксперимента, в отношении литературных прецедентных высказываний процесс узнавания зачастую ограничивается лишь обобщенным уровнем и не переходит на уровень дифференцированный. Другими словами, информанты способны увидеть в текстовом массиве немаркированные цитаты, но затрудняются с их паспортизацией (указанием источника). Так, напр., студенты заметили интертекстуальный характер выражений *шагреньевая кожа* (47,5 %), *сапоги всмятку* (25 %), *владелец заводов, газет, пароходов* (59 %), *нет повести печальнее на свете* (94 %), *квартирный вопрос* (85 %), *ветряные мельницы* (62,5 %), *овсянка, сэр* (77,5 %), но лишь некоторые указали автора и название произведения. Паспортизация данных единиц чаще всего ограничивалась указанием на отечественный или зарубежный характер прототекста и / или его жанровый признак (повесть, сказка, стихотворение). Относительно большинства из перечисленных выражений (77,7 %) количество ответов, содержащих верную и полную информацию об источнике заимствования, не превысило 50 % порога (исключения составили выражения *нет повести печальнее на свете* (70 %) и *квартирный вопрос* (78,8 %)). Практически все информанты выписали с указанием авторства литературные цитаты *умом Россию не понять* (95 %), *гражданином быть обязан* (92,5 %). Однако в отношении этих выражений мы столкнулись с феноменом ложнодифференцированного узнавания. Так, напр., в качестве автора известной цитаты из стихотворения Тютчева назывались Некрасов (27,5 %), Тургенев (21 %), Пушкин (12,5 %), а вместо Некрасова чаще всего фигурировало имя Маяковского (30 %). Интересно, что в некоторых ответах содержались стихотворные продолжения данных цитат, однако высокая степень знакомства с поэтическим текстом не обеспечила точности определения его автора. Подобный высокий процент ложной дифференциации данных цитат

связан, как это ни парадоксально, с их широкой употребительностью, с тем, что они известны еще со школьных уроков литературы и сейчас активно используются в различных СМИ. Это обуславливает восприятие подобных выражений в качестве штампов, отличающихся принципиальной нерелевантностью авторства. При попытке же все-таки вспомнить источник информанты начинают играть в «угадай-ку», перебирая авторов из школьной программы. Думается, что ситуация, когда информант просто заявляет, что он «не знает», «не помнит», «забыл» источник, является менее настораживающей, чем когда он пытается его угадать, ибо в последнем случае перемешанными оказываются не только авторы, принадлежащие к одной эпохе (Некрасов и Тургенев), но и те, творчество которых относится к различным историко-культурным периодам (Некрасов и Маяковский).

Необходимо отметить, что ложное узнавание литературных прецедентных феноменов возможно не только на дифференцированном уровне, но и обобщенном, ибо и в так называемых «пустых» текстах студенты довольно часто находили искомые вербальные единицы. В тексте № 5 литературной цитатой, по мнению студентов, являлось выражение *и в горах, и на равнине* (38,8 %), а из текста № 10 выписывались *вакханалия погони* (21, 25 %) и *торгующий смертью миллионер* (30 %). Это объясняется характерной для прецедентных феноменов в целом и для прецедентных высказываний, в частности, эмоционально-оценочной нагруженностью, их коннотативной маркированностью, что обусловило отнесение в их разряд и других, сходных по функциональным возможностям, единиц. При этом информантов, очевидно, не смущало то, что они не могут установить источник, т.к. ни в одной работе нам не встретилась попытка паспортизации данных выражений.

На вопрос об уместности и целесообразности использования прецедентных феноменов в газетных текстах большинство информантов ответили утвердительно, отметив, что подобные словоупотребления «как нельзя лучше характеризуют суть дальнейшего разговора», «служат своего рода иллюстрацией», «противопоставлением», «придают тексту ироническую окраску». Заметим, что в большинстве текстов, предложенных студентам в первом блоке заданий, прецедентные феномены использовались афористически, т.е. как особого рода цитаты, обозначающие специальное «русло», особого рода «канал», по которому развиваемая в дискурсе языковой личности мысль как бы вливается в широкий «ментальный контекст» духовного арсенала произведения [а в нашем случае – статьи], читателя, эпохи [Караулов 1987: 230]. Подобные выражения сближаются, по мнению Ю. Н. Караулова, с «генерализованными высказываниями, аккумулирующими в виде формул, правил, афоризмов, синтетической суммой знаний о мире и упорядоченными в индивидуальном тезаурусе» [Караулов 1987: 230-231], смысл их достаточно «прозрачен», он лежит на

поверхности, и для его формирования не требуются богатые ассоциативные связи с текстом-источником (напр., текст под № 8 в образце). Несколько иная картина наблюдается, когда употребление литературного прецедентного высказывания в газетной публикации по своим функциональным особенностям приближается к фразеологическому. В этом случае поверхностное значение вербальной единицы оказывается нерелевантным, и происходит актуализация глубинного, метафорического (напр., № 9 и № 3). В отношении данных текстов замечания по поводу уместности интересующих нас словоупотреблений не были столь однозначными: «кажется, здесь нет связи: роддом и ветряная мельница?», «по-моему, по смыслу выражение не подходит, главный герой неуютно чувствовал себя в шагреновой коже, а в статье – наоборот». Подобные ответы обусловлены тем, что выражения типа *бороться с ветряными мельницами, как в шагреновой коже*, с одной стороны, оторвались от своих текстов-источников и стали довольно часто употребительными, крылатыми, а с другой стороны – экспликация их смысловой нагрузки требует соположения с текстом-источником. И если в отношении «Дон Кихота» Сервантеса (возможно, в силу знакомства с его экранизацией) паспортизация составила 35 %, что свидетельствует о возможности установления информантами ассоциативных векторов, то «Шагреновую кожу» О. де Бальзака знали лишь единицы.

Анализ результатов по второму блоку заданий показал, что студенты не всегда способны дословно восстановить употребленное в газетном тексте довольно известное выражение. Наличие различных вариантов (при имеющемся единственно верном) может быть обусловлено, как оказалось, несколькими причинами. Во-первых – степенью знакомства информанта с тем или иным выражением. Данная степень знакомства (исключая случаи верных ответов) может быть нулевой (информант вообще не дал ответа) и частичной (выражение известно, но информант не знает его дословно, о чем свидетельствует предложенный им вариант). Так, напр., в качестве исходного варианта для трансформированной цитаты *Утром – острова, вечером – отношения* (АиФ) предлагались выражения «Утром – стулья, вечером – деньги/чеки», (вместо правильного *Утром – деньги, вечером – стулья*); для цитаты *Пусть сильнее грянет баррель!* (Коммерсант-власть) – «Пусть сильнее грянет гром / выстрел / песня» (вместо *Пусть сильнее грянет буря*). Подобные частично верные ответы обусловлены семантической пропозицией и лексическим содержанием исходного и трансформированного выражений. Имея в качестве стимула переиначенное выражение и не зная дословно первоначальное, информант ориентируется прежде всего на предложенную модель и ее лексическое наполнение. И если в ней реализуется какая-то определенная смысловая последовательность (*сначала – товар, а потом – плата*), или есть лексические указатели на се-

мантику замещенного слова (глагол *грянет*), то информант улавливает эти «сигналы» и в соответствии с ними выстраивает свое предположение. Иногда эти «сигналы» оказываются настолько сильными, что, даже не встречаясь ранее с тем или иным выражением, информант безошибочно его угадывает. Так, напр., в некоторых ответах в связи с восстановлением трансформированной цитаты *Как хорошо уметь считать* (РГ) студенты писали: «не знаю, «Как хорошо уметь читать», наверное».

Данные нашего исследования подтверждают выводы, сформулированные О. П. Семенец относительно зависимости возникающих у информантов ассоциаций от характера трансформаций: чем большему количеству трансформаций (лексических, структурных, грамматических) одновременно подвергается цитата, тем прозрачнее она становится для потенциального читателя [Семенец 2004]. Так, напр., выражение «*Собственник звучит гордо. И выгодно*» (РГ) формирует ассоциативное поле преимущественно вокруг введенных журналистом лексем *собственник* и *выгодно*: «о частной собственности», «о приватизации», «о сдаче в съем квартир», «о том, что выгодно сейчас квартиру купить, а потом продать, т.к. цены на них растут» и др.. Не будучи идентичными, данные интерпретации оказываются тематически весьма близкими, они совпадают с поднятыми в статье проблемами. Исключения составили единичные ответы тех информантов, которые акцентировали внимание на графическом оформлении слова *собственник* (в кавычках): «о выходе нового журнала, который дешевле, чем другие подобные». Иная ситуация наблюдается в отношении прецедентных высказываний, где произведенные журналистом замены не столь очевидны и не формируют необходимого ассоциативного поля. Напр., в цитате *Много шума или ничего?* (Труд-7) произошла замена предложения *из* на союз *или*, что изменило синтаксическую структуру предложения, но не способствовало формированию какого-то определенного смысла. В связи с этим предложенные студентами интерпретации были весьма разнообразны: «про депутатов», «про реформы», «про какой-нибудь громкий скандал», «про телевидение», «про разговоры о конце света». В то время как статья была посвящена знаменитой российской теннисистке Марии Шараповой. Тематически различные интерпретации были предложены также по поводу синтаксически трансформированного высказывания *Но если маразмы плодятся вопреки здравому смыслу, значит, это кому-нибудь нужно* (НГ): «о скандале среди депутатов, напр., с Жириновским», «о бессмысленном предписании на предприятии (всем бросить курить)», «об абсурдности нашей жизни», «о бюрократах». Только последний вариант коррелирует с тематикой статьи. Таким образом, чем конкретнее семантика вводимых авторами статей слов (ср., напр., *собственник*, *выгодно* и *маразмы*), тем однороднее, ближе к оригиналу интерпретации читателей.

Имеющиеся у информантов ассоциации с

художественным текстом, послуживших источником того или иного прецедентного высказывания, также влияют как на характер восприятия самого высказывания, так и на характер интерпретации содержания публикации. Так, напр., для большинства участников эксперимента оказалась прозрачной связь трансформированной цитаты *Про рок: и виждь, и внемли* (НГ) со стихотворением Пушкина «Пророк», ибо оно изучается в курсе школьной программы и часто предлагается для заучивания наизусть. Это устранило возможные затруднения при восприятии устаревших слов и определило направление возникающих у информантов ассоциаций. Последние развивались по двум основным векторам: метатекстовому (актуализировалась имеющаяся в тексте статьи сегментация слова *пророк*) и прототекстовому (сегментация учитывалась, но значение слова воспринималось в соответствии с пушкинским текстом). В первом случае студенты писали, что речь идет «о музыкальном направлении, в котором важна не только сама музыка, но и зрелищность», во втором – «о чьей-нибудь жизни, судьбе, которой можно восхищаться», «о трагическом случае из жизни, знание которого предостережет других от похожих ошибок».

Таким образом, при восприятии литературных прецедентных высказываний релевантными оказываются две группы факторов. Первая группа связана с сознанием воспринимающего субъекта: степенью знакомства с тем или иным прецедентным высказыванием, наличием / отсутствием фоновых литературных знаний. Вторая – со спецификой самого прецедентного знака: характером его употребления (афористическим / фразеологическим), связью (или ее отсутствием) с текстом-источником, особенностью произведенных трансформаций, лексическим составом. При этом в процессе узнавания прецедентного феномена, выделении его из текстового массива актуализируется прежде всего память читателя, его литературная компетентность, при понимании (интерпретации) существенное значение приобретают и текстовые факторы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гришаева Л.И. Прецедентные феномены как культурные скрепы (к типологии прецедентных феноменов) // Феномен прецедентности и преемственность культур – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2004.
- Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2003.
- Кондаков И.В. Антропология русской словесности: литературоцентризм // Современные трансформации российской культуры / отв. ред. И. В. Кондаков. – М.: Наука, 2005. – С. 394–403.
- Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? – М.: ИТДК «Гнозис», 2003.
- Красных В.В., Гудков Д.Б., Захаренко И.В., Багаева Д.В. Когнитивная база и прецедентные феномены в системе других единиц и в коммуникации // Вестник МГУ. – Сер. 9. – Филология. – 1997. – № 3. – С. 62–75.
- Нахимова Е.А. О критериях выделения прецедентных феноменов в политических текстах // Лингвистика: Бюллетень Уральского лингвистического общества. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2004. – С. 166–174.
- Семенец О.П. Прецедентный текст в языке газеты: дина-

Будаев Э.В., Чудинов А.П.
Нижний Тагил, Екатеринбург, Россия
**МЕТАФОРА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Abstract

The authors survey works of European and American scholars who analyze metaphor in discourse of pedagogics and education. Of great interest are not only metaphors of pedagogical texts and shop-talk and their analysis as presented in Europe and USA but also the functional role of metaphor as a cognitive process that is sure to find its way into the field of education.

Педагогическая коммуникация постоянно привлекает внимание зарубежных специалистов (S. Jordan, S. Gunby, P. Chally, R. Dorman, M. Fredericks, K. Grams, M. Kosowski, S. Miller, H. Munby, B. Pless, F. Wiggins), но исследовательский интерес к этой проблеме значительно увеличился после того, как получил широкое признание когнитивный подход к метафоре (J. A. Barnden, F. Boers, L. Cameron, A. Castry, A. Deignan, M. Droujkova, J. Enkenberg, M. Gerhart, E. Gola, R.E. Haskell, T. Hermsen, R. Holme, G.L. Huber, T. Komendzinski, R. Kunzli, M.G. Lee, J. Littlemore, G. Low, A. Margaret, M.A. Martinez, I.A. Noveck, P. Perrin, A. Peyer, D. Reese, A.M. Russell, G. Steen, R. Stokes и др.).

В отличие от традиционных исследований педагогической метафоры [Sanders D., Sanders J. 1984; Taylor 1984], современные публикации связаны преимущественно с двумя аспектами метафорической семиотики: когнитивной семантикой метафоры и прагматикой метафоры. В первом случае метафора рассматривается как отражение концептуальной картины мира субъектов образовательного процесса, а внимание исследователей сосредоточено на выявлении базовых метафор и их референций. В прагматически ориентированных исследованиях метафора исследуется как средство эффективного воздействия на субъектов образовательной деятельности, усиления эффективности образовательного процесса. При этом важно принимать во внимание, что когнитивно-семантические исследования в перспективе ориентированы на использование результатов на практике, а прагматические исследования невозможны без предварительного анализа когнитивных структур, поэтому строгое разграничение не всегда возможно.

В рамках когнитивно-семантических исследований значительное внимание уделяется изучению того, как участники педагогического процесса концептуализируют образовательный процесс и его участников. Среди наиболее известных работ этого направления выделяется публикация А. Сфард [Sfard 1998], в которой выявлены две основные метафоры для представления учения: метафора приобретения (acquisition metaphor) и метафора соучастия (participation metaphor). Первая метафора связана с представлениями о педагогической коммуникации как о процессе передачи информации, а сама информация представляет собой

предназначенный для учащихся продукт потребления. Вторая метафора формируется наряду со становлением интеракционистских представлений о коммуникации, а ее использование направлено на акцентирование активной роли учащихся в образовательном процессе.

Исследователи неоднократно отмечали, что метафора приобретения в различных модификациях доминирует при осмыслении образования как преподавателями, так и учащимися [Donato 2000; Gross, Hogler 2005; McGuinness 2005]. Как отмечает К. Грэхем [Graham 2001], понятие «приобретение» стало настолько привычным в заголовках авторитетных учебников, что студенты, преподаватели и исследователи нередко не замечают, что это метафора, которая к тому же затеняет важные аспекты процесса обучения.

В этом направлении внимание исследователей направлено на выявление когнитивных репрезентаций образовательного процесса и его участников и поиск альтернатив различным вариантам метафоры приобретения, высвечивающим пассивную роль учащихся [Cheney et al. 1997; Hagstrom et al. 2000; Halbesleben et al. 2003; Hoffman, Kretovics 2004; Kamber 2004; Ormell 1996]. По мнению специалистов, необходимо отказаться от широко распространенной в Европе и Северной Америке метафоры студента как потребителя (student as consumer metaphor) и внедрять метафору студента как товарища по работе, сотрудника, помощника [Halbesleben et al. 2003]. Широко распространенная метафора студента как потребителя привносит нежелательные смыслы из сферы рыночных отношений и дистанцирует учащихся от активного участия в образовательном процессе [Cheney et al. 1997]. Аналогичные идеи предлагает К. Ормелл, указывая, что распространенные кулинарные метафоры приготовления и переваривания «ментальной пищи» в меньшей степени акцентируют необходимость активности учащихся, нежели, напр., метафоры альпинистского подъема [Ormell 1996].

К. Грэхем продемонстрировала влияние метафор «приобретения» и «соучастия» на стратегии подготовки к экзамену по английскому языку (TOEIC) у японских студентов. При доминировании метафоры приобретения студент ориентируется на заучивание слов и грамматики, стремится аккумулировать, накопить как можно больше знаний. При доминировании метафоры соучастия студент стремится общаться с носителями языка, слушать радио, смотреть телевидение, читать книги. По мнению К. Грэхема, и учителям и учащимся необходимо осознавать наличие этих двух метафор. Хотя метафора соучастия долго недооценивалась, важно чтобы ни одна из метафор не становилась доминирующей.

В рамках когнитивно-семантических исследований существенное значение имеет вопрос о том, как студенты посредством метафор представляют своих преподавателей [De Guerrero, Villamil 2002; Marchant 1992; Oxford et al. 1998]. Очевидно, что отношение учащихся к изучаемому

предмету и образовательному процессу будет различным в зависимости от того, видят ли они в своем преподавателе «военачальника из вражеской армии», «заботливого садовода» или «спортивного тренера».

Анализ метафор в речи педагога может служить средством выявления скрытых убеждений и оценок и даже рассматривается специалистами в качестве своеобразного «детектора лжи». Так, Сьюзан Воллас проанализировала метафоры в речи преподавателей из шести средних школ в Великобритании, участвовавших в интервьюировании по вопросам об учебных планах и учащихся. Как показал метафорический анализ, учителя давали более низкую оценку ученикам и в целом профессиональной деятельности в их школах, нежели это открыто эксплицировалось. По мнению автора, анализ метафор в речи педагогов может служить дополнительным методом для определения уровня качества образования в определенном учебном заведении [Wallace 2001].

Не менее показателен анализ метафорического представления студентов о самих себе. Напр., М. Бозлк [Bozlk 2002] исследовала метафоры, которые использовали американские студенты-первокурсники для самопрезентации как субъектов образовательного процесса. Как оказалось, более 90 % метафор относились к сферам-источникам «Объект», «Животные» и «Человек», при этом большинство метафор акцентируют пассивную роль учащихся в образовательном процессе: губка, карандаш, улитка. Даже метафоры из сферы-источника «Человек» не подразумевают высокой активности студентов (напр., студент – это ребенок, делающий первые шаги, или «едок» знаний). Преподавателям рекомендуется обсуждать метафоры со студентами и формировать у них убеждение в том, что образование – это процесс который они должны сами контролировать. Задача преподавателей видится в вытеснении пассивных образов губки, впитывающей знания, или ребенка, которого преподаватели должны кормить информацией, и заменой их на более активные образы для представления образовательной деятельности. Преподаватели могут опираться на образы, предложенные другими студентами. Напр., среди анализируемого корпуса попадались метафоры, подчеркивающие самостоятельность студентов. Напр., студенты – это птицы, которые готовы отправиться в полет, или бизнесмены, ищущие потенциально полезную информацию.

В этом направлении выделяется комплексное исследование израильского ученого Дана Инбара [Inbar 1996], который собрал и проанализировал несколько тысяч метафорических образов, используемых студентами и преподавателями для представления образования. Исследователь приходит к выводу о том, что многие противоречия образования связаны с доминированием различных метафорических образов у преподавателей и учащихся. Если попытаться

создать обобщенный образ израильской школы, то получится довольно противоречивый образ – «free educational prison» (свободная образовательная тюрьма).

Помимо образования в целом исследователи все чаще обращаются к рассмотрению метафоры как средству осмысления понятий в конкретных дисциплинах. Если принимать во внимание постулат о том, что метафора относится к одним из основных механизмов мышления, то ее влияние должно проявляться в процессе изучения любых дисциплин. Метафорическое мышление лежит в основе понимания даже такой, казалось бы, далекой от метафоры области как математика, чему в немалой степени способствовали исследования Р. Нуэза и основателя теории концептуальной метафоры Дж. Лакоффа [Lakoff, Nunez 1997, 1998, 2000]. Примечательно, что специалисты выявляют метафорическую основу математического мышления как учащихся начальной школы, так и у студентов высших учебных заведений [Clements et al. 1997; Davis, Maher 1997; Droujkova 2004a, 2004b; Matthews 2003; Presmeg 1997].

Как отмечалось выше, исследования прагматической ориентации направлены не только на анализ когнитивных репрезентаций, но и на поиск конкретных путей разрешения многих педагогических проблем.

С 90-х годов прошлого века стали появляться публикации, авторы которых подчеркивали, что метафоры лежат в основе когнитивных стратегий, выбираемых учителями в качестве руководства к действию [Carter 1990; Marshall 1990; Munby, Russell 1990; Tobin 1990; Thornbury 1991]. Осознание этого факта инициировало интерес исследователей к изучению представлений учителей о своей работе и выработке рекомендаций по использованию метафор в подготовке педагогов. Студенты педагогических вузов, которые проходят педагогическую практику, или молодые учителя, начинающие педагогическую деятельность, часто обинарживают, что идеализированные представления о педагогической профессии контрастируют с реальностью. Сталкиваясь с многочисленными трудностями, молодые специалисты ставят под сомнение те идеалы и умения, которым их учили в вузе. В поисках решения этой проблемы специалисты все чаще обращаются к метафоре как способу разрешения проблемных педагогических ситуаций, терапевтическому средству формирования положительного отношения учителя к педагогической действительности [Ben-Peretz 2003; Bulloch 1991; Carter 1990; Goldstein 2005; Mahlios, Maxson 1998; Marshall 1990; Stofflett 1996 и др.].

Иллюстрирующим примером исследований такого рода может служить публикация Л. Голдштейн [Goldstein 2005], в которой были рассмотрены возможности актуализации метафоры «Стать учителем – это осуществить героическое путешествие» («Becoming a teacher as a hero's journey») как модели для преодоления проблемных ситуаций у студентов, проходящих пе-

дагогическую практику. Геройское путешествие – очень распространенный в Западной культуре сюжет, к тому же он, по мнению автора, имеет много параллелей с процессом становления молодого педагога. Выбранный фрейм Л. Голдштейн решила связать с широко известной кинотрилогией «Звездные войны», в которой реализованы типичные роли и темы старого сюжета. На первом этапе проекта студенты смотрели кинотрилогию, руководствуясь заранее подготовленными заданиями по отслеживанию этапов и элементов «геройского путешествия» главного героя Люка Скайвокера, и впоследствии обсуждали результаты наблюдений. Цель состояла в том, чтобы создать набор элементов для сценария «геройского путешествия» (посвящение, помощники, испытание, драконы, преобразование, возвращение и др.), которые стали бы основой для осмысления собственного опыта. С началом педагогической практики студенты писали несколько сочинений, в которых они описывали свое решение стать учителем как «посвящение», описывали «помощников» и «драконов», с которыми им пришлось столкнуться на практике. На следующем этапе (по окончании практики) студенты принимали участие в неформальных дискуссиях, в ходе которых они ретроспективно оценивали влияние модели «геройского путешествия» на их педагогическую деятельность, а на завершающем этапе писали анонимные ответы на вопрос преподавателя о том, следует ли в дальнейшем использовать метафору «геройского путешествия» при подготовке студентов-педагогов.

Использование метафор позволило учащимся осмыслить некоторые стороны своей деятельности, о которых они раньше не задумывались. К примеру, метафора геройского путешествия «заставила почувствовать в себе силу, о которой раньше не подозревала» или увидеть, что «главный помощник» – желание учить, а «главный дракон» – сомнения в собственных силах и т.п. Вместе с тем ряд студентов восприняли предложенную модель критически. Им понравилась идея, но они не считали образ героя подходящим для их случая в частности и для педагогической профессии в целом. Основная причина заключалась в том, что все участники эксперимента – студентки, а герой – типично мужской образ, ассоциирующийся с силой, использованием оружия, убийством врагов, спасением героини. Возможно, что для этого эксперимента, по признанию Л. Голдштейн, больше подошел бы сюжет из «Волшебника страны Оз».

Другое направление исследования педагогической метафоры связано с положением о том, что рациональные формы осмысления действительности опираются на малоэффективное механическое запоминание, в то время как использование метафорических моделей способствует осмыслению сущности изучаемых явлений. Особенно важна роль метафоры в

описании абстрактных понятий. Как показали специальные эксперименты, использование метафор способствуют пониманию студентами абстрактных концептов в большей степени, чем буквальное описание [Flynn et al. 1995], что особенно важно в образовании детей младшего возраста [Castillo 1994]. Вместе с тем специалисты часто указывают на тот факт, что недостаточно опираться только на фонд знаний учащихся. Пониманию метафор необходимо специально обучать [James 2002], особенно при преподавании таких дисциплин как изобразительное искусство [Feinstein 1996] или психоанализ [Gargiulo 1998].

В рамках движения за повышение качества образования были проведены многочисленные исследования по выявлению традиционных, но «неудачных» педагогических метафор, которые в большей степени затемняют понимание некоторых аспектов изучаемого феномена, нежели высвечивают их. Напр., Г. Паппас указывает, что для описания генома человека традиционно использовалась метафора проекта, затемняющая осмысление феномена ввиду инференций источниковой сферы. По мнению автора, более эффективно использование театральной метафоры, согласно которой геном рассматривается как набор актеров, участников спектакля. Такая метафора упрощает введение понятия о мутации и о других, меняющихся во времени феноменах, а также легче запоминается студентами [Pappas 2005]. Неудачны технические (особенно компьютерные) метафоры в обсуждении вопросов морали [Warnick 2004]. Отсутствие эпистемологической ценности усматривают в метафорическом представлении атома как планетарной системы [Giles 2004] и др.

Соответственно взамен старых предлагаются новые метафоры, способные улучшить понимание и запоминание изучаемых явлений. С легкой руки Р. Мейера такие метафоры получили название «поучительные метафоры» (instructive metaphors) [Mayer 1993]. «Поучительные метафоры» характеризуются тем, что они не только позволяют осмыслить определенную сферу-мишень с помощью определенных концептов сферы-источника, но и позволяют облегчить решение проблемных задач в сфере-мишени. Согласно экспериментальным исследованиям Р. Мейера, «студенты, в процессе обучения которых использовались поучительные метафоры, решали в два раза более задач и запоминали теоретический материал на 30 % лучше, чем студенты, лишённые метафорической информации» [Mayer 1993: 577].

Современные методики выявления эффективных метафор варьируются от гипотетических дедуктивных построений до экспериментов, связанных с многолетним мониторингом. Основная цель таких исследований состоит в том, чтобы найти метафоры или комбинации метафор, наиболее эффективные как для объяснения единичных понятий, так и для преподавания определенных учебных курсов и дисциплин.

Напр., М. Осборн [Osborn 1997] рекомендует использовать в курсах по обучению студентов публичной речи три метафоры: «Студент – это архитектор», «Студент – это ткач» и «Студент – это альпинист». Метафоры призваны преодолеть типичные для студентов страхи, связанные с выступлениями перед аудиторией, изменить априорные представления об агрессивности слушателей, осмыслять пока малопонятные процессы подготовки выступлений через образы из известных сфер деятельности.

Основной смысл метафоры «студент – это архитектор» заключается в формировании представления о том, что необходимо изменять окружающий мир в соответствии с нашими целями и потребностями, приносить порядок и целесообразность в окружающий нас хаос. Это дает ощущение формы, приобщает к искусству *дизайна и строительства* выступлений, подбора *материала для несущих конструкций* и обдумывания того, что именно эти *опоры будут поддерживать*.

Вторая метафора учит искусству *вплетения* символов в *ткань* выступления, а фактов в *гобелен* веских аргументов. Метафора *ткацкого станка* помогает студентам понимать, что подготовка публичного выступления включает в себя продумывание таких деталей как внешний вид, жесты, голос, поза, музыкальное сопровождение, которые должны быть *вплетены в единый рисунок на ткани* выступления и т.п.

Метафора *альпиниста* призвана вытеснить обезличенную информационно-кодую модель для представления коммуникации. Начинаящий оратор нередко сталкивается с собственными эфемерными страхами и реальными препятствиями, связанными с культурными особенностями аудитории. Эти препятствия представляют собой не «информационные помехи», а *Гору*, на которую преподаватель помогает *взобраться* студенту, уже овладевшему умениями *архитектора и ткача*, на завершающем этапе учебного курса. При этом «приятно осознавать, что гора волшебная. По мере того как мы на нее взбираемся, она становится все меньше и меньше, превращаясь в маленький холм, а те, кто уже на вершине, могут видеть намного дальше, чем прежде» [Osborn 1997: 88]. Помимо прагматико-терапевтического потенциала автор усматривает в этой комбинации метафор гуманистический смысл, сообразный с общими установками гуманитарного образования.

В зарубежной науке подобные исследования по выявлению эффективности использования метафор в педагогической коммуникации были проведены применительно к образовательным курсам (или отдельным понятиям в рамках этих курсов) по менеджменту [Fairfield, London 2003], охране природы [Gough 2005; Winnett 2005], информатике [Bromme, Stahl 2005], химии [Earley 2004], физике [Giles 2004; Stahl 1997], биологии [Reynolds 2001], философии [Hoida 2004], математике [Droujkova 2004b; Handa 2003; Streetland L., van den Heuvel-Panhuizen; Saenz-Ludlow 2004], литературе

[Alsup 2003], иностранным языкам [Boers 2003; Cesare 2003; Vanparys, Baten 1999], геологии [Cameron 2003], ветеринарии [Thornburg 1994], гомеопатии [Kurz 2005], сестринскому делу [Cook, Gordon 2004; Gallagher 2004], терапевтике [Konitzer et al. 2003] и др.

Учебный предмет не единственный ракурс рассмотрения прагматики педагогических метафор. В зарубежной лингвистике анализируются особенности эффективного использования педагогических метафор в процессе обучения взрослых [Hill, Johnston 2003], студентов из гетерокультурных сообществ [Weitzel 2003], в процессе дистанционного обучения через Интернет [Cronje 2001; May, Short 2003; Gillet et al. 2003], в формировании критического мышления [Ivie 2001], в религиозном образовании [Dogan 2002; Selcuk 1998] и др.

Значительный интерес представляет мало-разработанный вопрос о национальной специфике педагогической метафорики. Напр., по данным Л. В. Пейна, китайская модель обучения строится на базовой метафоре «Учитель – это виртуоз», согласно которой ученики подражают учителю-мастеру, но не ожидают получить от него готовую информацию или однозначные инструкции [Paine 1990]. Специалисты рассмотрели особенности педагогической метафорики и в австралийском племени Йонглу [Marika-Mununggiritj, Christie 1995], и среди африканских студентов-медиков [Ahmed 1992], но в целом эта тема относится еще к перспективе исследования.

Отдельного внимания заслуживают исследования с «отрицательными» результатами, которые противоречат гипотезам и программным постулатам. Напр., М. Вейцель пришла к выводу, что в педагогической коммуникации использование единичных метафор эффективнее, чем актуализация развернутых метафор [Weitzel 2003]. М.-Х. Фрайс, опираясь на результаты своего эксперимента по восприятию и актуализации визуальных метафор студентами-химиками, считает, что метафора способствует не лучшему пониманию концептов сферы-мишени, а только привлекает внимание и помогает студентам выразить свои мысли [Fries 2004]. Аналогичные мысли высказывают Ф. Двайер и В. Вильямс. Исследователи провели эксперимент с более чем 100 студентами и были вынуждены констатировать, что использование визуальных метафор как средства наглядности не способствуют повышению эффективности обучения [Dwyer, Williams 1999].

Разумеется, в настоящем обзоре охвачены не все аспекты анализа метафорики в педагогическом дискурсе. За рамками нашего внимания остались исследования, посвященные психолингвистическим проблемам понимания метафор одаренными учащимися, нейролингвистическим особенностям восприятия метафор учащимися с различными видами психических нарушений, методическим проблемам анализа метафор при изучении иностранных языков, метафорам в академическом педагогическом дискурсе и другим аспектам. Эти направления, на

наш взгляд, относятся к менее прототипическим сферам педагогического дискурса. Вместе с тем и представленный обзор показывает тот интерес, который вызывает феномен метафоры в педагогической коммуникации в зарубежной лингвистике, и ту роль, которую метафора как когнитивный механизм играет в образовательном процессе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ahmed H., Ogala W. N., Ibrahim M. Culinary metaphors in Western medicine: A dilemma for medical students in Africa // *Medical Education*. – 1992. – Vol. 26(5).
- Alsop J. English education students and professional identity development: Using narrative and metaphor to challenge preexisting ideologies // *Pedagogy: Critical Approaches to Teaching Literature, Language, Composition, and Culture*. – 2003. – Vol. 3(2).
- Ben-Peretz M., Mendelson N., Kron F. W. How teachers in different educational contexts view their roles // *Teaching and Teacher Education*. – 2003. – Vol. 19(2).
- Blaisdell B. Beyond binaries: The use of metaphor to rearticulate success in school reform // *Journal of Thought*. – 2004. – Vol. 39(4).
- Boers F. Applied linguistics perspectives on cross-cultural variation in conceptual metaphor? // *Metaphor and Symbol*. – 2003. – Vol. 18(4).
- Bozk M. The college student as learner: Insight gained through metaphor analysis // *College Student Journal*. – 2002. – Vol. 36(1).
- Brandt N. C. Constructing school organization through metaphor: Making sense of school reform. – Tallahassee, Fla.: Department of Educational Leadership and Policy Studies, Florida State University, 2004.
- Bromme R., Stahl E. Is a hypertext a book or a space? The impact of different introductory metaphors on hypertext construction // *Computers and Education*. – 2005. – Vol. 44(2).
- Bullough R.V., Jr. Exploring personal teaching metaphors in preservice teacher education // *Journal of Teacher Education*. – 1991. – Vol. 42(1).
- Cameron L. *Metaphor in Educational Discourse*. – London: Continuum Press, 2003.
- Carter K. Meaning and metaphor: Case knowledge in teaching // *Theory Into Practice*. – 1990. – Vol. 29(2).
- Castillo L. C. The effect of analogy instruction on young children's metaphor comprehension. – New York: Department of Educational Psychology, City University of New York, 1994.
- Cesare M. F., de. *Metaphor in language learning: An exploration into the relationship between language and mind in elicited metaphors from EFL students*. – Norwich: University of East Anglia, 2003.
- Cheney G., McMillan J., Schwartzman R. Should we buy the "student-as-consumer" metaphor? // *The Montana Professor*. – 1997. – Vol. 7(3).
- Clements D., Sarama J. *Children's Mathematical Reasoning With the Turtle Metaphor // Mathematical reasoning: Analogies, metaphors, and images / ed. L. D. English*. – Mahwah: Lawrence Erlbaum, 1997.
- Cook S. H., Gordon M. F. Teaching qualitative research: A metaphorical approach // *Journal of Advanced Nursing*. – 2004. – Vol. 47(6).
- Craig C. J. *Narrative Inquiries of School Reform: Storied Lives, Storied Landscapes, Storied Metaphors*. – Greenwich: Information Age, 2003.
- Cronje J.C. Metaphors and models in internet-based learning // *Computers & Education*. – 2001. – Vol. 37(3-4).
- Davis B., Maher C. *How Students Think: The Role of Representations // Mathematical reasoning: Analogies, metaphors, and images / ed. L. D. English*. – Mahwah: Lawrence Erlbaum, 1997.
- De Guerrero M., Villamil O. Metaphorical conceptualizations of ESL teaching and learning // *Language Teaching Research*. – 2002. – Vol. 6(2).
- Dogan R. The usage of metaphor in the prophet Muhammad's (pbuh) Hadiths as an educational method // *Muslim Education Quarterly*. – 2002. – Vol. 19(3).
- Droujkova M. A. *The spirit of four: Metaphors and models of number construction*. – Toronto; Ontario: International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2004a.
- Droujkova M. A. *Roles of metaphor in the growth of mathematical understanding*. – Raleigh: North Carolina State University, 2004b.
- Dwyer F., Williams V. Effect of metaphoric (visual/verbal) strategies in facilitating student achievement of different educational objectives // *International Journal of Instructional Media*. – 1999. – Vol. 26(2).
- Earley J. E. Would introductory chemistry courses work better with a new philosophical basis? // *Foundations of Chemistry*. – 2004. – Vol. 6.
- Fairfield K. D., London M. B. Tuning into the music of groups: A metaphor for team-based learning in management education // *Journal of Management Education*. – 2003. – Vol. 27(6).
- Feinstein H. *Reading Images: Meanings and Metaphor*. – Reston: The National Art Education Association, 1996.
- Flynn L., Dagostino L., Carifio J. Learning new concepts independently through metaphor // *Reading Improvement*. – 1995. – Vol. 32(4).
- Fries M.-H. Pictorial metaphors and metonymies in advertisements for chemists: practical issues // *Les Cahiers de l'Apluit*. – 2004. – Vol. 23(3).
- Gallagher P. How the metaphor of a gap between theory and practice has influenced nursing education // *Nurse Education Today*. – 2004. – Vol. 24(4).
- Gargiulo G. J. Meaning and metaphor in psychoanalytic education // *Psychoanalytic Review*. – 1998. – Vol. 85(3).
- Giles T. D. *The role of metaphor in the technical communication classroom*. – St. Paul-Minneapolis: University of Minnesota, 2004.
- Gillet D., Geoffroy F., Zeramdini K. The cockpit: An effective metaphor for web-based experimentation in engineering education // *International Journal of Engineering Education*. – 2003. – Vol. 19(3).
- Giroux H. A., Schmidt M. Closing the achievement gap: A metaphor for children left behind // *Journal of Educational Change*. – 2004. – Vol. 5(3).
- Goldstein L. S. Becoming a teacher as a hero's journey: Using metaphor in preservice teacher education // *Teacher Education Quarterly*. – 2005. – Vol. 32(1).
- Gough S. Rethinking the natural capital metaphor: Implications for education and learning // *Environmental Education Research*. – 2005. – Vol. 11(1).
- Graham C. Acquisition and participation: two metaphors are better than one // *Academic Exchange Quarterly*. – 2001. – Vol. 5(3).
- Gross M. A., Hogler R. What the shadow knows: Exploring the hidden dimensions of the consumer metaphor in management education // *Journal of Management Education*. – 2005. – Vol. 29(1).
- Hagstrom D., Hubbard R., Caryl H., Mortola P., Ostrow J., White V. Teaching is like ...? // *Educational Leadership*. – 2000. – Vol. 57(8).
- Halbesleben J. R. B., Becker J. A. H., Buckley M. R. Considering the labor contributions of students: An alternative to the student-as-customer metaphor // *Journal of Education for Business*. – 2003. – Vol. 78(5).
- Hammill B. A. Models, maxims, and mother metaphors: Perceptions of four women regarding teaching and scholarship in the field of composition. – Indiana: Indiana University of Pennsylvania, 2005.
- Handa Y. A phenomenological exploration of mathematical engagement: Approaching an old metaphor anew // *For the Learning of Mathematics*. – 2003. – Vol. 23(1).
- Harper S. M. *A metaphorical analysis of teacher beliefs about using technology in the classroom*. – Kent: Kent State University, 2003.
- Hermesen T. *Languages of engagement: An investigation of metaphor, physicality, play and visuality as tools for enhancing student learning and perception* // Columbus: Ohio State University, 2003.
- Hill L. H., Johnston J. D. *Adult education and humanity's relationship with nature reflected in language, metaphor, and spirituality*:

A call to action // *New Directions for Adult and Continuing Education*. – 2003. – Vol. 99.

Hoffman K., Kretovics M. Students as partial employees: A metaphor for the student-institution interaction // *Innovative Higher Education*. – 2004. – Vol. 29(2).

Hoida D. J. The metaphoric bridge: Spanning educational philosophy and practice. – Montreal: McGill University, 2004.

Holme R. *Mind, Metaphor, and Language Teaching*. – New York: Palgrave Macmillan, 2004.

Hymer B. "If you think of the world as a piece of custard": Gifted children's use of metaphor as a tool for conceptual reasoning // *Gifted Education International*. – 2003. – Vol. 17(2).

Inbar D. E. The free educational prison: Metaphors and images // *Educational Research*. – 1996. – Vol. 38(1).

Ivie S. D. Metaphor: A model for teaching critical thinking" // *In: Contemporary Education*. – 2001. – Vol. 72(1).

James P. Ideas in practice: Fostering metaphoric thinking // *Journal of Developmental Education*. – 2002. – Vol. 25(3).

Kamber R., Biggs M. Grade inflation: Metaphor and reality // *Journal of Education*. – 2004. – 184(1).

Konitzer M., Doring T., Fischer G. C. Metapher und Narrativ als Instrumente allgemeinmedizinischer Identitätsbildung? Eine qualitative Studie aus dem 240-Stunden- Kurs // *Zeitschrift für ärztliche Fortbildung und Qualitätssicherung*. – 2003. – Vol. 97(7).

Kurz C. *Imagine Homeopathy: A Book of Experiments, Images, and Metaphors*. – New York; Stuttgart: Thieme, 2005.

Lakoff G., Nunez R. *Conceptual metaphor in mathematics // Discourse and Cognition. Bridging the Gap*. – Stanford: CSLI Publications, 1998.

Lakoff G., Nunez R. The Metaphorical Structure of Mathematics: Sketching Out Cognitive Foundations for a Mind-Based Mathematics // *Mathematical reasoning: Analogies, metaphors, and images / ed. L. D. English*. – Mahwah: Lawrence Erlbaum, 1997.

Lakoff G., Nunez R. *Where Mathematics Comes From: How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being*. – New York: Basic Books, 2000.

Mahlis M., Maxson M. Metaphors as structures for elementary and secondary preservice teachers' thinking // *International Journal of Educational Research*. – 1998. – Vol. 29(3).

Marchant G. J. A teacher is like a ...: Using simile lists to explore personal metaphors // *Language and Education*. – 1992. – Vol. 6(1).

Marika-Mununggiritj R., Christie M. J. Yolngu metaphors for learning // *International Journal of the Sociology of Language*. – 1995. – Vol. 113.

Marshall H. Beyond the workplace metaphor: The classroom as a learning setting // *Theory Into Practice*. – 1990. – Vol. 29(2).

Matthews M. E. Metaphor use of high school students when solving problems involving signed numbers. – Reno: University of Nevada, 2003.

May G. L., Short D. Gardening in cyberspace: A metaphor to enhance online teaching and learning // *Journal of Management Education*. – 2003. – 27(6).

Mayer R. The instructive metaphor: Metaphorical aids to students' understanding of science // *Metaphor and Thought / Ed. A. Ortony*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

McGuinness C. Behind the acquisition metaphor: Conceptions of learning and learning outcomes in TLRP school-based projects // *Curriculum Journal*. – 2005. – Vol. 16(1).

Miller S. I., Fredericks M. Uses of metaphor: A qualitative case study // *Qualitative Studies in Education*. – 1988. – Vol. 1(3).

Munby H., Russell T. Metaphor in the study of teachers' professional knowledge // *Theory Into Practice*. – 1990. – Vol. 29(2).

Ormell C. Eight metaphors of education // *Educational Research*. – 1996. – Vol. 38(1).

Osborn M. The play of metaphors // *Education*. – 1997. – Vol. 118(1).

Oxford R. L., Tomlinson S., Barcelos A., Harrington C., Lavine R. Z., Saleh A., Longhini A. Clashing metaphors about classroom teachers: Toward a systematic typology for the language teaching field // *System*. – 1998. – Vol. 26(1).

Paine L. W. The teacher as virtuoso: A Chinese model for teaching // *Teachers College Record*. – 1990. – Vol. 92(1).

Pappas G. A new literary metaphor for the genome or proteome // *Biochemistry and Molecular Biology Education*. – 2005.

– Vol. 33(1).

Premeg N. Reasoning With Metaphors and Metonymies in Mathematics Learning // *Mathematical reasoning: Analogies, metaphors, and images / ed. L. D. English*. – Mahwah: Lawrence Erlbaum, 1997.

Reynolds T. A. Case studies in cognitive metaphor and interdisciplinary studies: Physics, biology, narrative. – New York: Columbia University, 2001.

Saenz-Ludlow A. Metaphor and numerical diagrams in the arithmetical activity of a fourth-grade class // *Journal for Research in Mathematics Education*. – 2004. – Vol. 35(1).

Sanders D. A., Sanders J. A. *Teaching Creativity through Metaphor: An Integrated Brain Approach*. – New York: Longman, 1984.

Selcuk M. The Use of Metaphors in Islamic Education. // Biebuyck B., R. Dirven, J. Ries // *Faith and Fiction: Interdisciplinary Studies on the Interplay between Metaphor and Religion*. – Frankfurt: Peter Lang, 1998.

Sfard A. On two metaphors for learning and the dangers of choosing just one // *Educational Researcher*. – 1998. – Vol. 27 (2).

Stahl F. A. Physics, language, and literature // *The Physics Teacher*. – 1997. – Vol. 35(3).

Stofflett R. T. (Metaphor development by secondary teachers enrolled in graduate teacher education // *Teaching and Teacher Education*. – 1996. – Vol. 12(6).

Streetland L., van den Heuvel-Panhuizen M. Uncertainty, a metaphor for mathematics education // *Journal of Mathematical Behavior*. – 1999. – Vol. 17(4).

Taylor W. *Metaphors of Education*. – Oxford: Heinemann, 1984.

Thornbury S. Metaphors we work by: EFL and its metaphors // *English Language Teaching Journal*. – 1991. – Vol. 45(3).

Thornburg L. Blank slate or rough draft: A new metaphor for veterinary education in the 21st century // *Journal of the American Veterinary Medical Association*. – 1994. – Vol. 204(2).

Tobin K. Changing metaphors and beliefs: A master switch for teaching? // *Theory Into Practice*. – 1990. – Vol. 29(2).

Vanparys J., Baten L. How to offer real help to grammar learners // *ReCALL*. – 1999. – Vol. 11(1).

Wallace S. Guardian angels and teachers from hell: Using metaphor as a measure of schools' experiences and expectations of General National Vocational Qualifications // *Qualitative Studies in Education*. – 2001. – Vol. 14(6).

Warnick B. R. Technological metaphors and moral education: The hacker ethic and the computational experience // *Studies in Philosophy and Education*. – 2004. Vol. 23.

Weitzel M. L. The use of metaphors only versus metaphors with elaborations in nursing education instruction for Asian and majority culture students. – Mobile: University of South Alabama, 2003.

Welton J., Telford J., Newson E. *What Did You Say? What Do You Mean?: An Illustrated Guide to Understanding Metaphors*. – London: Jessica Kingsley, 2004.

Winnett A. Natural capital: Hard economics, soft metaphor? // *Environmental Education Research*. – 2005. – Vol. 11(1).

© Будаев Э.В., Чудинов А.П., 2007

ВОРОШИЛОВА М.Б.
Екатеринбург, Россия
**КРЕОЛИЗОВАННЫЙ ТЕКСТ:
АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ**

Abstract

The article contributes to the study and analysis of creolized texts. The author presents some methods and ways of their investigation that exist in Russian linguistics.

Начало научному осмыслению креолизованных текстов было положено в работах по семиотике. Центральными были обозначены проблемы визуальной семантики, выделение неких дискретных единиц изображения и анализ их взаимодействия с вербальной семиотической системой. Данный подход определил сущест-

венное ограничение объема понятия креолизованного текста. Из самой формы используемых терминов («визуальная информация», «видео-вербальный ряд», «иконический знак»), чаще всего используемых в научных работах, видно, что в центре внимания их авторов в первую очередь находится соотношение вербальной и иконической, визуальной знаковых систем, т.е. невербальные, графические средства, сопровождающие письменную речь. Данное сужение, ограничение подходов обусловлено двумя основными причинами: во-первых, традициями отечественной и мировой лингвистики, а также набором лингвистического «инструментария», который находится в распоряжении современного ученого.

В рамках настоящего подхода исследователи первоначально описывают саму структуру креолизованного текста, т.е. выделяют основные знаковые единицы его составляющие, далее – анализируют их семантику и взаимодействие. Основными компонентами «классического» (ограниченного) креолизованного текста являются вербальная часть (надпись / подпись, вербальный текст) и иконическая, визуальная, невербальная часть, которая может быть представлена иллюстрациями (рисунок, фотография, карикатура и др.), схемами, таблицами, символическими изображениями, формулами и т.п.

Необходимо отметить, что терминологически небесспорно при анализе креолизованных текстов в качестве эквивалентной, равнозначной замены обозначения изобразительного компонента использование термина «иконический компонент». Стоит согласиться с распространенным ныне суждением В.А. Виноградова, что «система (код) языка ориентируется на символичность, а текст – на иконичность» [Сигал 1997: 119]. Также сомнительной представляется практика замены обозначения «изобразительный компонент» на «визуальный», т.к. в письменной форме сообщения (текста) любого типа словесный ряд так же визуален, как любой другой, значимыми являясь шрифт, цвет, стиль написания и т.д.. Поэтому считаем целесообразным различать вербальный и невербальный компоненты в рамках любого креолизованного текста.

С точки зрения семиотики невербальный знак принципиально отличается от вербального, т.к. семантика изображения по сравнению со словом характеризуется некой неопределенностью, расплывчатостью, размытостью. В семантике изображения Р. Барт по аналогии со словом выделяет денотативные и коннотативные значения. Невербальный знак, по мнению автора, содержит два рода означающих: 1) означающие, означаемыми которых являются реальные предметы, и 2) означающие, означаемыми которых являются идеи, образы и т.д. Напр., изображение белого голубя, с одной стороны, означает саму птицу, с другой – традиционный образ мира. Итак, информация первого

типа (по аналогии со структурой семантики слова) является денотативной, т.е. в известной степени буквальной, ее понимание не представляет для адресата трудности и основывается не на общих знаниях, информация же второго типа коннотативна, основывается на различных ассоциативных связях, а значит ее понимание предполагает наличие у адресата знания определенного культурного кода, социальных связей, национальной специфики, следовательно, информация данного типа допускает многовариативность своего толкования. Так, образ белого голубя в разных странах может быть понят как: 1) чистота души, воплощение кротости и смирения; 2) душа умершего родственника – ангел-хранитель.

Важнейшее замечание в рамках данного подхода, определившее большинство современных методик: изображение и слово, вербальный и невербальный компоненты креолизованного текста никогда не представляют собой некую «сумму семиотических знаков», их значение интегрируется и «образует сложно построенный смысл» [Анисимова 2003]. Таким образом, между вербальной и невербальной частями устанавливаются разные виды корреляции, в современной лингвистике существует несколько подходов к их описанию и классификации.

Л. Барден (1975) описывает корреляции между данными компонентами в зависимости от характера передаваемой в них информации – денотативной и коннотативной. Исследователь выделяет 4 типа корреляции: 1) Изображение Д + Слово Д: оба компонента выражают денотативную информацию, но изображение, как правило, доминирует над словом. Этот тип корреляции свойственен информационному сообщению. 2) Изображение Д + Слово К: изображение выражает денотативную информацию, вербальный компонент – коннотативную; изображение доминирует над словом. Этот тип корреляции присущ иллюстративному сообщению. 3) Изображение К + Слово Д: изображение выражает коннотативную информацию, слово – денотативную; в данном случае ведущая роль принадлежит слову. Этот тип корреляции характерен для комментирующего сообщения. 4) Изображение К + Слово К: оба компонента выражают коннотативную информацию, и, как правило, равноправны по отношению друг другу. Данный тип корреляции типичен для символического сообщения.

Анисимова Е.Е. (2003) рассматривает отношения взаимодополнения и взаимозависимости между вербальной и невербальной частями креолизованного текста. При отношениях взаимодополнения изображение понятно без слов и может существовать самостоятельно. Вербальному комментарию отводится вторичная, дополнительная функция, т.к. он только описывает изображение, дублируя его информацию. При отношениях взаимозависимости изображение зависит от вербального комментария, который

определяет его интерпретацию. Без комментария смысл изображения неясен или может быть превратно истолкован. Вербальный комментарий в этом случае выполняет первичную, основную функцию [Анисимова 2003: 12].

Зауэрбир С.Д. описывает отношения между изображением и вербальной частью в зависимости от их референтной соотнесенности: 1) параллельная корреляция, при которой содержание рисунка и вербальной части полностью совпадают; 2) комплиментарная – содержание невербальной и вербальной частей частично перекрывают друг друга; 3) субститутивная – невербальная информация замещает вербальную; 4) интерпретативная – между содержанием вербальной и невербальной частей нет прямых точек соприкосновения, и эта связь устанавливается на ассоциативной основе [Sauerbier 1978: цит. по: Чудакова 2005: 186].

Пойманова О.В. (1997) предлагает различать креолизованные (в терминологии автора – видеовербальные тексты) тексты по соотношению объема информации, переданной различными знаками, и по роли изображения: 1) репетиционные – изображение в основном повторяет вербальный текст; 2) аддитивные – изображение привносит значительную дополнительную информацию; 3) выделительные – изображение «подчеркивает» какой-то аспект вербальной информации, которая по своему объему значительно превосходит невербальную; 4) оппозитивные – содержание, переданное картинкой, вступает в противоречие с вербальной информацией, на основе этого часто возникает комический эффект; 5) интегративные – изображение встроено в вербальный текст или вербальный текст дополняет изображение в интересах совместной передачи информации; 6) изобразительно-центрические – с ведущей ролью изображения, вербальная часть лишь поясняет и конкретизирует его.

В ходе диссертационного исследования «Метафорическое моделирование художественного мира в дискурсе русской рок-поэзии» (Шинкаренкова, 2005) на основании двух описанных выше типов корреляции (Зауэрбир С.Д., Пойманова О.В.) была разработана следующая классификация отношений вербального и невербального компонентов в креолизованных текстах дискурса русской рок-поэзии: 1) комплиментарная корреляция – содержание невербального и вербального компонентов частично перекрывают друг друга; 2) интерпретативная корреляция – между содержанием вербального и невербального компонентов связь устанавливается на ассоциативной основе; 3) аддитивная корреляция – невербальный компонент привносит значительную дополнительную информацию; 4) выделительная корреляция – невербальный компонент подчеркивает какой-то аспект вербального; 5) изобразительно-центрическая корреляция – невербальный компонент играет ведущую роль, вербальный – лишь поясняет и конкретизирует его [Шинкаренкова 2005].

Помимо описания различных связей между вербальным и невербальными компонентами креолизованного текста ученые считают необходимым отметить и разную степень их участия в организации текста:

Е.Е.Анисимова в зависимости от наличия изображения и характера его связи с вербальной частью выделяет три основные группы креолизованных текстов: 1) тексты с нулевой креолизацией (изображение не представлено), 2) тексты с частичной креолизацией и 3) тексты с полной креолизацией.

В текстах с частичной креолизацией между вербальным и невербальными компонентами складываются автосемантические отношения, когда вербальная часть относительно автономна, независима от изображения, а изобразительные элементы текста оказываются факультативными. Такое сочетание часто находим в газетных, научно-популярных и художественных текстах. В текстах с полной креолизацией вербальная часть не может существовать отдельно, независимо от изобразительной части – между обоими компонентами устанавливаются синсемантические отношения. Вербальная часть в данном случае ориентирована на изображение или отсылает к нему, а изображение выступает в качестве облигаторного (обязательного) элемента текста. Такая зависимость обычно наблюдается в рекламе (плакат, карикатура, объявления и др.), а также в научных и особенно научно-технических текстах [Анисимова 2003: 15].

Аналогичную классификацию предлагает Бернацкая А.А., выделяя также три степени креолизации: сильную – с взаимной синсемантией участвующих систем; умеренную – при явном доминировании одной системы и вспомогательной роли другой; слабую – когда речь идет о традиционных параязыковых средствах коммуникации (фонационных, кинетических, графических). В качестве несомненно достоинства последней классификации отметим введение понятия слабой креолизации, которое представляется нам более правомерным и обоснованным нежели понятие нулевой, т.к. в современном мире не приходится говорить о «чистых текстах». Важнейшей характеристикой любого письменного текста (а текст креолизованный, как правило, письменный) являются размер и гарнитура шрифта, цвет, использование пунктуационных и нередко математических знаков, а также других паралингвистических средств.

Данное замечание позволяет отметить, еще один аспект анализа креолизованного текста – описание паралингвистических средств его создания. Как правило, в центре внимания исследователей оказываются цвет и шрифт, используемые при создании анализируемого текста. Цвет является одним из важнейших элементов креолизованного текста: он привлекает внимание адресата (аттрактивная функция цвета), позволяет выделить наиболее важные, значимые в смысловом отношении элементы вер-

бального компонента (смысловыделительная функция), а также воздействует на эмоции человека (экспрессивная функция). Особо ученые отмечают символическую функцию цвета, его способность выражать абстрактные понятия [Анисимова, 2003; Баскаков, 1967; Кондаков, 1990; Мирнова, 1984; Пэджем, 1978].

Существенное влияние на подсознание получателя информации оказывает также и выбор печатным изданием определённого размера и гарнитуры шрифта, поскольку шрифт сам по себе служит формой социального кодирования, обнаруживая принадлежность человека к тем или иным классам и группам (А. Сигман, Е.Е. Анисимова, В.В. Тулупов, С.И. Смирнов). Использование различных типов шрифтов подчинено определённым задачам, которые ставит перед собой адресант и которые определяют основные функции шрифтов как элемента креолизованного текста. К таковым относят аттрактивную, смысловыделительную, экспрессивную, характерологическую, символическую, сатирическую и эстетическую функции [Анисимова, 2003: 61-64].

В области психолингвистики обращение к креолизованным текстам обусловлено стремлением специалистов выявить роль невербальных средств в смысловом восприятии текста [Головина, 1986; Зуев, 1981; Сорокин, Тарасов, 1990]. Наличие негомогенных частей в структуре креолизованного текста рассматривается исследователями как один из способов создания коммуникативного напряжения как в текстовом пространстве, так и в пространстве воспринимающего этот текст. Так напр., Э. А. Лазарева называет подобный прием «наложения текста одного смыслового поля на текст с другим смысловым полем» [Лазарева, Горина 2003: 103] приемом когнитивного столкновения, эффективно используемым в качестве средства воздействия и манипулирования сознанием адресата.

Исходным в психолингвистических исследованиях креолизованного текста, как отмечает Анисимова Е.Е. [2003:13], является положение о том, что информация, воспринимаемая по разным каналам, в том числе вербальная и невербальная, интегрируется и перерабатывается человеком в едином универсально-предметном коде мышления [Жинкин 1982]. При этом на уровне глубинной семантики языка не существует принципиальной разницы между семантикой данных знаков.

Тем не менее, специальные исследования свидетельствуют о том, что вербально и невербально передаваемая информация воспринимается адресатом по-разному. Так, информация, содержащаяся непосредственно в текстовом сообщении, усваивается лишь на 7%, голосовые характеристики способствуют усвоению 38% информации, тогда как наличие визуального образа заметно повышает восприятие – до 55% [Бойко 2006]. При этом важно отметить, что если вербально представленная информация влияет на сознание индивида рациональным

путём, то использование различных паралингвистических средств автоматически переводит восприятие на подсознательный уровень. Кроме того, вербальные средства передают информацию преимущественно о внешнем мире, в то время как невербальные – об эмоциональной стороне коммуникации [Стернин 2003]. С другой стороны, исследователи (Головина Л.В.) отмечают, что присоединение к вербальному тексту изображения приводит к уменьшению его эмоциональности, снижает его информативность и убедительность. Причина этого заложена в психологических особенностях восприятия креолизованного текста: реципиент, воспринимающий текст без изображения, приписывает этому тексту такие характеристики, которые он извлекает не только из самого текста, но также из своей концептуальной системы, из своей картины мира. Добавление изображения накладывает ограничения на восприятие текста, ведет к перестройке смыслового кода реципиента в сторону сужения его концептуального поля, при этом возможности интерпретации текста уменьшаются [цит. по: Анисимова 2003: 13]. При всей крайности данной точки зрения, несомненным является то, что креолизованный текст как текст интегрированный, «сложно построенный» воспринимается в процессе двойного декодирования заложенной в нем информации: при извлечении концепта изображения происходит его «наложение» на концепт вербального текста, взаимодействие двух концептов приводит к созданию единого общего концепта (смысла) креолизованного текста [Головина 1986]. «Дискурсы разных текстов смешиваются..., в результате чего адресат воспринимает сразу двойную информацию: очевидный смысл прямо выраженного дискурса и суть скрытого дискурса, направленного на достижение истинных целей автора», – отмечает Э. А. Лазарева [Лазарева, Горина 2003: 103].

Подводя некий итог на данном этапе исследования отметим, что креолизованный текст длительное время не привлекал к себе особого и всеобщего внимания лингвистов, традиционно узкий подход к данному понятию, приводил к тому, что анализ креолизованных текстов сводился к отдельным наблюдениям за применением изображения в книгоиздательстве, рекламе, СМИ [Герчук, 1984; Кузнецова, 1984; Большинова, 1986 и др.]. Широкое понимание текста при коммуникативно-прагматическом подходе привело к изменению статуса креолизованных текстов в лингвистике, на передний план выдвигается исследование их текстовой природы. Отправной точкой подобных научных работ является положение о принципиальном сходстве креолизованных и собственно вербальных текстов, следовательно, те и другие обладают одинаковой базой текстовых категорий. Данное положение максимально «развязало руки» исследователям, расширило набор допустимого «инструментария» для анализа креолизованного текста. В современных работах, посвящен-

ных тому или иному виду креолизованных текстов, ученые активно используются традиционные методы анализа вербального текста: описание основных текстовых категорий и специфики их проявления (в данном направлении активно развивается волгоградская научная школа), описание когнитивных и концептуальных основ (уральская школа) и т.д. Снятие данного ограничения позволило также расширить объем самого понятия, а значит и круг анализируемых явлений, так в последние годы в рамках волгоградской школы активно разрабатывается термин «кинотекст», его анализу и будет посвящена наша следующая статья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алексеев Ю.Г. Восприятие креолизованного текста иноязычным реципиентом (к постановке проблемы) // Проблемы прикладной лингвистики. Матер. семинара. Ч.1. Пенза, 1999. С.8-10;
- Алексеев Ю.Г. Креолизованный текст в межкультурной коммуникации (на матер. этнопсихолингвистического эксперимента) // Уч. зап. УлГУ. Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики. Сер. Лингвистика. Вып.1(6). Ульяновск: УлГУ, 2001. С.58-65.
- Алексеева В. В. Что такое искусство. М., 1979
- Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов): учеб. пособие для студ. фак. иностр. яз. вузов. – М.: Academia, 2003. – 128 с.
- Анисимова Е.Е. О целостности и связности креолизованного текста / К постановке проблемы // Филологические науки. – 1996. - № 5.
- Арнольд И.В. Графические стилистические средства // Иностранная языки в школе. – 1973 - №3
- Баева Г.В. Семантико-прагматические особенности вербальных и невербальных знаков в рекламном дискурсе: на материале немецкой пресс-рекламы: автореферат дисс к.ф.н. – Тамбов, 2000
- Баскаков Э. Биография гербов, флагов, гимнов зарубежных стран. – М., 1967
- Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. М., 2003. 174 с.
- Бернацкая А. А. К проблеме “креолизации” текста: история и современное состояние // Речевое общение: Специализированный вестник / Краснояр. Гос. ун-т; Под редакцией А.П. Сковородникова. Вып. 3 (11). Красноярск, 2000.
- Бойко М.А. Функциональный анализ средств создания образа страны (на материале немецких политических креолизованных текстов) (10.02.04 – Германские языки): Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук – Воронеж – 2006
- Большаинова Л.С. Вербальное сопровождение фотоизображения в современной британской прессе: Содержание и структура. Автореф. дисс. ... канд. фил. наук. Л., 1986.
- Буркова П.П. Текст кулинарного рецепта как лингвизуальный феномен // Лингвистическое образование: профессия, миссия, карьера: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (25-27 сентября 2003 г.). – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2003.
- Валуенко Б.В. Выразительные средства набора в книге. – М., 1976
- Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.
- Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. – М., 1984.
- Герчук Ю.Я. Художественные миры книги. М., 1989.
- Головина Л. В. Влияние иконических и вербальных знаков при смысловом восприятии текста. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1986
- Гришаева Л.И. Креолизованные тексты – тексты XXI века? // Возвращение к истокам французской культуры. Вестник ВГУ, Серия лингвистика и межкультурная коммуникация, 2003, № 2 /107
- Демосфенова Г. Советский политический плакат. М., 1962
- Диброва Е.И. Пространство текста // Категоризация мира: Пространство и время. М., 1997. С. 34-36.
- Дмитриева Н.А. Изображение и слово. М., 1962.
- Добкин С.Ф. Оформление книги: редактору и автору. – М., 1985
- Дробышева И.М. Текст как теоретическое понятие и научная проблема // Server\konf_in\li\cultural_values\instructions_r.htm
- Ейгер Г.В., Юхт В.Л. К построению типологии текстов // Лингвистика текста: Материалы научной конференции при МГПИИЯ им. М.Тореза. Ч.1. М., 1974.
- Женнет Ж. Изнанка знаков // Женефф Женнет. Работы по поэтике. Фигуры. Т.1.М., 1998.
- Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М., 1982
- Зенкова А. Ю. Визуальная метафора в социально-политическом дискурсе: методологический аспект // Многообразие политического дискурса. Екатеринбург, 2004. С. 39 – 54.
- Зуев Д.Д. Структура современного школьного учебника и место в ней внетекстовых компонентов: автореф. ... к.ф.н. – М., 1981
- Иванова Е.Б. Художественный видеofilm как текст и его категории // Языковая личность: проблемы креативной семантики. К 70-летию профессора И.В. Сентенберг: Сб. науч. тр. / ВГПУ. √ Волгоград: Перемена, 2000. С. 200-206.
- Иванова Е.Б. Художественный видеofilm как тип текста // Языковая личность: проблемы межкультурного общения: Тез. науч. конф., посвящ. 50-летию фак-та иностр. яз. Волгоград, 3-4 февр. 2000 г. / ВГПУ. √ Волгоград: Перемена, 2000. С. 30-31.
- Каменская О.Л. Лингвистика на пороге XXI века // Лингвистические маргиналии. М., 1996.
- Кашкин В.Б. Сопоставительные исследования Дискурса // Концептуальное пространство языка. – Тамбов: ТГУ, 2005. С.337-353.
- Кирилов А.Г. Факторы воздействия новостей в политических нарративах на адресата // Обучение иностранным языкам: настоящее и будущее: Сб. материалов и тезисов докладов XII Международной научно-практической конференции. – Самара, 2006.
- Клюканов И. Э. Структура и функции параграфемных элементов текста. Автореф. ... канд. филол. наук. Саратов, 1983.
- Кобрин Р.Ю. Лингвистика в картографии // Прикладное языкознание: Учебник. Отв. Ред. А.С. Герд. СПб., 1996.
- Ковелина Т. А. Образ врача в культуре // автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук // 09.0013 – религиоведение, философская антропология, философия культуры. // Ростов-на-Дону – 2006
- Колеватов В.А. Социальная память и познание. – М., 1984
- Кондаков И.В. Цвет в природе и искусстве: Методология вопроса // Художественное творчество. Вопросы и комплексное изучение. – Л., 1990
- Костенко Г.Т. Стилистические функции графических средств в языке английской рекламы // Проблемы стилистического анализа текста. – Иркутск, 1979
- Кузнецова Г.Н. Структурные и семантические особенности языка американской рекламы: прагматика рекламного текста: автореф. ... к.ф.н. – М., 1984
- Лазарева Э.А. Рекламный дискурс: стратегии и тактики // Лингвистика: Бюллетень Урал.лингв.общества. Екатеринбург, 2003. Т. 9
- Лазарева Э.А., Горина Е.В. Использование приема когнитивного столкновения в политическом дискурсе сми // Лингвистика 11 с. 103-112 – Екатеринбург, 2003
- Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. – М.: “Языки русской культуры”; 1999. – 464 с.
- Лотман Ю.М. Текст в тексте // Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 567. Текст в тексте (Труды по знаковым системам Николаева Т.М. Текст // Русский язык. Энциклопедия,

Изд. 2. М., 1997. С. 555-556.

Пэдхем Ч., Сондерс Дж. Восприятие света и цвета. – М., 1978

Плотников Б.А. Аverbальные формы письменного текста и их содержание // Б.А. Плотников. О форме и содержании в языке. Минск, 1989.

Пойманова О.В. Семантическое пространство видеовербального текста. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1997.

Проблемы текстуальной лингвистики / Под ред. В.А. Бухбиндера. – Киев: Вища школа, 1983. – 175 с.

Протченко А. В. Типологические и функционально-стилистические характеристики англоязычного путеводителя (10.02.04 - германские языки): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Самара 2006

Романовская О.Е. Креолизованный текст и его восприятие реципиентом, принадлежащим к другой лингвокультурной общности // Ученые записки Ульяновского государственного университета. Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики. Сер. Лингвистика / Вып. 2 (5). / Под общ. ред. д. филол. н., проф. А.И. Фефилова.- Ульяновск: УлГУ, 2000. С. 53-57.

Сахарный Л.В. Тексты-примитивы и закономерности их порождения // Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи. М., 1991. С. 221-237.

Сергеева О.В. Наружная политическая реклама в эпоху электронных медиа // Актуальные проблемы теории коммуникации. СПб. - Изд-во СПбГПУ, 2004. – С. 220-225.

Сигал К.Я. Проблемы иконичности в языке (обзор литературы) // Вопр. языкознания. 1997. №6.

Сидоров А.А. Книга и жизнь. – М., 1972

Слышкин Г.Г., Ефремова М.А. Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа). – М.: Водолей Publishers, 2004 – 153 с.

Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция // Оптимизация речевого воздействия. М., 1990.

Тесля М. Е. По законам восприятия. М., 1969

Фатеева Н.А. Типология интертекстуальных элементов и связей в художественной речи // Известия АН СЛЯ. 1998. Т.57. № 5.

Чаплыгина Ю.С. Текстовые категории лингвовизуального феномена карикатуры

Чудакова Н.М. Концептуальная область «Неживая природа» как источник метафорической экспансии в дискурсе российских средств массовой информации (2000 – 2004 гг.) // Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук (10. 02. 01 – русский язык) – Екатеринбург, 2005

Шинкаренко М.Б. Метафорическое моделирование художественного мира в дискурсе русской рок-поэзии: дисс... к.ф.н. – Екатеринбург, 2005

Якобсон Р.О. Язык в отношении к другим системам коммуникации // Р.О. Якобсон. Избранные работы. М., 1985.

© Ворошилова М.Б., 2007

Зых А., Червиньски П.

Катовице, Польша

СЛОВА И ФОРМЫ ГРУППЫ РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В РУССКО-ПОЛЬСКОМ УЗУАЛЬНОМ И СЕМАНТИЧЕСКОМ СОПОСТАВЛЕНИИ

Abstract

The article is devoted to the comparative analysis of Russian and Polish lexems, naming people by the kind of relationship (mother, father, brother, sister etc.), from the point of view of the subjective estimation forms. This material looks not symmetrically and not always synonymous, causing considerable difficulties for non native-speakers from the point of view of relevance of the appropriate forms using. The complex of parameters of the description is allocated: 1) word-formation and usual-stylistic loading of formants; 2) absence or presence of nominative differentiations (дядя / wuj, stryj; невестка / synowa, bratowa; племянник /

siostrzeniec, brataniec); 3) distinctions of stylistic markers – usual spheres; 4) subsequent semantics (use of investigated words as designations not of the relatives). The parameters correspond to the aspects cooperating among themselves –formants, nomination, usus, semantics – and assume at the following stages, derivative steps, specification and expansion with reference to a level of morphemes' structure compound.

Слова, называющие людей по виду семейно-родственных связей (*мать, отец, брат, сестра* и т.п.), также как и личные имена, с точки зрения образования форм субъективной оценки характеризуются значительной продуктивностью. Однако по-разному, не симметрично и не всегда однозначно в отношении используемых при их образовании формантов. Немалую трудность поэтому для не носителя языка составляют не только эта их непоследовательность и неоднозначность, но и само производство таких субъективно-оценочных форм, а также их речевое использование, представляющие собой для носителей данного языка сферу не осознаваемого автоматизма и имплицитных компонентов культурологической информации [Зиновьева 1999, Борисова 1999]. Какие формы возможны, какие из них и в какой мере активны, какие стилистически и/ли сферой употребления ограничены и в каком отношении? Когда, в каких коммуникативных условиях, при каком обращении или использовании и с какой субъективно-оценочной характеристикой уместна та или иная из допустимых форм? Какую окраску и какой тип субъективного отношения проецирует тот или иной экспрессивно-оценочный или стилистически-модификационный суффикс и отчего может зависеть его не всегда однозначная роль? Эти и другие вопросы, требующие обращения к фоновым знаниям и объяснения ряда культурных и этикетных особенностей и стереотипов, свойственных данному языку, неизбежно могут возникнуть при его обучении и в процессе его речевого использования. Некоторые сведения по этой теме можно найти в статьях и научных работах по истории языка и диалектологии. Интересные данные, касающиеся названий степени родства и родственных отношений, а также создаваемых от них экспрессивных формобразований для польского языка содержат работы М. Шимчака [1966, 1969], П. Смочиньского [1962], С. Вархола [1984], Б. Креи [2002а, 2002б]. Однако чаще эти проблемы оговаривают обычно при описании отдельных формантов. При этом грамматики, словари, учебная литература не содержат ответа на приведенные нами вопросы. Напрасно искать по этим источникам соответствующих субъективно-оценочных форм в их более или менее полном объеме. Словари и грамматики эти формы фиксируют непоследовательно и только самые распространенные, поскольку это явления в первую очередь речевого узуса, а также потенциальной и субъективно-индивидуальной сферы языкового использования. Активность их к тому же обусловлена коммуникативно семейно-бытовой сферой [Сухих, Зеленская 1997, 1998], относясь к коммуникативным

событиям внутрисемейного типа общения [Борисова 2005: 15], с которыми не носителям языка, если и приходится сталкиваться, то обычно случайно и спорадически, с позиции внешнего наблюдателя и редко участника и изнутри. Собственные внутренние привычки, узуса своего языка, накладываясь на другой, иностранный, мешают понять и увидеть его речевую и экспрессивно-модификационную специфику. Интерференция в этой сфере, не наблюдаемой, не выражаемой, не осознаваемой, осваиваемой на самых ранних этапах овладения родным языком и обусловленной культурологически, неизбежно поэтому очень сильна и активна. Конфронтативное представление в связи с этим данного материала имеет особый смысл, позволяя выделить в нем то существенное, что без сравнения и сопоставления, могло бы быть неощутимым и незаметным. Особый интерес в этом смысле может представлять сопоставление двух близкородственных языков, строящих свои слово- и формообразовательные проекции на общем наборе корней и формантов, но по-разному их аранжирующих.

Неоднозначный и показательный материал для сравнения представляют собой уже сами исходные формы рассматриваемых обозначений, отображающие внутреннюю симметрично-асимметричную двойственность русского и польского отражений, воплощаемую также и далее, в дериватах. Для исходных же форм, в первую очередь и, видимо, не случайно, – в отношении женских обозначений. Так, если соотношения *отец / ojciec, сын / syn, брат / brat, внук / wnuk, внучка / wnuczka, дед / dziad, зять / zięć, сестра / siostra, тётка / ciotka, тещь / teść, тёща / teściowa* можно определять как симметрию, то *мать / matka и дочь / córka*, с одной стороны, а *бабка / babka*, с другой, уже требуют объяснений в отношении различий форманта и стилистических маркеров – офиц. и неофиц., разг., неодинаково себя отображающих в русском и польском. К этому необходимо добавить асимметрию в именах типа *дядя / wuj, стрый / stryj* (одно русское слово, *дядя*, и два польских – *wuj* ‘дядя по матери’, *stryj* ‘по отцу’) *невестка / synowa* ‘жена сына’, *bratowa* ‘жена брата’, *племянник / siostrzeniec* ‘сын сестры’, *brataniec* ‘сын брата’, *племянница / siostrzenica* ‘дочь сестры’, *bratanica* ‘дочь брата’, с одной стороны, и *свёкор, тещь / teść; свекровь, тёща / teściowa*, с другой, а также проблему вторых значений (названия не родственников), равно значимых, но не полностью совпадающих в отношении семантики и употребления для русского и польского языков, прежде всего для таких слов, как *брат / brat, дед / dziad, тётка / ciotka, дядя / wuj, бабка / babka*.

Таким образом, на первом этапе анализа выделяется следующий комплекс параметров описания обозначенных слов: 1) словообразовательная и узуально-стилистическая нагрузка формантов; 2) отсутствие либо наличие номинативных дифференциаций линии мужского и женского (*дядя / wuj, stryj*), а также прямого и бокового (*невестка / synowa, bratowa; племянник /*

siostrzeniec, brataniec); 3) различия стилистических маркеров – узуальных сфер; 4) последующая и связанно-обусловленная семантика (использование изучаемых слов в качестве обращений и обозначений не родственников). Параметры соответствуют аспектам, взаимодействующим между собой в отношении каждого – форманты, номинация, узус, семантика – и предполагают на следующих этапах, деривативных шагах, для себя уточнения и расширения применительно к уровню усложнения состава морфем.

Перейдем теперь к рассмотрению обозначенного парно-непарного материала, уточнив ряд намеченных положений. Прежде всего, это различная, точнее не полностью совпадающая в своих результатах, в определенном смысле асимметричная, роль суффикса *-к- / -k-*: русскому нейтральному несуффиксальному *мать* соответствует польское нейтральное суффиксальное *matka*, также как русскому *дочь* – польское *córka*. И в этом месте, впрочем, как далее и в других, можно отметить внутреннюю тенденцию к симметрично-ассимметричному расхождению, требующему в своих деривативных и стилистических соотношениях комментария для русского и для польского языков, в чем-то имеющих общее, но различающихся затем в продолжениях и результатах.

Обратим внимание прежде всего на суффикс *-к- / -k-* с его наличием либо отсутствием в отношении женских названий по вертикали (исходные и нейтральные) и горизонтали (последующие, хотя не всегда производные, но не нейтральные):

<i>мать – matka</i> (устар.)	<i>matka – mać</i> (вульг.)
<i>дочь – дочка</i> (разг.)	<i>córka – córa</i> (книжн.)
<i>бабка – баба</i> (разг.-сниж.)	<i>babka – baba</i> (разг.-сниж.)
<i>тётка – тётя</i> (неофиц.)	
<i>внучка – внука</i> (устар.)	<i>ciotka – ciocia</i> (разг.)
<i>невестка – невеста</i> (др. знач.)	<i>wnuczka – wnuka</i> (устар.)
	<i>0 – niewiasta</i> (др. знач., устар.)

Польский язык, тем самым, последовательно использовал суффикс *-к-* для образований исходно-нейтральных, вытеснив несуффиксальные формы в сферу узуальных модификаций. В то время как в русском подобной последовательности нет: центральные женские обозначения – *мать* и *дочь* – несуффиксальны, при наличии общей тенденции исходных нейтральных образований с суффиксом *-к-* для отношений последующих, чересступенчатых (*бабка, внучка*), боковых (*тётка*) и свойственных (*невестка*). Центр, тем самым, женская вертикаль отношения *мать – дочь* оказываются выделенными и акцентированными, что в первую очередь касается слова *мать*, суффиксального образования с *-к-* в том же значении в современном языке не предполагающего (Отмечаемый словарями русского языка дериват *matka*, как синоним существительного *мать*, характеризуется как обл. или прост.).

Сразу же возникает проблема легко оборачивающейся и с трудом различимой в использовании самими носителями номинативной

двойственности, затрагивающей неизбежно вопрос о роли суффикса *-k-* / *-k-*. Проблема касается слов *babka* / *babka* и *mętka* / *ciotka*. Свойственная им узуальная двойственность симметрично отображается в такой же, хотя и несколько модифицированной, двойственности слов *ded* / *dziad* и, возможно, отчасти русского дядя. Двойственность эта связана с тем, что слова с суффиксом *-k-* / *-k-* для *babka* / *babka* и *mętka* / *ciotka* закрепляются за узуальной сферой, определяемой по словарям как официальная и неофициальная и/ли разговорная, предполагая рядом стоящие и определяемые как тоже неофициальные и/ли разговорные формы *babuška* / *babcia* и *mętja* / *ciocia*. Особенность данных номинативных форм состоит в том, что характеризующиеся как основные и исходные *k*-суффиксальные *babka* / *babka* и *mętka* / *ciotka* не могут быть нейтрально использованы в присутствии или в обращении к определяемому этими словами лицу. Такое их употребление было бы воспринято как грубо невежливое (В словаре В. Дорошевского (SJP Dor.) можно найти пример, свидетельствующий о том, что использование слова *babka* для польского языка в ситуации непосредственного контакта не считалось чем-то несообразным: *A pocadujże Kazek babkę. To babka, matka tatusia* / Rus. *Wiatr 119* / *Ну, поцелуй же, Казек, бабуку. Это бабука, мать папы*. Так звучало бы данное предложение в переводе, заметим, не слишком привычно для русского языка. При этом уже самой форму *tatus* от *tata* (*nana*) передать узуальным и экспрессивно-эмоциональным эквивалентом на русский едва возможно: *папуся, папуля, папочка* – не те оттенки, не то отношение, совсем не то. Во многом это также отличие и этикетно-культурологическое). Использование их нормально предполагает необходимую отстраненность и отвлеченность, т.е. неконтактность, речевой ситуации, что, видимо, и нашло свое отражение в словарях как помета офиц., неофиц., разг. Контактное же употребление таких форм, как *babuška* / *babcia*, *mętja* / *ciocia* (в присутствии, в обращении или в разговоре о них), определяется как неофиц. и разг.

Не было бы, тем самым, преувеличением сказать, что нейтральных обозначений в указанных случаях нет, есть коррелятивная номинативная пара форм (*babka* – *babuška* / *babka* – *babcia*; *mętka* – *mętja* / *ciotka* – *ciocia*), употребление каждой из которых регулируется показателем коммуникативной отстраненности либо близости, т.е. узуальным модусом.

В польском языке, однако, при указанном сходстве, все это выглядит несколько по-другому, попадая в иные соотношения в связи с узуальной и стилистической ролью *k*-суффиксальных образований. Прежде всего потому, что большинство существительных женского рода, входящих в состав оговариваемой группы и признаваемых в современном языке за основные, т.е. никак не окрашенные, содержит в своей структуре формант *-k-* (*babka*, *matka*, *ciotka*, *córka*). Слова, не имеющие суффикса, либо вышли из употребления в интересующем нас значении (напр. *mac*, выступающее в современном языке обычно как компонент вульгаризма с

сильной эмоциональной окраской: *psia mac*; в значении ‘мать’ оно сохраняется только в некоторых пословицах: *Jaka mac, taka nac* ‘какова мать, таковы и дети’; *nac* означает ‘ботва’), либо являются вторичными образованиями по отношению к словам с суффиксом *-k-*, появившимися вследствие обратной деривации, как, напр., слово *ciota* (разг.-сниж. ‘женщина отталкивающего вида либо злобная’; пренебр. ‘гомосексуалист’) и характеризующимися обычно высокой степенью пейоративной окраски, при этом значение, характеризующее степень родства, не является для них основным. В словаре под ред. Х. Згулковой (PSWPZg.) существительное *ciota* имеет 7 значений, среди которых то, которое указывает на степень родства, определяется как 6; слово в этом значении сопровождается пометой редкое, пренебрежительное. В словаре под ред. Б. Дуная (SWJPDun.) это значение не встречается.

К сказанному необходимо добавить возникающую для *babka* – *babka* – *babuška* / *baba* – *babka* – *babcia* словообразовательно-номинативную тройственность, получающую не совсем симметричное воплощение в формах (только для русского языка) *ded* – *dedka* – *deduška*, с соотношением 0 / *-k-* / *-ušk-* и 0 / *-k-* / *-cia*. Несуффиксальная форма предполагает обозначением для *baba* / *baba* ‘замужняя деревенская женщина’ / ‘старая женщина’ [Черных 1999: I, 62], т.е. в первом определении – не родственница. Интересующее нас значение ‘мать отца или матери’ в древнерусском языке определяется как второе, т.е. последующее [Срезневский 1958: I, 35]. То же отмечает для XIX в. и В.И. Даль, замечая «более уптрб. умал. бабука, бабушка» [Даль 1955: I, 32]. В польском языке процесс вытеснения существительного *baba* в данном значении начинается в XIV в. [Boryś 2005: 19], его место занимает первоначально деминутивное образование с суффиксом *-k-* – *babka*.

В настоящее время в обоих сравниваемых языках немотивированные исходные *baba*, *baba* – слова многозначные. Среди словарей современного польского языка значение ‘мать отца либо матери’ отмечает для существительного *baba* (как четвертое) только словарь под ред. В. Дорошевского (SJP Dor.). Нет его при этом в новейших лексикографических источниках – ни в словаре под ред. Б. Дуная (SWJPDun.), ни в словаре под ред. Х. Згулковой (PSWPZg.). В современном русском языке это значение оттесняется еще далее, определяясь, в частности, в *Словаре русского языка в 4-х тт.* (МАС) уже как пятое, с дополнительным ограничением «обычно с именем собственным, разг., *баба Маня*» (МАС: I, 53).

И хотя в словарях современного польского и русского языков значение ‘мать отца или матери’ последовательно признается для существительных *babka*, *babka* за основное, наблюдается неединообразие при характеристике эмоциональной окраски названных слов. В польских источниках существительное *babka* большинст-

вом лексикографов определяется как нейтральное и обычно дается без каких-либо стилистических сопровождений. Только в словаре В. Дорошевского (SJPDor.) слово это дается как синоним существительного *baba* в значении 'мать отца или матери'. В словаре под ред. Х. Згулковой (PSWPZg.) *babka*, также как *babcia*, дается без помет стилистического характера. И то и другое слово определяются как 'мать (реже тетка) отца или матери по отношению к их детям'. В то время как авторы *Innego słownika języka polskiego* (InSt.) определяют *babka* как несколько офиц., синонимичное слову *babcia*. Суффиксальная форма с *-k-* для *бабка*, закрепляясь в современном русском языке за значением 'мать отца или матери' как первое, характеризуется, однако, при этом при этом неоднозначно. В *Словаре русского языка в 4-х тт.* (МАС) с отсылкой к *бабушка*, как основному, но без пометы. В *Большом толковом словаре русского языка* под ред. С.А. Кузнецова (БТС) – также с такой отсылкой, однако с пометой для *бабка* как разг.-сниж. В *Тематическом словаре русского языка* (ТС) *бабка* толкуется как основная форма, с пометами офиц. и разг., а *бабушка* – как неофиц., что, видимо, следует принять как более точное определение.

И, наконец, третья форма *бабушка*, как следует из уже сказанного, для современного русского языка может быть определена в интересующем нас значении как основная, исходная (первое значение по всем словарям), но неофиц., разг., т.е. не нейтральная, коррелирующая с офиц. и разг. *бабка*. Несколько по-другому дело обстоит в польском языке. Существительное *babcia*, как правило, определяется как производное с оттенком ласкательности. Подобную трактовку можно найти, в частности, у В. Дорошевского, Б. Дуная, М. Шимчака. В то время как в словаре под ред. Х. Згулковой определение слов *babka* и *babcia* полностью совпадают. Нет здесь также помет, свидетельствующих об их эмоционально-экспрессивной окраске. В InSt. существительное *babka* рассматривается как офиц., в то время как совпадающее с ним по значению *babcia* помет не имеет, что дает возможность судить, что оно признается авторами как экспрессивно нейтральное, отличающееся только сферой употребления.

В связи со сказанным о номинативно-словообразовательной тройственности для *баба – бабушка / baba – babka – babcia* возникает вопрос о соотношении *0 / -k- / -ушк-* для русского языка и *0 / -k- / -cia* для польского в данном конкретном случае и при возможном его расширении, скажем, до словообразовательного типа, хотя бы и не без необходимых ограничений и оговорок: *дочь – дочка – дочушка, тётя – тётка – тётушка, мать – матка – матушка, дядя – дядька – дядюшка, дед – дедка – дедушка, зять – зятка – зятюшка, свекровь – свекровка – свекровушка, свёкор – свекорко – свекорушко, теща – тещка – тещюшка, тёща – тёщка – тёщушка.*

Подобные соотношения польским лексемам анализируемой группы в целом не свойственны. Даже в случае такой триады, как *baba – babka – babcia*, как было показано ранее, отношения между компонентами не равнозначны отношениям, наблюдаемым на аналогичном русскоязычном материале. Пытаясь уложить коррелятивные тройки согласно модели *0 / -k- / -cia* для существительных, обозначающих лиц женского пола, связанных отношениями родства, можно было бы получить такие: *baba – babka – babcia; mama – mamka – mamcia; żona – żonka – żoncia*. Соответствующие триады для мужских соответствий выглядели бы следующим образом: *wuj – wujek – wujcio; stryj – stryjek – stryjcio, syn – synek – syncio*. Таким образом, они не охватывают всей тематической группы. Нет здесь дериватов от *matka, ciotka, siostra, teściowa, ojciec, zięć, teść* и т.п. Большой регулярностью при образовании производных оговариваемой группы характеризуется модель, в состав которой входят дериваты с формантом *-eczka (mać) mama – matka – mateczka, wujna – wujenka – wujeneczka, stryjna – stryjenka – stryjeneczka, córa – córka – córeczka*. Для существительных мужского рода это были бы формы с суффиксами *-aszek, -iszek* *mama wuj – wujek – wujaszek, stryj – stryjek – stryjaszek, brat – bratek – braciszek*. Следует обратить также внимание на модель *0 / -k- / -usia/-uś* для женского рода и *0 / -k- / -uś* для мужского: *baba – babka – babusia/ babuś, (mać) – matka – matusia/ matuś, córa – córka – córusia/ córuś, mama – mamka – mamusia/ mamuś, wnuka – wnuczka – wnusia /wnuczuś, ciocia – ciotka – ciotusia/ ciotuş, dziad – dziadek – dziadziuś, tata – tatko/ tatek – tatuś, wnuk – wnuczek – wnuczuś, syn – synek – synuś; здесь также ojciec – ojczuś*. И нет при этом образований от *siostra, wuj, teść* и т.п. Следует подчеркнуть, что в дериватах *mamusia, dziadziuś, tatuś* экспрессивность, передаваемая формантом, отчасти стерта. По всей вероятности это следствие частого употребления этих форм, так же, как и в отношении *babcia*.

Как можно заметить, трудно определить для польского языка модель, подобную русскому, которая могла бы охватывать почти все единицы (или немалую их часть), входящие в состав интересующей нас тематической группы.

Решение вопроса о соотношении формантов, если бы оказалось возможным, предполагало бы выводом по крайней мере следующие два следствия, интересные и показательные в отношении семантики выбранной тематической группы в ее номинативных проекциях (названия лиц по родственным связям), семантики в определенном смысле внутренней, имплицитной, скрытой, но потому и проявляющей себя на морфемном слово- и словообразовательном уровне: 1) какую, если не только формальную, опирающуюся на тип основы, подгруппу составляют слова, способные объединяться тройственным соотношением *0 / -k- / -ушк-* и *0 / -k- / -cia* или *0 / -k- / -usia/-uś*, отделяясь от тех, которые подобным соотношением не охватываются (*отец, сын, брат, внук, внучка, сестра, племянник,*

племянница; *ojciec, siostra, wuj, teść* и пр.); 2) каким значением обладают словообразовательные форманты *o / -k- / -ушк-* и *o / -k- / -cia / ... -usia / -uś* применительно к *баба – бабка – бабушка / baba – babka – babcia* и той подгруппе, в которой они себя проявляют в соотношениях (*дочь, тётя, мать* и т.п.). Указанные два следствия могли бы дать повод для рассмотрения скрытых аспектов семантики родственных отношений в русском и польском, с учетом отличий и сходств, а также дать ключ к рассмотрению других и последующих образований, суффиксальных и не суффиксальных, в данной группе, с другими суффиксами и от других основ, возможно также с определением и выводом для значений словообразовательных формантов, воспринимаемых как субъективно-оценочные и модификационные.

Заслуживает внимания при таком рассмотрении обращение к ближним и коррелирующим значениям анализируемых номинативно-словообразовательных форм. Для *баба* это были бы 'деревенская (обычно замужняя) женщина; любая женщина; неопрятная женщина; жена, интимный партнер мужчины; бабушка (в речи детей)' (см. БТС), 'слабый, нерешительный мужчина, мальчик' (МАС). *Бабка* – 'бабушка; знахарка, ворожея' (БТС), 'старая женщина, старуха; повивальная бабка' (МАС). *Бабушка* – 'мать отца или матери; пожилая родственница; старая, пожилая женщина' (БТС), 'старая женщина, старуха' (МАС). У В.И. Даля и у И.И. Срезневского (для *баба*, двух других форм у Срезневского нет) даются те же значения, только в другом порядке. У Даля для *баба* сема 'замужняя' выносится на первое место, а затем только следует 'низших сословий', у Срезневского она присутствует как единственная при 'женщина'. И, наконец, еще одна немаловажная деталь, все три слова во всех своих возможных обозначениях лиц – и *баба*, и *бабка*, и *бабушка* – узуально закреплены и/ли эмоционально окрашены.

Аналогичные польские существительные имеют значения подобные, хотя и в этом случае наблюдаются некоторые расхождения между двумя языками: во-первых, значения эти далеко не всегда совпадают, а во-вторых, по-разному может распределяться акцент между ними. Известные расхождения можно заметить уже в семантической структуре слов *baba* и *баба*. В словаре С.Б. Линде (SJPLin.) при описании данного существительного, для которого значение 'мать отца или матери' не является основным, обращается прежде всего внимание на возраст: *baba* – это, в первую очередь, женщина старая. Словом этим определяется также нищенка (*baba kościelna / церковная баба*), торговка, лотошница (*kupna baba*), сводница, акушерка, т.е., как и в русском, обращается внимание на ее низкий общественный статус. Помимо этого, *бабой* называют также замужнюю женщину. В этом последнем значении существительное *baba* сопровождается пометой фамильярное

(*rubaszny*). В современном польском языке на первый план выносится значение 'любая женщина, обычно зрелого возраста, но также и девушка (шутливо, насмешливо, фамильярно)'; в то время как значение 'деревенская (обычно замужняя) женщина', отмечаемое в словарях русского языка как первое, в польских источниках фиксируется как последующее. Так же как и в русском языке, рассматриваемому существительному приписываются значения 'жена или любовница' (InSt.), 'старая женщина'; 'женственный мужчина, юноша' (InSt.; PWSPZg.; SWJPDun.). В отличие от русского языка среди значений этого существительного нет такого, как 'неопрятная женщина'. Нет также отнесения *baba* к речи детей, как формы синонимичной *babcia*, а в новейших источниках отсутствует также значение, указывающее на родственные отношения, т.е. 'мать отца или матери'.

Как следует из словарей, семантическая структура польского существительного сложнее. В словаре польского языка под ред. В. Дорошевского отмечается 14 значений, приписываемых слову *baba*, среди которых только первых 4 можно признать за совпадающие в обоих рассматриваемых языках: 1. фам. и пренебр. 'женщина, жена'; 2. 'старая женщина, старуха'; 3. 'замужняя женщина, крестьянка'; 4. 'мать, тетка матери или отца'. Кроме этого, в отличие от русского языка, данному слову приписываются также такие значения, как 5. 'торговка, лотошница (особенно привозящая товар из деревни)'; 6. 'ведьма, колдунья'; 7. 'нищенка, убогая, бедная женщина, живущая за счет подаяний либо мелких услуг при костеле, кладбище'; 8. 'деревенская женщина, помогающая при родах, лечущая травами либо нашептыванием, знахарка' (совр. поэт.). В новейших словарях современного польского языка значение 4. 'мать, тетка матери или отца' не встречается. Вместе с тем появляются такие, как 'шутливо о женщине немалых размеров'; 'деревенская женщина, обычно пожилого возраста, умеющая лечить травами, помогающая при родах; занимающаяся также нередко магией, заговариванием болезней и пр.' (SWJPDun.).

Как следует из сказанного, значение 'мать отца или матери', признаваемое в старопольском языке как основное для существительного *baba*, в современном языке оказалось практически вытесненным. На первый план выдвинулась сема 'женщина как таковая (не обязательно старая)', сопровождающаяся сильной пейоративно-аугментативной окраской, ср.: *Same baby uszą w szkole / В школе только бабы и учат; Baba za kierownicą / Баба за рулем*.

Среди многочисленных значений польского существительного *babka* (SJPDoг. –14; PWSPZg. – 10; SWJPDun. – 7) как основное, также как и в русском, определяется 'мать (реже тетка) отца или матери по отношению к их детям'. Общими для обоих языков можно также считать 'деревенская женщина, помогающая при родах, знахарка', 'старая женщина, как правило, деревен-

ская'. Необходимо, однако, отметить, что значения эти занимают не одинаковую позицию в словарных статьях. В отличие от русского языка, в польском они находятся несколько на периферии. Значение 'старая женщина, как правило, деревенская', к примеру, в словаре Б. Дуная отмечается как 4, в словаре Х. Згулковой – как 3, а значение 'деревенская женщина, помогающая при родах, знахарка' в обоих названных словарях стоит на последнем месте (у Дуная – 7, с пометой редкое; у Згулковой – 10, с пометой стар.). Кроме этого следует обратить внимание на характерное только для польского слова *babka* значение 'молодая, привлекательная женщина', являющееся как бы противоположностью определения 'старая женщина'. В этом случае можно отметить известное расширение семантики слова, с переходом его, с одной стороны, на женщин зрелого возраста, а с другой, на молодых, и к тому же еще привлекательных.

Среди трех сопоставляемых пар лексем только имена существительные *babcia* (Как замечает Р. Токарски, форма *babcia* появляется в языке относительно поздно. Впервые слово это с пометой ласкательное отмечается в *Словаре польского языка* под ред. В. Дорошевского (1958-1969)) и *бабушка* не отличаются семантически. В обоих языках они имеют значение 'мать (реже тетка) отца или матери по отношению к их детям' и 'старая женщина, старушка'.

Таким образом, отвлекаясь от видов, порядка, оттенков и экспрессивно-стилистических модуляций, можно было бы вывести следующую закономерность. Несуффиксальная форма *баба* / *baba* первоначально отмечает гендерную репликацию 'женщина в отношении к мужчине; женское при мужском, женское зрелое, репродуктивное, родившее и рождающее' (у Даля дается показательное в этом отношении примечание к *баба* «особ. после первых лет, когда она была *молодкой, молодлицей*»; *баба*, тем самым, фактически, родовая ступень женского полномочия в роде-социуме, видимо, после рождения у нее ребенка, детей). В дальнейшем у русского слова *баба* усиливается в первую очередь сема статуса (низкое и зависимое) – 'деревенская (обычно замужняя) женщина', у польского *baba* – эмотивность пейоративного отношения к женскому зрелому, не молодому. К-суффиксальная форма *бабка* / *babka* первоначально характеризует ролевое отношение родового общего – 'женское родовое знающее, приобщенное к родовому сакральному'; с дальнейшим развитием в русском в сторону в первую очередь возраста и сакрального приобщения (*бабка* – старая и ворожея), в польском – в сторону нейтрализации возраста и усиления семы эмотивной близости родового (отсюда возможность обозначения молодого и привлекательного объекта в *babka*). Суффиксальная форма с *-ушк-* / *-cia*, как в русском, так и в польском языках, отмечает ролевое отношение родового ближнего, внутреннего и непосредственно сво-

его, т.е. *бабушка* / *babcia* – это, в первую очередь, 'бабка своя'.

В связи со сказанным *-к-* / *-k-* можно бы интерпретировать как формант, отмечающий изменение статуса, вывод на следующую ступень – женского общего родового или последующего по линии рождающего и/или продуктивного, применительно к рассмотренным номинативным формам. И, соответственно, *-ушк-* (*-cia*), по-настоящему *-уш-* (не эквивалент ли польского *-uś?*), поскольку *-к-* (*-уш-* + *-к-*) уже проявил значение, – как формант, для ступени последующего (*мать матери, мать отца*), отмечающий смысл, значение близкого и своего (Ср. выведенную нами на основе фольклорного материала закономерность соотношений суффиксов *-к-* / *-ушк-* / *-еньк-*, с семантикой все того же близкого, своего (приобщенного) для *-ушк-* [Червинский 1987]).

Показательно, что указанные соотношения можно заметить и во фразеологии (паремиологии), ср.: *Кто бабке не внук*, т.е. всякий; *Не к лицу бабке девичьи пляски* или *У всякой бабки свои ухватки*, отмечающие отстраненность, всеобщность, с одной стороны, и *Хорошо тому жить, у кого бабушка ворожит; Хороша дочь Аннушка, коли хвалит мать да бабушка. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день*, предполагающие близость, освоенность, приобщенность, с другой. *Бабушка*, тем самым и прежде всего, своя, в то время как *бабка* – всякого (плюс к этому также внеконтактность / контактность *к-* и *ушк-* формы). Ср. польские обороты и выражения: *Baba z wozu koniом lżej* / *Баба с возу, кобыле легче*; *Gdzie diabeł nie może tam babę pośle* / *Где черт не может, там бабу пошлет*, в которых нет соотносительности с семейно-родственными связями; а также *Nie poznała babka swojej wnuczki w tańcu* ('о чем-либо неправдоподобном') / *Не узнала бабка своей внучки в танце*, *Moja babka jego babce podawała gruszki w czarce* / *Моя бабка его бабке подавала груши в шапке*, в которых указывается на отношения родства, а также *Jak babcię Kocham!* / *Как бабушку люблю!* (возглас), подчеркивающее известную близость и эмоциональную связь.

Тройственность соотношения *0* / *-к-* / *-ушк-* (*0* / *-к-* / *-cia*; *0* / *-к-* / *-usia/-uś*), если отвлечься от связи с семантикой корня (*баб-* рассмотренных слов для русского языка) и вывести на представление типа, опираясь на выбранный тематический материал (обозначения лиц по виду родственных отношений), можно было бы интерпретировать как первичную, изначальную, и как вторичную – появляющуюся по аналогии и не в полной мере отображающую первоначальный смысл. К первой группе, как представляется, следовало бы отнести из названных ранее *тётя* – *тётка* – *тётушка*, *мать* – *матка* – *матушка*, *дядя* – *дядька* – *дядюшка*, *свекровь* – *свекровка* – *свекровушка*, *свёкор* – *свекорко* – *свекорушко*; отчасти *дочь* – *дочка* – *дочушка*, *дед* – *дедка* – *дедушка*, *зять* – *зятька* – *зятюшка*; а также такие довольно яркие в указанном отношении примеры, как *батя* – *батька* – *батьюшка* и *мама* – *мамка* – *мамушка*; польск.: *mac* – *matka* – *mameczka*; *tata* – *tatka* – *mameczka*, *dziad* – *dziadek* –

dziadziusь, c6ra – c6rka – c6reczka, syn – synek – syneczek, brat – bratek – braciszek. Примерами для второй могли бы послужить соотношения *тесть – тестька – тестюшка, теща – тещка – тещушка*, сохраняющие некую общую для типа тенденцию, но выводящие ее как бы в плоскость различий не столько оттенков значения, сколько эмоциональной окрашенности.

Возможны несколько видовых проявлений у соотношения *0 / -к- / -ушк-* и ему подобных, имеющих отношение не столько к формантам, сколько к тематическим распределениям, дополнительным смыслам, действующим в группе свойства-родства. С одной стороны, возможны такие пары, как, скажем, *тётя – дядя и свёкор – свекровь, ciocia – wuj*, представляющие собой вид более или менее чистых и парных модификационных соотношений. С другой, типа *мать и дочь, дед и зять, matka и c6rka*, модификация форм которых предполагает непарность (нет пары по этому показателю у *мать – отец, дочь – сын, дед – баба, зять – невестка*) и узуальную и экспрессивно-эмоциональную не параллельность: *мать – матка – матушка, дочь – дочка – дочушка или дед – дедка – дедушка, зять – зятька – зятюшка* совсем не то, что *тётя – тётка – тётушка* или *дядя – дядька – дядюшка* и т.п. С третьей стороны, *батя и мама*, допускающие очевидную лексикализацию, семантическое и узуальное обособление форм: *батя – батька – батюшка, мама – мамка – мамушка* могут значительно различаться. И, наконец, такой вид, как *дева – девка – девушка* (= *девочка*), определяющие позицию молодого доброго женского в роде-социуме, не с точки зрения родства-свойства, и могущие служить примером значительного расхождения, вплоть до лексемного обособления форм.

Пара *тётя – дядя*, польск. *wuj – ciocia* (в данном описании мы не учитываем существительное *ciota*, поскольку, как представляется, оно образовано от *ciotka* вследствие обратной деривации, по типу *szczota < szczotka*. Существительное *ciota* более ранние лексикографические источники не отмечают. Нет его ни в *Старопольском словаре* (SłStr.), ни у Линде (SJPLin.). Появляется оно в словаре Й. Карловича, А. Крынского и В. Недзьведзкого (SJPWag.) в значении 'женщина-ведьма', и нет здесь указания на значение, определяющее родственные отношения. Слово это отмечают также современные словари, приписывающие ему такие значения: пренебр. 'неприятно о женщине нехорошей или некрасивой'; вулг. 'гомосексуалист'; прост. 'менструация, месячные'; охотн. 'старая лань или самка оленя'; обл. 'колдунья, ворожея'; редк., пренебр. 'сестра или кузина матери либо отца, а также жена брата матери либо отца'; уголовн. 'лицо, которому доверяют'. Здесь, так же как и в случае с *macь, baba* мы имеем дело с пейоративной окраской, оказывающейся при этом, однако, следствием действия словообразовательных процессов) не полностью симметрична, по крайней мере в определениях по словарям. Словари современных русского и польского языков в качестве основных форм отмечают *тетка, ciotka*. В ТС слово *тетка* сопровождается также пометами офиц., неофиц., а *тетя* – пометой неофиц.; в MAC существительное *тетя* определяется как разг., а при слове *тетка* нет никаких помет; достаточно офиц. признает-

ся слово *ciotka* в (InSł.); в остальных (SJPDor., SJPSzym., SWJPDun.) пометы отсутствуют; существительное *ciocia* при сопоставлении с *ciotka* рассматривается как уменьшит. (SJPDor.) либо ласкат. В MAC и ТС исходной и основной признается форма *тётка* (в ТС сопровождаемая пометами офиц. и неофиц., *тётя* – как неофиц., в MAC *тётя* как разг., *тётка* – без помет). В БТС обе формы даны без помет, но *тётя* определяется как исходная (*тётка* содержит отсылку к *тётя*). Узуальную корреляцию этих форм можно бы уподобить по данному отношению рассмотренной ранее, выведя соответствие: *бабка, babka* так относится к *бабушка, babcia* как *тётка* к *тётя, ciotka* к *ciocia*. Соотношение же *дядя – дядька, wuj – wujek* интерпретируется совершенно иначе. В интересующем нас значении 'брат отца или матери' по всем источникам исходной формой признается *дядя / wuj*, а *дядька* толкуется как фамильное (БТС), разг. уничижит. (MAC), ТС этой формы, как эмоционально окрашенной, не дает. Словари польского языка существительное *wuj* дают без помет, в то время как *wujek* отмечается как разг. и фамильное. Роль суффикса *-к-*, тем самым, оказывается совсем не такой, как *-к-* при словах женского рода (польский *-ек* соответствия к женскому *-к-* не имеет). Посмотрим, однако, на то, что их может объединять. Обратимся для этого к значениям близким и смежным.

В MAC *тётка* определяется, помимо того, что она 1. Сестра отца или матери, как || Жена дяди (не *дядьки!*); 2. Прост. Взрослая женщина вообще, а также обращение к женщине, более старшей по возрасту; *тётя* – разг. то же, что *тётка* (в 1 знач.) и то же, что *тётка* (во 2 знач.), с указанием «обычно в языке детей». В БТС *тётка* 1. = Тётя (1 зн.); 2. Пренебр. О всякой взрослой женщине; *тётя* 1. Сестра отца или матери по отношению к племянникам; 2. Разг. О знакомой женщине среднего возраста, с пометой «только в сочет. с уменьш. формой собственного имени» (*тётя Даша*, к примеру); 3. Незнакомая женщина, с указанием «в речи детей».

Аналогичные польские существительные объясняются следующим образом: *Ciotka* 'сестра или кузина матери либо отца'; прост. 'менструация'; уголовн. 'гомосексуалист' (PSWPZg.); *ciocia* ласкат. 'сестра или кузина матери либо отца'; 'женщина, находящаяся в близких отношениях с родителями ребенка, хорошая знакомая' (PSWPZg.); в InSł. дополнительно замечается: *Ciocia* называем свою знакомую. Слово используется при детях и в разговорах с детьми.

Дядя в MAC, соответственно, 1. Брат отца или матери. || Муж тётки; 2. Разг. Взрослый мужчина вообще, а также обращение к мужчине, более старшему по возрасту. || с определением. Шутл. О рослом, сильном мужчине. *Дядька* 1. Разг. Уничиж. к дядя. 2. Разг. Взрослый мужчина вообще. 3. Устар. Слуга в дворянских семьях, приставлявшийся для надзора за маль-

чиком, а также служитель в дореволюционных мужских закрытых учебных заведениях. Лицо (обычно унтер-офицер), которому поручалось обучение новобранца в царской армии. Толкование этих форм в БТС существенным образом от приведенных не отличается.

Польские существительные *wuj* и *wujek* определяются подобными, хотя и не совпадающими, значениями. И здесь на первый план выдвигается значение, указывающее на родственность отношений, ср.: 'брат матери, реже отца (В польском языке имеются два разных слова для определения 'брата отца' и 'брата матери'. Брат отца – это *stryj*, брат матери – *wuj(ek)*. В современном литературном польском, а также в некоторых говорах форма *stryj* все более выходит из употребления. Ее место занимает форма *wuj*. Подробнее об этом [Szymczak 1966: 94-102]); муж сестры матери, реже отца, двоюродный брат матери, муж двоюродной сестры матери; дальний родственник'. *Wujek* фамиллярно 'о дяде' (SWJPDun.); с эмоциональной окраской о дяде || *Dobry wujek* о человеке, который делает что-либо бескорыстно, особенно дает деньги; разг. 'близкий знакомый родителей или родителя'; во мн.ч. дядя с женой – *wujostwo*; прост. 'вор-карманник' (PSWPZg.).

Основная тенденция в русском языке, тем самым, для данной пары предполагает соотношение дядя и тётка. Суффикс -к- у дядя отмечает модификацию к эмоциональному понижению и/или что, в общем-то, в словообразовательном отношении аналогично, к отстранению (ср.: дядька – взрослый мужчина вообще или уничижительно и фамиллярно о дяде, в его присутствии и обращении к нему такая форма была бы очень резкой, насмешливо-пренебрежительной, грубой) и ролевой обобщенности в роде-социуме (дядька – слуга, воспитатель). Для исходного тётка нессуффиксальная форма тётя дает своего рода встречный по отношению к паре дядя – дядька эффект, предполагая эмоциональное и ролевое сближение – в обращении к ней, в ее присутствии, в речи детей о незнакомой женщине среднего возраста.

Иначе складываются эти соотношения в польском языке. Формант -ек придает существительному *wuj* оттенок ласкательности, указывая на близость, фамиллярность отношений между людьми, не обязательно связанными родством (дядюшка в русском языке). Форма *wujek* обладает, тем самым, такой же эмоциональной окраской, что нессуффиксальная *ciocia*.

Из сказанного не следует противоположение дядя – близкий, свой, а дядька – чужой, сторонний; в то время как тётка и тётя отличны лишь узуально (смещение отличий у этих форм в БТС можно отметить как тенденцию к аналогии, уподоблению с дядя – дядька, характерную для новейшего времени). В русском языке целый ряд выражений иронически обыгрывает двойственный характер кажущейся близости дяди: *Добрый дядя* (о человеке, щедром за чужой счет); *На (чужого) дядю (для дяди) работать; для дяди делать что-л.* (работать, де-

лать без выгоды для себя); *Надеяться на (доброго) дядю* или *на чужого дядю* (рассчитывать на то, что дело будет сделано кем-то другим или сделается само собой). В определенном смысле нессуффиксальная форма дядя лежит вне этого противоположения, семантика близости-отстраненности имеет в этом случае, по-видимому, не столько словообразовательный, сколько лексический смысл. Само значение слова двойственно, объединяя признаки своего неблизкого, своего бокового, стороннего: взрослый мужчина поколения родителей, своего рода-социума, снимая в нем, как в постороннем, опасность чужого и неприязненного (при обращении к нему, разговоре о нем, в отношении младших, детей). Эмоциональное и стилистическое в суффиксе -к- имеет отчасти характер вторичный и сопровождающий. В польском языке на первый взгляд ситуация выглядит аналогично. Различие можно увидеть в характере эмоциональной окраски. И хотя употребление обеих форм, т.е. *wuj* и *wujek*, возможно при непосредственном обращении к лицам, с которыми имеются родственные отношения, использование формы *wuji* указывает на меньшую степень близости и уважение, в то время как суффиксальная *wujku*, напротив, на большую близость, не обязательно являющуюся следствием родственных отношений. Об этом свидетельствуют такие устойчивые словосочетания, как *Wuj Sam / Дядя Сэм* (персонифицированное обозначение правительства США, американского народа, американцев, ср. русск. ирон. *дядюшка Сэм* в том же значении); *Mów mi wuji / Говори мне «дядя»* – предложение формы близкого обращения, но в известных границах, без фамиллярности, *Ale dobry wujek (wujaszek) / Ну, добрый дядюшка* – о человеке который делает что-либо бескорыстно, особенно когда дает деньги.

В форме дядька подчеркнуто ощутимо значение социально более низкого: дядька – слуга при мальчике, служитель, воспитывающий (ср. в том же социально понижающем смысле и с тем же суффиксом: *Ванька* – извозчик, *Васька* – мальчик на побегушках, прикащик, *Галка, Манька, Парашка* – женские слуги при доме, сюда же *девка, чернавка, мамка* – кормилица, *бабка* – повитуха, знахарка; польск. *dziewka, matka, babka*). Наличие суффикса -к- в этих формах отнюдь не случайно, но, как нам кажется, оно тесно связано, взаимодействует с семантикой, обусловленной узусом применимости слова, в определенном смысле сплавляясь с ним. Семантику формы с -к- в каждом подобном случае следует соотносить со значением формы без -к- (*дева, мама, баба; тата, baba* и пр.), в которых семантический признак более низкого статуса, неполноправия и т.п. уже обозначен: *дева* – женщина до замужества, т.е. неполноправная, не хозяйка, не мужняя, зависимая от отца и в роде отца; *мама, тата* – не только, а первоначально не столько мать, сколько няня, кормилица (у Срезневского – только кормилица, мамка;

в *SiStp. mama* имеет значение 'мачеха', 'мать', 'няня'); *баба / baba* – замужняя женщина, в первую очередь низших сословий, крестьянка.

Обратимся к примерам несколько иного рода. Существуют слова, внутри рассматриваемой тематической группы, для которых наличие суффикса *-k-* (*-k-*) нетипично и/или же представляет собой узуально и эмоционально обусловленный вид речевого употребления, вторичного и развивающегося по аналогии. К ним относятся *муж, отец, внук, сын, брат, сестра* (*maż, ojciec, teść, siostra*), в основном мужские обозначения, из которых только *сын* и *брат* имеют *k-*суффиксальные формы *сынка* и *братка* – современные разг.-сниж., фам.-ласк., малоупотр. и словарями не отмечаемые.

В польском языке ситуация в отношении к существительным *brat, syn, wnuk* выглядит несколько по-другому. В большинстве словарей современного польского языка существительное *wnuczek* обозначается как ласкательная либо уменьшительная форма по отношению к *wnuk*. Как представляется, правы авторы *InSt.*, которые при существительном *wnuczek* не отмечают его ласкательного характера. Так же как и в случае с другими мужскими обозначениями в группе родства: *dziadek, wujek*, в которых демиинутивно-эмоциональное отношение все более нейтрализуется. В современном языке эти образования, в отличие от соответствующих существительных, их мотивирующих, отличаются в первую очередь сферой употребления: *wnuk* имеет характер официальный, в то время как *wnuczek* используется главным образом в сфере семейной и характерен для разговорной речи. Использование в разговорной речи существительного *wnuk* применительно к маленькому ребенку имеет оттенок возвышенный (ср.: *To jest mój wnuk – mówi z dumą babcia o dopiero narodzonym dziecku / Это мой внук – говорит бабушка о новорожденном*). Вместе с тем форма *wnuczek* применительно к взрослому человеку будет содержать оттенок ласкательности и сердечности. Иную роль играет суффикс *-ek* в существительном *synek*. Дериват этот функционирует в общеупотребительном языке как ласкательное определение сына либо как фамильярное обращение к мальчику или же молодому, значительно младшему, человеку, к которому говорящий испытывает чувство сердечности. Суффикс *-ek* в данном случае вносит, с одной стороны, значение демиинутивности (о малом ребенке, младшем), с другой, ласкательности и сердечности. В свою очередь, область употребления формы *bratek* < *brat*, как можно судить на основе словарных материалов, ограничивается сферой семейной, в которой данная форма функционирует как редко употребляемое ласкательное и фамильярное обозначение брата. В общеупотребительной литературной речи чаще всего она появляется как шутивное, ласкательное и фамильярное обращение к близкому человеку, товарищеское обращение, ср.: *Tuś mi się ukrył bratku! / А, вот ты где, братец!* либо в

поговорке *Nie śmieję się bratku z cudzego przypadku / Не смейся, браток, над чужим невежеством*, в которой она выступает в лишенном экспрессивности общем значении 'человек, ближний'.

Отсутствие *k-*суффиксальных форм в русском языке у слов рассматриваемой тематической группы, безусловно, связано с типом основы: не мягкая (как в *мать, дочь*, хотя ж в *муж* и *ц* в *отец* исторически были мягкими, а *-ьць* в последнем слове праслав. суффикс), ударная флексия у *сестра* (не как в *баба, дядя, тетя*). Можно предположить, что характер основы в данном случае также был не без значения, но это не будет иметь отношения к нашему рассмотрению. Достаточно констатировать не случайность отсутствия *k-*суффиксальных форм для такой-то подгруппы, о чем дополнительно может свидетельствовать отсутствие деривата с суффиксом *-k-* в польском языке (основательное исследование подобных форм на предмет отсутствия суффикса выходит за рамки данной работы).

Вместе с тем в том же интересующем нас русском материале есть также слова (помимо рассмотренных), имеющие формы с суффиксом *-k-* и соотносимые с несуффиксальными, для которых характер соотношения *-k-* / *0* может позволить лучше понять определяемую роль форманта. Это *батя, матка, дедка, дочка, жёнка, детки*. Суффиксальные формы этих слов нередко лексикализуются, отходя от значения несуффиксальной формы. Не меняя значения, как экспрессивные формы, они типично используются, определяясь не только эмоцией говорящего, но и, едва ли не в первую очередь, условиями употребления, будучи характерны для узуса той или иной среды, того или иного вида межличностных отношений. Характер таких последующих значений и узуально-коммуникативных предопределений может дать материал к пониманию смысла словообразовательного форманта.

Рассмотрим соотношения форм указанных слов. *Батя* в МАС: *Прост. и обл.* Отец; *батяка* – *Прост. и обл.* Отец; *батьюшка* – 1. *Устар., обычно почтит.* Отец. 2. *Разг.* Ласк.-фам. обращение к собеседнику. 3. *Разг.* Священник. У Даля специальных различий в значениях между формами не отмечается, указывается на старинный и областной их характер, а также || почтительно и ласкательно (*батя*), привет всякому стороннему человеку, смб. *батя, батяня* батяка и брат, братаня, приятель, товарищ. || Старший по чину или званию говорит иногда младшему *батьюшка*, давая понять, что снисходит к нему, но что они, впрочем, не ровни. Интересен там же в рассматриваемом отношении пример: *У меня, молодца, четыре отца, пятый батюшка*, Бог, царь, духовник, крестный и родитель. *Батьюшка*, тем самым, как бы, если в ряду других и в первую очередь, тот из старших мужских наставников, покровителей, который ближе всех остальных. В БТС: *Батя* 1. *Трад.-*

нар. Отец. 2. Фам. Священник, поп. 3. Разг. О командире воинского подразделения. *Батька* 1. *Трад.-нар.* = Батя (1-2 зн.). 2. На Украине, в Белоруссии и на юге России во время Гражданской войны: глава вооружённых формирований. *Б. Махно. Батюшка* 1. *Трад.-нар.* = Отец. | О Боге или царе. 2. Священник. 3. *Нар.-поэт.* О чем-либо дорогом, жизненно необходимым, важном. *Хлеб-батюшка. Амур-батюшка*. 4. = Батенька (ласк.-фам. обращение к собеседнику).

Выразительна и отдельна, тем самым, форма с *-ушк-* (*батюшка*), отмечая идею контакта и приближения, особой, внешне отображаемой, *ищущей* и почтительной, почитающей, близости, близости устанавливаемых, завязываемых, подчеркнутых отношений к тому, кто обозначается корнем слова. Отсюда и ролевой характер (модели рода и социума) в традиционно-обрядовых текстах, в фольклоре форм типа *матушка, батюшка, детушки*. Суффикс *-к-*, как представляется, отмечает семантику близости равному и/ли стороннему. Это форма контакта не ищущего, уверенного в установленной связи и поэтому внутренне непосредственного, освобожденного. Отсюда возможность использования ее о третьем лице, вне его присутствия, либо о нем при нем, но как об освоенном, сообщаемом другому. В формах *матка, дедка, дочка, жёнка, детки* указанные оттенки употребления, связанные, с одной стороны, с вторичной семантикой лексикализации и эмоционально-экспрессивными и стилевыми (среды, регистра) сопровождениями речевого узуса, с другой, хорошо заметны. Укажем только на некоторые особенности названных форм. У *Даля матка*, кроме прямого значения матери: || баба, женщина; || самка (кобыла, пчела); || предводитель в игре; || женская утроба, черевко; || плодник (у растений); || источник чему-либо, место рождения, происхождения, корень и пр. В БТС 1. Самка-производительница у животных; 2. Внутренний женский половой орган; 3. = Маточник; 4. *Нар.-разг.* = Мать; 5. *Нар.-разг.* О вожаке, предводителе в некоторых играх. Значение у *матка* (по сравнению с *мать*) выходит более широкое, общее, гиперонима, вне контакта, не привязанное, не личное – по роду и родовое.

Дедка в МАС дается как уничиж. и ласк. к *дед*. У *Даля Дедушка* или *дедка*, почетное прозвание домового (отличие контактно-ищущей и внеконтактной, освоенной формы), в то время как *знахарь* или *колдун* – *дедок* (ср. коррелят того же значения, ‘знахарка, колдунья’ – *бабка*, т.е. в данном случае *-к-* женского рода соответствует *-ок*, а не *-к-* мужского).

В польском языке для обозначения ‘отца матери либо отца’ наряду с унаследованным из праславянского языка существительным *dziad* существует первоначально деминутивная, а в настоящее время нейтральная, форма *dziadek*. В SłStp. существительному *dziad* приписываются значения ‘отец матери или отца’ и ‘предок’. Словарь Линде, помимо этих значений, отме-

чает также ‘старик’ и ‘нищий’. В том же источнике *dziadek* рассматривается как уменьшительное образование от *dziad* со значением ‘старик, отцов либо материн отец’, ‘старичок’. В современном языке существительное *dziad* в значении вида родственных отношений признается официальным либо устарелым. Чаще всего данное слово функционирует как возвышенное определение предка либо как пренебрежительное определение старого или бедного человека, нищего (*dziad kościelny / церковный дед*). Используется также как оскорбительное определение, передающее неприязненное отношение к человеку, мужчине, совершившему что-либо возмутительное (*Oszukał mnie dziad jeden / Надул меня, этакий дед* – InSł.). В этом последнем значении компонент ‘старый’ не играет существенной роли. Словом *dziad* можно назвать, как дается в PSWPZg., любого мужчину «независимо от возраста и общественного положения, в просторечном употреблении также, напр., в значении учитель, профессор, работник служб безопасности, дворник, полицейский, мелкий воришка» (PSWPZg.: 10, 107). Для существительного *dziadek* значение ‘отец матери или отца’ считается основным. Слово это может, также как *dziad*, выступать в значениях разг. ‘старый человек, мужчина’, ‘бедный человек, живущий подающими, нередко старый’. *Dziadkami* называют родителей отца или матери, т.е. дедушку с бабушкой. Кроме этого, данному существительному приписываются значения ‘инструмент для раскалывания орехов, щелкунчик, орехокол’, карт. ‘фиктивный игрок, воображаемый участник игры, замещающий партнера, необходимого для полноты состава’, арм. ‘солдат второго года военной службы’. На основе приведенных здесь дефиниций можно сделать вывод, что семантические компоненты в случае оговариваемых лексем подобны, однако по-разному распределены. В то время как для существительного *dziad* на первый план выдвигаются компоненты ‘старый’, ‘низкое общественное положение’, для *dziadek* ведущим становится компонент, указывающий на родственные отношения и известную близость. В существительном *dziadek*, тем самым, родственность отношений и близость передается фактически с помощью суффикса *-ek*. Дополнительно в пользу данной интерпретации говорят также факты, следующие из сопоставления форм *dziadowie* и *dziadkowie*. *Dziadowie* – это все предки, в том числе и самые дальние, *dziadkowie* же – это родители наших родителей, т.е., тем самым, люди нам близкие. Еще более сильно данная близость подчеркивается в существительном *dziadzius*, являющимся ласкательным определением дедушки.

Дочка в МАС во 2-м знач. «В обращении пожилого или взрослого человека к молодой женщине, девушке, девочке». В БТС также *маменькина дочка* (о слишком избалованной, изнеженной девочке, девушке), *дочушка* дается как усилит. У *Даля* различия в формах специально не

оговариваются, но показательны употребления форм во фразеологии: *По матери дочка пошла. Материна, отцева дочка* (свое и близкое, для себя, в отношении себя) и *Дочь, чужое сокровище. Хоть да корми, учи да стереги, да в люди отдай. Сын в дом глядит, дочь из дому* (свое для других, в чужой род). И *дочка* или *дочка*, *дочуха* (обл.) свинка, молодая свинья, т.е. самка (ср. в коррелятивном знач. самки – *матка*). Суффикс *-к-* в данном случае (*дочь* – последующее и младшее) отмечает близость внутренне своего, своего как данного (потому и контакта не ищущего). Контактная форма *дочушка* в этой связи не то же, что *матушка* или *бабушка* как ролевые, с оттенком почтения, а эмоционально усиленная форма особо подчеркнутой внутренней близости.

Отношения между польскими существительными *сóra*, *сórка* выглядят по-другому. В польском языке существительное *сórка* в современном языке рассматривается как нейтральное и немотивированное, в то время как *сóra* трактуется как производное, появившееся вследствие обратной деривации и отмеченное стилистически. Слово это определяется как книжное, высокое, торжественное, в ряде случаев разговорное. Ситуация, тем самым, выглядит прямо противоположно тому, что имеет место в русских примерах. В отличие от русского языка морфема *-к-* в польском слове играет роль чисто структурную. Его первоначальный деминутивный характер подвергся нейтрализации.

Анализ словарных статей словарей современного польского языка позволяет считать, что основные значения в обоих случаях одинаковы. С одной стороны, *сóra*, *сórка* указывают на родственные отношения (ср. пословицы: *Jaki wół, taka i skóra, jaka mać, taka i sóra / Каков вол, такова и шкура, какова мать, такова и дочь; Jaki bochen, taka skórka, jak matka, taka córka / Какова буханка, такова и корка, какова мать, такова и дочка*), с другой стороны, – на отнесенность к какому-то коллективу (народу), ср.: *Bohaterskie córki i synowie narodu / Героические дочери и сыновья народа. Synowie i córki Warszawy / Сыновья и дочери Варшавы; Córki Kościoła / Дочери Костела*, с тем характерным отличием, что первое слово (*сóra*) возвышенно. Отличие касается также сферы употребления. *Сórка* и мотивированные им деминутивные образования (*сóreczka*, *сóручна*, *сóreńka*) используются в функции фамильярных форм обращения к девочке или значительно младшей женщине (*Żal mi cię, córko, ale wszyscy cierpiemy / Жаль мне тебя, дочка, но мы все страдаем*). Что невозможно для слова *сóra*.

Форма *жёнка* по своему характеру тяготеет к семантике *-к-* в словах *мамка*, *дядька*, *бабка*, обозначая (у Даля) женщину, бабу, жену и вдову простолюдина, арх.(ангельское) поденщица, отмечая, тем самым, как бы понижение статуса и роль зависимого. Однако не полноправна, зависима от мужа была и жена, поэтому *-к-* усили-

вает и закрепляет регистровое снижение семантикой внеконтактной, освоенной (свойской) близости. В современном языке форма *жёнка* определяется как разг.-прост. и фам.-ласк., подчеркнутой непосредственности, свойкости употребления. В современном польском языке существительное *жонка* функционирует как ласкательное обозначение женщины, состоящей в браке с данным мужчиной. От мотивирующего слова оно отличается единственно эмоциональным оттенком, придаваемым суффиксом *-к-*.

И, наконец, *детка*, *детки* можно рассматривать в том же ключе, в отличие от *дети* и *детушки*. В БТС *детка* – разг. обращение к ребенку; одно из названий личинок и куколок пчел (корреляция к *матка*), также и в МАС; *детки* – ласк. дети; об отростках, молодых побегах растений. У Даля тенденция та же: различия между формами нет, но из фразеологии следует особая близость у *детки* (как в *дочка*); обращает внимание также значение || В виде ласки, привет младшему, подчиненному, а от духовного лица всем мирянам (коррелят *бабушки*). *За мною, детки; вперед деточки, детушки!* привет и одобрение солдатам. Младшее, неполноправное, близкое как свое зависимое проявляет себя в семантике слова (*дети*, *дитя*); суффиксы *-к-* и *-ушк-*, в свою очередь, определяют значение употребления, акцентируя ту или иную форму внутренне своего и потому к нему нисходящего (*детки*) или контактно ищущего и/ли контакт устанавливающего (*детушки*).

Среди польских слов-соответствий *dziecię*, *działki*, *dziecko*, *dzieci*, только существительные *dziecko*, *dzieci* нейтральны. *Dziecko* в современном языке используется в следующих значениях: 'человек от рождения до периода созревания', 'потомок человека (редко животного) независимо от возраста: сын или дочь'; 'типичный представитель какого-то времени, периода' (SWJPDun.), напр.: *dziecko ulicy / дитя улицы, dziecko wojny / дитя войны*. Кроме этого, данное существительное может выступать в качестве сердечного обращения к взрослому человеку (следовало бы добавить, как правило, младшему), хорошо знакомому: *Moje dziecko, trzeba więcej na siebie uważać / Дитя мое, надо больше себя беречь*. Это также форма обращения представителей духовенства к прихожанам. Данное существительное, тем самым, несмотря на то, что в его составе имеется морфема *-к-*, можно интерпретировать подобно русским бессуффиксальным *дети*, *дитя*: 'некто младший, находящийся в зависимом отношении, некто близкий'. Подобным значением обладает также существительное, унаследованное из праславянского, *dziecię*, с тем только отличием, что оно является стилистически и эмоционально окрашенным. В словарях современного польского языка в своем основном значении 'ребенок' оно сопровождается пометами книжное, возвышенное, поэтическое либо шутовое. И только в SJPDoг. ему приписывается оттенок

ласкательности с такой пометой 'ласкательно, в настоящее время в основном возвышенное и поэтическое о ребенке'. Существительное это может также выступать в переносном значении 'лицо, воспитанное в определенной среде или времени': *dziecię natury / дитя природы*.

Существительное *dziatki*, используемое для обозначения детей, а также иногда молодых животных, в настоящее время определяется как книжное, устаревшее или шутовское. В современном языке появляется чаще в текстах религиозных – проповедей, комментариях священных текстов, в которых, с одной стороны, используется в качестве обращения к детям, а с другой, к собранию верных, выполняя, тем самым, функцию, подобную функции существительного *dzieci*.

Значения анализируемых форм, как следует из всего сказанного, обуславливаются во многом лексическими значениями слов, неоднородно определяющих тип родовых отношений – женское или мужское, полноправное или зависимое, старшее или младшее. Словообразовательные форманты *-к-* / *-к-* и *-ушк-* / *-cia (-uś)*, присоединяясь, по-разному по языкам отмечают тип и характер степени приближения – общего внеконтактного (*-к-* / *-к-*) или контактно близкого (*-ушк-* / *-cia (-uś)*), распределяясь затем узуально и семантически.

Затронутые различия суффиксально себя выражающих форм-обозначений родства в лексико-семантическом, узуальном и экспрессивном соотношениях проявляют себя и далее, для других суффиксальных форм, с другими формантами-суффиксами. Различия эти, лексикализуясь в отдельных случаях, закрепляясь коммуникативно и узуально в отношении социально и экспрессивно обозначаемого ими лица и/ли среды речевого использования, воплощают, с одной стороны, семантику категорий, определяющих комплексы представлений родства, а с другой, релятивную, внутреннюю, не осознаваемую семантику самих формантов, лишь на поверхностном уровне воспринимаемую как показатели субъективной оценки и эмоциональности, определяемые по грамматикам и словарям как ласкат., уничижит., фам, груб., пренебр. и т.п. И то и другое в данной статье могло быть в самом общем виде только намечено, на примере соотношений *0 / -к- / -ушк-* и т.п. для некоторых слов из группы родства. Дальнейший анализ, с определением самих указанных категорий и вероятных значений формантов, требует более обстоятельного вхождения и углубления в материал, а также широкого привлечения сопоставительных данных.

В заключение хотелось бы лишний раз обратить внимание на то, что если между формами, скажем, *дева – девка – девушка – девочка – девонька – девчушка – девчонка – девчоночка* существует как узуальное, так и смысловое отличие, то оно не случайно и не исчерпывается различиями субъективной оценки. За этим стоит что-то большее и системное. Так же

как, если *братик* – обычно маленький или младший брат по отношению к старшему и нередко в речи взрослых, обращенной к нему, а *браток* – редко брат, но гораздо чаще дружески фамильярное обращение равного к равному в мужской среде, то как объяснить это, исходя из того, что *-ик* и *-ок* определяются по грамматикам как морфы одного общего суффикса? Так же как трудно определить, а тем более объяснить узуальное и смысловое различие в формах *сестрица, сестричка, сестрёнка, сеструха, сеструня, сестрёнок, сёстрынька* и т.п., исходя из даваемых по грамматикам характеристикам соответствующих формантов, определяемых нередко как уменьшительные, ласкательные или ласкательно-уменьшительные. Чем объяснить то, что форма *папка* вовсе не коррелирует, как может показаться на первый взгляд, с формой *мамка*, расходясь с ней как узуально, так и эмоционально и семантически? Или то, что, скажем, такие пары, как *дядя – дядюшка, тётя – тётушка* предполагают обозначением родственника (родственницу), а *дядя – дяденька, тётя – тёшенька* – лицо скорее стороннее и незнакомое, в то время как *дядечка, тётечка* может быть, при типичном употреблении, как тем, так и другим. Эти и другие вопросы, легко возникающие в связи с очевидными соотношениями указанных, равно как и других подобных, номинативных форм, невозможно решить, опираясь на существующие словарные определения и грамматические характеристики. Необходим системный и категориальный анализ всего материала, учитывающий не выявляемые явно отличия, в том числе и лингвокультурологического характера, участвующие в формировании узуальных признаков соответствующих лексем, их форм и формантов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Борисова Е.Г. Имплицитная информация в лексике. // Имплицитность в языке и речи. М., 1999.
- Борисова И.Н. Русский разговорный диалог. Структура и динамика. М., 2005.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I-IV, М., 1955.
- Зиновьева М.Д. «Русскость» как имплицитная информация в лексике и фразеологии. // Имплицитность в языке и речи. М., 1999.
- Русская грамматика. Гл. ред. Н.Ю. Шведова. Т. I-II, Москва 1980.
- Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I-III, М., 1958.
- Сухих С.А., Зеленская В.В. Прагмалингвистическое моделирование коммуникативного процесса. Краснодар, 1998.
- Сухих С.А., Зеленская В.В. Репрезентативная сущность личности в коммуникативном аспекте реализации. Краснодар, 1997.
- Червинский П.П. Словообразовательные и лексико-синтаксические типы языковых единиц в народной песне. // Известия Северо-Кавказского научного центра высшей школы. Общественные науки. 1987. № 3; "Творчество и коммуникативный процесс" – Creativity & Communication Process (<http://www.nicomant.org>). Вып. Третий. Т.1 (1999).
- Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. I-II. М., 1999.
- Bańkowski A. Etymologiczny słownik języka polskiego. T.1-2. Warszawa, 2000.

Boryś W. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 2005.

Kreja B. O akategorialnym przyrostku ekspresywnym *-uchn-* (por. *mat-uchna, mal-uchn-y, plak-uchn-ać*) // Studia i szkice słotwórcze. Gdańsk 2002, s.189-197.

Kreja B. Słotwórstwo apelatywne pochodzenia propriálnego w języku polskim. // Studia i szkice słotwórcze. Gdańsk 2002, s. 21-26.

Smoczyński P. Nomina appellativa i propria we wzajemnym oddziaływaniu słotwórczym. // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XXI, 1962, s. 61-82.

Szymczak M. Nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w historii i dialektach języka polskiego. Warszawa 1966.

Szymczak M. O analogii semantyczno-słotwórczej w polskiej terminologii rodzinnej. // Prace Filologiczne XIX, 1969, s. 119-126.

Tokarski R. Struktura pola.znaczeniowego (studium językoznawcze). Warszawa, 1984.

Warchoń S. Geneza i rozwój słowiańskich formacji ekspresywnych z sufiksalnym *-k-* i *-c-*. Warszawa-Lódź 1984.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:

БТС – Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб., 2000.

МАС – Словарь русского языка в четырех томах. Гл. ред. А.П. Евгеньев. Москва, 1981-1984.

ТС – Саяхова Л.Г., Хасанова Д.М., Морковкин В.В. Тематический словарь русского языка. Под ред. В.В. Морковкина, М., 2000.

InSl. – Inny słownik języka polskiego. Red. M. Bańko. T.1-2. Warszawa 2000.

PSWPZg. – Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Red. H. Zgólkowa. T. 1-50. Warszawa, 1994- 2005.

SJPDor. – Słownik języka polskiego. Red. W. Doroszewski. T. 1-11. Warszawa, 1958-1969.

SJPLin. – Linde S.B. Słownik języka polskiego. T. 1- 4. Warszawa, 1807-1814.

SJPSzym. – Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak. T. I-III. Warszawa, 1978-1981.

SJPWar. – Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. Słownik języka polskiego. T. I-VIII. Warszawa, 1927.

SlStp. – Słownik staropolski. Warszawa, 1953 i nast.

SWJPDun. – Słownik współczesnego języka polskiego. Red. B. Dunaj. T. 1-2. Warszawa, 1999.

© Зых А., Червиньски П., 2007

Красильникова Н. А.

Новоуральск, Россия

«В ПЛЕНУ У РУССКОГО МЕДВЕДЯ», ИЛИ СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ В МЕТАФОРАХ БРИТАНСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ СМИ

Abstracts

Metaphors of political discourse conceptualize images of some country, political institution or a particular politician. Perception of our country abroad and foreign attitude that we can count on depend on the image of Russia created by foreign mass media. At that, one has to keep in mind that political metaphors are a most powerful means of manipulating public conscience, the cunning part of which is its latent impact that only a specialist is able to identify and confront. This article considers the metaphorical image of Russia and its President that is being created in the political discourse of the United States of America and Great Britain.

Для России 2006-ой год прошел крайне неоднозначно. Голубое небо благополучия, под которым был увеличен ВВП, погашены международные долги, созданы национальные проекты, направленные на повышение уровня жизни и развитие общества, омрачила цепь темных туч преступлений, которые разразились страшными грозами как внутри, так и за пределами государства. Бурная необъяснимая стихия при-

несла на небосклон политического дискурса новые яркие концептуальные метафоры, отражающие отношение той или иной страны к событиям, происходящим в России в период президентства В.В. Путина.

В данной статье метафорическое представление путинской России в британских и американских СМИ рассматривается с точки зрения когнитивного аспекта политической лингвистики. К исследованию привлекались следующие издания: The Economist, The Financial Times, The Guardian, The Times; Business Week, Chicago Tribune, Los Angeles Times, The American Spectator, The International Herald Tribune, The National Interest, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Washington Times.

Большинство американских и британских СМИ возмущены антидемократическим развитием России и напуганы растущим количеством нераскрытых политических убийств, в связи с чем большая часть рассмотренных нами метафор, в которых концептуализируется образ России, Кремля, российского президента и общества, носят пейоративный характер и направлены на дискредитацию страны в целом. Напр.: *President Bush and Secretary of State Condi Rice have ramped up their criticism of what they see as Mr. Putin's backsliding on democracy*. (Президент Буш и госсекретарь Конди Райс увеличили объем критики того, что они называют отказом [скольжением назад] господина Путина от демократии.) [Arnaud de Borchgrave]; *So what Russia has now is an infantile democracy built through Soviet tools, and the freedom to shop... It takes only a moment for the fragility to show*. (Итак, что же сегодня имеет Россия? Детскую демократию, выстроенную советскими средствами, и свободу ходить по магазинам... Хрупкость такой системы может проявиться в любой момент.) [Walsh].

Прагматический смысл метафоры УСКОЛЬЗАЮЩЕЙ ОТ ДЕМОКРАТИИ РОССИИ, созданной первыми лицами США и незамедлительно подхваченной американскими СМИ, такой же неопределенный, как само «скольжение» – этакая дипломатическая уловка. Она не произвела бы международный скандал, но латентно настраивает население страны-поборницы демократии и прав человека на противопоставление России и США в лингвокультурологической категории СВОИ – ЧУЖИЕ.

С этой же позиции жителям демократически развитых стран российская демократия представляется как ребенок, нежный и хрупкий, в то же время неопытный, неразвитый и нуждающийся в верном воспитании. Прагматический потенциал метафорической модели РОССИЙСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ – РЕБЕНОК, рожденной британскими журналистами, направлен на формирование снисходительного отношения к ней, и одновременно на возбуждение интереса к тому, как этот ребенок будет развиваться. Таким образом, внимание и интерес читателя акцентируется на наблюдении за Россией и соответственно сопоставлении ее с собой, что может привести к идеологии постоянного сравнения, где Россия будет выступать как антипод демократического государства. Похожая ситуация сложилась в СССР, когда политический дискурс

был направлен на противопоставление России Западу.

Случаются в политическом дискурсе США и Великобритании и выступающие в защиту России журналисты, которые не боятся использовать прямые номинации, утверждая, что дискредитация России со стороны западной прессы и политики находится на грани дискриминации по национальному признаку. Статья, опубликованная The Guardian 4.12.2006 года, называется *In bed with Russophobes* («В постели с русофобами»). Несмотря на то, что автор данной статьи является СВОИМ для британцев, он не является ЧУЖИМ и для русских. Свое отношение к России он выражает с помощью кавычек и развенчания созданный негативных образов. Ср.: *...any Russian involvement in the affairs of its neighbours has been spun as an attempt to recreate the "evil empire".* (...любое российское участие в делах соседей изображается как попытка воссоздать "империю зла"); *Every measure Putin has taken has been portrayed by the Russophobes as the work of a sinister totalitarian.* (Любые принимаемые Путиным меры русофобии изображают как дело рук зловещего деспота.) [Clark]

Создаваемые в политическом дискурсе образы РОССИЯ – ИМПЕРИЯ ЗЛА и ПУТИН – ДЕСПОТ в данном случае выступают в качестве необоснованных, и, следовательно, несостоятельных метафорических моделей. В результате изменения значения направление их концептуального вектора меняется на обратное, что заставляют реципиента усомниться в честности тех, кто целенаправленно создает ложные образы.

Однако, следует отметить, что метафорические модели РОССИЯ – ЗЛОВЕЩЕЕ МЕСТО, ПУТИН – ДЕСПОТ являются весьма распространенными в политическом дискурсе Великобритании. Ср.: *However, Mr Putin has reasserted the Kremlin's authority by riding roughshod over the rights of others, including businessmen, journalists and regional governors.* (Тем не менее, господин Путин восстановил власть Кремля, деспотически раздавив сверху на лошади, подкованной шипами права всех остальных – в том числе бизнесменов, журналистов и губернаторов регионов.) [The Financial Times]; *But, whoever is behind the recent spate of killings, Vladimir Putin's Russia looks like an increasingly sinister place.* (Но кто бы ни стоял за нынешней волной убийств, Россия Владимира Путина все больше выглядит как довольно зловещее место.) [Rachman].

Несомненно, концептуальный вектор таких ярких и откровенно негативных метафор направлен на нагнетание в подсознании адресата страха и ужаса по отношению к России и ее лидеру. Поддерживаемый журналистами образ, а, следовательно, и сферы-мишени метафорической экспансии вызывают резкое отторжение читателем ввиду своей агрессивности.

Интересно, что американские СМИ не торопятся навесить на Россию и ее президента подобные ярлыки и ограничиваются сравнением с другими странами, выбирающими для себя недемократический путь развития. Напр.: *So Russia in some ways appears a little like China, where the economy flourishes with new freedom but politics remain*

tightly controlled. Or in other ways, it seems like Hugo Chavez's Venezuela. Or Augusto Pinochet's Chile. Or all of the above. There was a reason the old monarch was called the Czar of All Russias. (В этом смысле Россия в чем-то напоминает Китай: экономика пользуется свободой и процветает, а политическая сфера остается под жестким контролем. В чем-то Россия напоминает венесуэльский режим Уго Чавеса, или чилийский – Аугусто Пиночета, или даже все их вместе взятые. Недаром в старину монарха называли 'Царем Руси Великия, Малыя, Белья и прочая': нынешняя Россия – это несколько стран в одной.) [Baker].

Следует отметить, что сфера источник *монархия* часто привлекается как американскими, так и британскими СМИ для метафорической экспансии образа России и ее правителя. Ср.: *Could the poisoner be from Prince Putin's court?* (А не из двора ли князя Путина отравитель?); *Russia does not have a government; it has a prince, and a court riven by factions trying to win access to the resources they crave.* (У России нет правительства; у нее есть князь и двор, расколотый на фракции, которые пытаются заполучить доступ к желанным ресурсам.); *For all the "power" he has engrossed, Putin cannot impose coherence on his squabbling entourage, which is why Russia remains badly governed.* (Несмотря на всю ту власть, которую сосредоточил в своих руках Путин, он не может навести внутренний порядок и создать согласованность в действиях своей вздорной свиты.) [Skidelsky]; *Vladimir Ryzhkov, an independent member of parliament, says that Mr Putin may see himself as an emperor, but not as a Führer.* (Независимый депутат российского парламента Владимир Рыжков говорит, что Путин, возможно, видит себя императором, но никак не фюрером.) [Playing...]; *Again, Russia is waiting for Godunov.* (Россия вновь ждет Годунова) [Medish].

Монархические метафорические модели РОССИЯ – МОНАРХИЯ, ПУТИН – ЦАРЬ свидетельствуют о том, что о России до сих пор судят, опираясь на ее историческое прошлое. Царственные правители России всегда были недостижимы и богоподобны для русских, им поклонялись, их безмолвно слушались. В политическом дискурсе США и Великобритании часто выстраивается аналогия между царской Россией и Россией В.В. Путина. Западную прессу удивляет тот факт, что, несмотря на лишение демократических свобод и тотальный контроль сверху, рейтинг Путина в России необычайно высок, следовательно, этот народ выбирает для себя именно такого правителя. Ничего не меняется в национальном сознании – русские предпочитают порядок и сильную власть. Хотя надо заметить, что «очарованы» харизматичным «самодержцем» России не только россияне, но и лидеры других государств. Ср. *Mr Putin has exercised a strange fascination over his western colleagues. George W. Bush famously suggested that he had glanced into his Russian counterpart's soul and liked what he had seen.* (Господин Путин вызывает странное восхищение у своих западных коллег. Широко известно заявление Джорджа Буша о том, как он заглянул в душу своему партнеру, и увиденное там ему понравилось.); *Others to fall for the charming Russian president have been Messrs Chirac, Schröder and Silvio Berlusconi of Italy.* (Царям российского президента поддались также Ширак, Шредер и итальянец Сильвио Берлускони.); *There are no longer any excuses for*

infatuation with Mr Putin. But it is usually unwise to swing straight from adoration to loathing. Mr Putin may not be a soulmate. But he is not an enemy of the west either. (Больше для такой безрассудной страсти к Путину не существует оснований. Однако было бы неразумно напрямую переключаться с обожания на отвращение. Возможно, Путин и не задушевный друг. Но он и не враг для Запада.) [Rachman]

Метафорические модели ПУТИН – ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ, ПУТИН – НЕ ВРАГ отражают положительное восприятие президента России как «героя дня без галстука». Прагматический смысл данных метафорических моделей соприкасается с психологией межличностных отношений влюбленных или любящих супругов. Концептуальный вектор данных метафор направлен на создание чувства уверенности в человеке, восхищения им и счастья оттого, что он всегда рядом.

В создании метафорических моделей, воссоздающих отношения между проявляющими симпатию друг к другу людьми, часто используется прием персонификации России и других стран, которые хотели бы добиться ее расположения или дружбы. Напр.: *Engaging Russia, as Mr. Bush says he wishes to do, means dropping gratuitous insults about its lack of democratic virtues. Such advice is best rendered in private. Russia is at a crossroads.* (Обручиться с Россией, как хотелось бы господину Бушу, означает отказаться от незаслуженных оскорблений относительно недостатка демократических добродетелей в этой стране. Такой совет лучше всего давать конфиденциально. Россия находится на перепутье.) [Arnaud de Borchgrave]; *The west has no choice save to continue the weary struggle to engage with Moscow.* (У Запада нет выбора, кроме продолжения утомительной борьбы за руку Москвы – хотя он уже и устал от этого.) [Hastings].

Однако, всем известно, что от любви до ненависти один шаг, и он был сделан на страницах британской *The Guardian* 27.11.2007 года. В статье под *“Corruption, violence and vice have triumphed in Putin’s Russia”* («В путинской России празднуют победу коррупции, насилия и порок») был сделан вывод о том, что Великобритании, которая всегда любила и поддерживала Россию, нанесено личное оскорбление. Следовательно, страна должна отомстить за предательство. Ср.: *It is precisely because we feel goodwill towards them that there is something of the bitterness of rejected courtship in our response to their recent behaviour, of which the apparent murder of Alexander Litvinenko is a bleak manifestation.* (И именно потому, что в нас есть чувство доброй воли по отношению к ним, наша реакция на их поведение, ярким показателем которого является смерть Александра Литвиненко, наступившая, вероятнее всего, в результате убийства, больше всего напоминает чувства отвергнутого влюбленного.); *Instead we must confront a defiant new Russia, fortified by possession of a substantial part of the world’s oil and gas reserves in an era when energy competition will be critical.* (Вместо этого мы должны бороться уже с дерзкой новой Россией, укрепившейся за счет обладания значительной частью мировых запасов нефти и газа в эпоху, когда конкуренция за энергоресурсы является особенно острой.) [Hastings].

Аналогия отношений между странами с не-

разделенной любовью близка и понятна всем, что усиливает прагматический эффект метафорической модели РОССИЯ – ДЕРЗКАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ. Концептуальный вектор данной модели направлен на воскрешение в памяти человека самых болезненных моментов межличностных отношений и на соответствующую реакцию: либо желание отомстить, либо забыть и никогда не вспоминать.

Интересно отметить, что когда в контексте событий в России упоминаются другие страны, американские СМИ, как правило, сравнивают политическое развитие России с собственным или ссылаются на Европу. И в первом, и во втором случае американский политический дискурс настроен предупредительно. Ср.: *The 15-year path from the demise of Gorbachev to the rise of Putin is instructive at a time when Washington is talking about planting democracy in hard soil around the world.* (Сегодня, когда Вашингтон говорит о пересадке семян демократии в почвы всего мира, из пятнадцатилетнего пути России от заката Горбачева до восхода Путина можно и должно извлечь ценнейший урок.); *Little wonder, then, that Russian officials bristle when lectured by the West about democracy.* (Если все это учитывать, то совсем неудивительно, что российская власть так ощетинивается, когда Запад начинает учить ее демократии.) [Baker]; Unfortunately for the Europeans, a number of their governments are cementing a relationship with Vladimir Putin’s Russia which, in effect, will make them hostages of the Russian bear. Russia already accounts for 26 percent of Europe’s gas imports. (К несчастью европейцев многие из их правительств укрепляют [цементируют] отношения с Россией Владимира Путина, что в действительности превратит их в заложников русского медведя.) [Rahn].

В то время как действия Вашингтона ассоциируются с земледелием, закладыванием новой жизни на неплодородной почве мира вокруг США, Кремль и Россия снова изображаются посредством концептуальных метафор, использующих в качестве сферы источника мир животных. ЧИНОВНИКИ России уподобляются СВОРЕ СОБАК, а сама РОССИЯ под руководством Путина – это МЕДВЕДЬ, мощный, сильный, дикий, устрашающий, способный удерживать других в плену. Такие агрессивные метафоры прагматически запрограммированы на устрашение читателя. Концептуальный вектор этих метафорических моделей направлен на создание в сознании читателя образа России как рычащего и угрожающего животного.

Британские СМИ, говоря о других странах в контексте России, обращают свой критический взгляд в сторону США. Ср.: *... we should be wary about jumping on a bandwagon orchestrated by the people who brought death and destruction to the streets of Baghdad, and whose aim is to neuter any counterweight to the most powerful empire ever seen.* (... нам следует проявлять осторожность и не спешить присоединяться к общему оркестру, которым дирижируют люди, принесшие смерть и разрушения на улицы Багдада, и стремящиеся уничтожить любой противовес самой мощной в истории империи.); *As part of their strategy, Washington’s hawks have been busy promoting Chechen separatism in furtherance of their anti-Putin campaign, as well as championing some of Russia’s most notorious*

oligarchs. (В рамках своей стратегии вашиingtonские ястребы активно поощряют чеченский сепаратизм в целях содействия своей антипутинской кампании, а также защищают некоторых пользующихся дурной славой российских олигархов.) [Clark]; *Though George Bush's follies have debased the coinage of freedom and democracy, these remain noble objectives, never likely to be shared by Moscow. This is a city where taxi drivers see no embarrassment in carrying miniature portraits of Stalin on their dashboards...* (Хотя Джордж Буш своими безрассудствами вырвал идеологическую основу из-под таких понятий, как свобода и демократия, как цели развития они по-прежнему остаются благородными – но Москва, этот город, в котором таксисты не стесняются держать у себя на панели миниатюрные портреты Сталина...) [Hastings].

США, а точнее Президент США, в британском политическом дискурсе ассоциируется с БЕЗРАССУДСТВОМ, стремлением к уничтожению любого конкурента. Метафора мира *животных и птиц* словно бумерангом возвращается к своему создателю. Прагматический смысл метафорической модели ПОЛИТИКИ ВАШИНГТОНА – ЯСТРЕБЫ вызывает страх перед агрессивной хищной птицей с длинными острыми когтями, способной в одно мгновение растерзать свою жертву.

Примечательно в этой связи употребление *театральной* метафоры. АМЕРИКА представляется как ОРКЕСТР под руководством своей правящей элиты, которая легким движением палочки ДИРИЖЕРА ведет оркестр на разрушение и уничтожение сил противника. Концептуальный вектор этой развернутой метафоры направлен на зомбирование и обезличивание американского народа в глазах британцев, который слепо следует указаниям своего вождя, что приводит к смертельным последствиям.

Подавляющее большинство комментариев, характеризующих современную Россию, связаны с отравлением Александра Литвиненко, которому довелось случиться на территории Великобритании. Корни таинственной смерти бывшего русского шпиона западные журналисты нашли на страницах русской истории, окрестив отравление – старой русской традицией избавления от людей, неугодных властям. Многие отмечают, что случившееся с Литвиненко больше похоже на вымысел автора детективов, а не на действительность. *The grisly death of Alexander Litvinenko by radioactivity in London has created one of the supermysteries of our time. The victim's bizarre metamorphosis from Soviet spook to Muslim human-rights champion-in-exile goes far beyond anything Le Carré would have dared, and the rest of the plot is hopelessly impenetrable.* (Ужасающая смерть Александра Литвиненко в Лондоне, вызванная радиацией, стала одной из самых больших тайн нашего времени. До такого выверта, как превращение жертвы из советского шпиона в чемпиона-поборника прав человека, к тому же мусульманина, не додумался бы никакой Ле Карре; что же касается остальной части сюжета, то она вообще окутана непроходимой тьмой.) [Schmemmann]; *The unsolved poisoning is an old Russian tradition. Historians are still arguing about the role of poison in the death of Ivan the Terrible in 1584 – as well as in those of Rasputin in 1916 and Maxim Gorky in 1936.*

(Нераскрытое отравление – это старая русская традиция. Историки все еще спорят по поводу той роли, которую сыграл яд в смерти Ивана Грозного в 1584 году, Распутина в 1916-м и Максима Горького в 1936-м.) [Rachman].

Возведение отравления в ранг СТАРОЙ РУССКОЙ ТРАДИЦИИ осуществляется с очевидной целью манипуляции сознанием читателя, поскольку направлено на формирование недоверия к стране и народам, живущим в ней, и желания держаться в стороне от страны с такими жуткими традициями.

В британских СМИ часто пишут о том, что Россия охвачена серьезным психическим заболеванием. Представление РОССИИ как ДУШЕВНО БОЛЬНОГО ОРГАНИЗМА свидетельствует об отношении к России как к умственно неполноценному организму, подверженному устойчивому бреду. С такой страной исключены серьезные дела и отношения, т.к. она больна, нуждается в изолировании от общества и лечении. *Western revulsion from Russian behaviour, including the murder of Litvinenko, merely feeds Russian paranoia.* (Отвращение Запада, порождаемое поведением России и в том числе убийством Литвиненко, лишь усиливает подкармливает российскую паранойю.) [Hastings]; *Putin can never know how popular he truly is, so instead paranoia sets in, the Kremlin stifling anything that could upset his dominance of the political scene.* (Путин не знает точно, насколько он в действительности популярен, поэтому у Кремля начинается паранойя и он душит на корню все, что можно противопоставить господству Путина на политической арене.) [Walsh].

Другим распространенным образом, эксплуатируемым для разоблачения и уничтожения России в политическом дискурсе США и Великобритании, является метафорическая модель РОССИЯ – БАНДИТСКОЕ ГОСУДАРСТВО, опасное место, где торжествуют коррупция и порок. Ср.: *Corruption, violence and vice have triumphed in Putin's Russia* (В путинской России празднуют победу коррупция, насилие и порок.); *Instead, to our bewilderment, Russia is institutionalising a state gangster culture which promises repression and ultimate economic failure for itself, fear and alienation from the rest of the world.* (Как бы там ни было, Россия, к нашему полнейшему замешательству, возводит в ранг политики культуру государственного бандитизма, своему народу обещающую лишь репрессии и окончательный экономический развал, а остальному миру – страх и отчуждение.) [Hastings]; *Who are all these Russian "businessmen," a term that seems to cover anything from a government minister to some of the richest thieves on earth?* (Кто на самом деле все эти российские "businessmen"? Такое впечатление, что это слово уже обозначает все что угодно – от министра правительства до одного из самых богатых мошенников на планете.) [Schmemmann]; *Organized crime gangs teamed up with former KGB operatives who used their knowledge of financial conduits abroad to literally plunder the country.* (Организованные преступные группировки объединились с бывшими оперативными сотрудниками КГБ, использующими свои знания финансовых подземных ходов за границей, чтобы в прямом смысле грабить страну.) [Arnaud de Borchgrave].

Устойчивое использование метафорической модели РОССИЯ – БАНДИТСКОЕ ГОСУДАРСТВО закрепляет в сознании адресата перманентное

желание держаться подальше от этой страны. Наиболее яркие метафоры используются при упоминании о Кремле и его главных лицах, действующих не менее агрессивно, чем бандиты. Ср.: *Oh yes, there are politics in the Kremlin, vicious politics. It's just that they've reverted to the form famously described by Winston Churchill as a bulldog fight under a rug: "An outsider only hears the growling, and when he sees the bones fly out from beneath it is obvious who won."* (Политики в Кремле предостаточно, причем злой и жестокой – они просто вернулись к старым ее формам, говоря о которых, Уинстон Черчилль и употребил выражение 'схватка бульдогов под ковром': 'сначала наблюдатель слышит только рычание, а когда из-под ковра летят кости, уже понятно, кто победил'.); *So long as Putin remains strong, the men around him will appear totally loyal. Under the rug, however, the knives are already out.* (Пока Путин останется в силе, его окружение будет по-прежнему всячески выказывать ему свою верность. Однако те, кто под ковром, уже точат ножи для схватки.); *For now it is in Putin's interest to stay out of the fray. Once he proposes an heir, after all, he's a dead duck – sorry, lame duck.* (Поэтому сам Путин сегодня больше всего заинтересован в том, чтобы ни в какие схватки не вступать: ведь стоит ему объявить, кто будет преемником – и он [мертвая утка] (то есть в чисто политическом смысле, конечно.) [Schmemann].

Интересно, что для изображения участников политической жизни России во многих случаях прибегают к использованию сферы источника метафорической экспансии *животные*. РОССИЙСКИЕ ПОЛИТИКИ – СИЛЬНЫЕ И АГРЕССИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ, готовые в любую минуту напасть и убить друг друга. В этой связи кажется вполне оправданным употребление *милитарной* и *морбиальной* метафоры, поскольку драка животных это жесткое сражение, которое может привести к гибели участников. Однако за этим рядом метафорических образов скрываются не преступники и не заключенные, а главные политики России, и такая метафорическая экспансия очевидно дискредитирует правящую элиту России и утверждает читателя в мысли, что с политические отношения с Россией чрезвычайно опасны.

Примечательным является тот факт, что экстремальные формы поведения приписываются в американском и британском политическом дискурсах не только верхней страте российского общества, но и самому русскому народу, вызывая в памяти старинную русскую мудрость: «С волками жить, по-волчьи выть». Ср.: *Russian responses to western failures of deference have often been indistinguishable from those of the yob on a suburban train who assaults an innocent commuter because he dislikes the way the man looks at him.* (Реакция русских на то, что Запад не выказывает по отношению к ним должного уважения, очень часто неотличима от действий хулигана в электричке, избивающего ни в нем не повинного пассажира, потому что ему не понравилось, как тот на него смотрел.); *Why, having tasted freedom and democracy, should they wish to return to the murderous practices of Stalinism?* (Почему сейчас, когда русские наконец узнали вкус свободы и демократии, они решили вернуться к убийствам эпохи сталинизма?) [Hastings]; *It's easy to pick on*

the Russians. They miss being a world power. They seem to be up to their eyes (as always) in intrigues. (Издаваться над русскими очень легко. Они скучают по тем временам, когда их страна была великой державой. Они полностью поглощены (как, впрочем, всегда) интригами.) [Madigan].

В приведенных примерах РУССКИЕ представляются как АГРЕССИВНЫЕ ХУЛИГАНЫ, способные на необъяснимые жестокие поступки. Концептуальный вектор данного образа направлен на предупреждение бдительных и аккуратных американцев и британцев об экстремальности и неадекватности поведения русских. Данная метафора красноречиво убеждает читателя, что русские – ЧУЖИЕ и никогда СВОИМИ не станут. Зная вкус свободы они предпочитают не утруждать себя раздумьями, что и как делать, а делать так, как им скажут. Их история это не только история государственных отравлений, но и история многочисленных интриг, которые не дают обществу расслабиться. В британском политическом дискурсе русские становятся своеобразным собирательным образом ЭКСТРЕМАЛОВ, не отказывающихся от контроля сверху и влюбленных, как это ни странно, в деньги. Ср.: *And so it follows, on the pendulum of extremes that is society here, that while the country's direction can be intensely sad and worrying, it should, just moments later, be intensely hopeful.* (Общество в этой стране – маятник, качающийся из одной крайности в другую. Если направление, в котором оно идет, вызывает печаль и тревогу – значит, через несколько секунд оно обязательно покажет блестящие перспективы.); *Russians have fallen irreversibly in love with denghi – their ugly word for money – and the mobility and riches of the globalised world.* (Русские безвозвратно впали в любовь к тому, что здесь называется некрасивым словом 'denghi'. Они навсегда полюбили мобильность и блага, которые дает глобальный мир.) [Walsh]; *How can they acquiesce in Putin's restoration of tyranny? Here is a nation suddenly granted wealth which might enable its people to become prosperous social democrats like us.* (Как могут русские молча соглашаться на восстановление Путиным тирании в стране? Это нация, на которую неожиданно-негаданно свалилось богатство, которое может сделать их общество таким же процветающим и социал-демократическим, как наше.) [Hastings].

Оригинально и свежо смотрится в политическом дискурсе метафора нечаянно СВАЛИВШЕГОСЯ на россиян БОГАТСТВА, обнажающая такое ранее неизвестное качество русского национального характера как АЛЧНОСТЬ к деньгам. Несомненно, такой образ современных русских создан с прагматической целью унижения народа России в глазах читателей. Хотя указанные характеристики являются не особенностью какой-то нации, а общечеловеческими слабостями, людям несвойственно проецировать недостатки на себя. Таким образом, русские снова оказываются ЧУЖИМИ в лингвокультурологической дихотомии СВОИ-ЧУЖИЕ.

В лучшем случае в анализируемых статьях Россия нашего времени оценивается под общим лозунгом «ни друг, ни враг». Отдельные журналисты, зачастую проработавшие в России

продолжительный период времени, пытаются писать о нашей непостижимой стране в позитивном ключе, разбавляя поток уничижительных публикаций. В их статьях акцент ставится на увеличившемся благосостоянии населения страны и на изменениях мнения россиян о том, каким должно быть цивилизованное общество. Ср.: *Russia is swimming in money; its economy has grown fivefold under Putin, from \$200 billion to \$920 billion, and the once-destitute government has paid off its international debt in full and early.* (Россия буквально купается в деньгах, за годы правления Путина ее экономика выросла в пять раз – с 200 миллиардов долларов до 920 миллиардов, а правительство, еще несколько лет назад нищее, уже полностью, причем досрочно, погасило весь свой внешний долг.) [Baker]; *My 4 years here have seen an ugly surge of authoritarianism in Russia but also vast economic freedoms; the broad repression of dissent, but also a hardened popular understanding of how a proper, civilised society should be...* (За те четыре года, что я провел в России, я увидел жуткий всплеск авторитаризма, но при этом огромное расширение экономической свободы; увидел репрессии в отношении инакомыслящих, но при этом укрепление в массовом сознании определенных принципов того, каким должно быть нормальное цивилизованное общество...) [Walsh]; *Ostensibly these reforms are aimed at strengthening Russia's hand in fighting terrorism...* (Очевидно эти реформы направлены на [укрепление силы руки] России в борьбе с терроризмом.) [Sevunts].

В цитируемых высказываниях латентное психологическое воздействие на читателя оказывается посредством метафорических моделей РОССИЯ – БОГАТАЯ СТРАНА, РОССИЯ – СИЛЬНАЯ СТРАНА. Если учесть, что как в американском, так и британском национальном сознании существует отношение к богатству как к результату колоссального труда, то концептуальные векторы метафор «купания в деньгах» и «укрепления силы» направлены на привлечение внимания к преобразившейся, помолодевшей и набирающей силы стране. Это формирует уважение к долгожданной эволюции в российском обществе, лишенном возможности движения вперед в прошлом веке.

Таким образом, в ярком сиянии метафор, представляющих путинскую Россию в политическом дискурсе США и Великобритании «заложниками русского медведя», оказываются не только иностранные государства, зависящие от энергоресурсов России, но и сама Россия, угловатая в ловушки, расставленные историей государства с сильной властью, сосредоточенной в руках самодержца, и демократией в зародыше. По представлению западных СМИ, страна находится в плену своих традиций, к сожалению, далеко не радужных. Другими словами, исследование метафорического представления современной России показало, что на зарубежном политическом дискурсе складывается удручающий и наводящий страх имидж России. О том, что это за явление, черный пиар или реальное состояние дел в стране, большинство иностранных граждан, получающих сведения о России из рассмотренных СМИ, не задумыва-

ются. Может быть, есть смысл самой России задуматься над улучшением своего имиджа на международной арене?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Arnaud de Borchgrave. Using cues of the past // The Washington Times, May 10, 2005.
 Baker P. Which Way Did It Go? // The Washington Post, Dec. 25, 2006 // <http://www.washingtonpost.com>.
 Clark N. In bed with Russophobes // The Guardian, Dec. 4, 2006 // <http://www.guardian.co.uk>.
 Hastings M. Corruption, violence and vice have triumphed in Putin's Russia // The Guardian, Nov. 27, 2006 // <http://www.guardian.co.uk>.
 Madigan C. M. Finding another Russia // Chicago Tribune, December 27, 2006 // <http://www.chicagotribune.com>.
 Medish M. Again, Russia is waiting for Godunov // Financial Times FT.com, Dec. 7, 2006 // <http://www.ft.com>.
 Playing a dangerous game // The Economist, May 11, 2006 // <http://www.economist.com>.
 Rachman G. Neither friend nor foe, Russia tests the limits of realism // The Financial Times, Dec. 5, 2006 // <http://www.ft.com>.
 Rahn R. W. Russian bear sets a trap // The Washington Times, Dec. 1, 2006.
 Schmemmann S. A guide to what's happening in Russia // The International Herald Tribune, Dec. 19, 2006 // <http://www.iht.com>.
 Sevunts L. Vladimir the Great roiling Russia // The Washington Times, Nov. 14, 2004.
 Skidelsky R. Could the poisoner be from Prince Putin's court // The Times, Nov. 20, 2006 // <http://www.timesonline.co.uk>.
 The Kremlin is killing Russia's rule of law // The Financial Times, Dec. 4 2006 // <http://www.ft.com>.
 Walsh N. P. How I learned to love Vlad // The Guardian, July 31, 2006 // <http://www.guardian.co.uk>.

© Красильникова Н.А., 2007

Santa Ana Otto

Los Angeles, the USA

WHAT YOU SAY IS WHAT YOU GET: METAPHOR ANALYSIS OF U.S. PUBLIC DISCOURSE ABOUT EDUCATION

Аннотация

В данной статье на основе изучения целого спектра газетных статей представлен анализ современного дискурса американской прессы, посвященного проблемам образования США. Выборка была обработана с учетом положений когнитивной теории метафоры, которая объясняет особенности человеческого мировосприятия. Наше исследование – это попытка показать, как американское общество и политики изображают сферу государственного образования при помощи концептуальных метафор. Были выделены 3 модели: школа как завод, учебная программа как путь, социализация как река. Следуя когнитивной теории метафоры, эти модели определяют изменения в системе образования. Помимо этих устоявшихся метафор, автор предлагает альтернативные «партизанские метафоры», как один из способов изменить взгляд Америки на систему образования США.

U.S. newspapers regularly claim there is a crisis in American public education. The votes of the American electorate and its representatives also seem to bear out this all-too permanent institutional predicament. Voters and their representative at all levels (in local board elections, at board meetings, on state referenda, and at the federal level) have each sought to improve the public educational institution. Yet in spite of these actions, the votes, the new programs, and billions of dollars invested, American public schools have experienced minimal change. Many economic, sociological and pedagogic explanations have been given for the country's inability to make much headway, as well as

critiques of the avowed crisis. (See Berliner & Bidle (1995) or Varenne & McDermott (1998) for critiques of the manufactured public's sense of a crisis. Dennis & LaMay (1993) and Maeroff (1998) focus, in particular, on the mass media's role in this crisis.)

In this article I offer an empirical study of how the U.S. public thinks about American public education. I look at the language used in the print media discussions of the public education that were generated during the political campaigns that passed the California 1998 anti-bilingual education referendum, Proposition 227.

To gauge public discourse, I sample print media in two ways. My research team comprehensively sampled the *Los Angeles Times* for a two-year period leading up to the vote on the referendum to obtain a deep assessment of the local and regional public discourse. Additionally, for a broad sample of U.S. public discourse on public education, we sampled a score of other major English-language newspapers over the same period. This data was interpreted in terms of cognitive science principles regarding the power of everyday metaphor to constitute the electorate's understanding of social issues. This study departs in significant ways from many other educational studies of discourse, to which we turn.

SITUATING THIS STUDY AMONG DISCOURSE STUDIES OF EDUCATION. In line with the late 20th century "linguistic turn" in social theory (Chilton 1996, pp. 37-40; Fairclough 1989, p. 13), educational scholars have responded with focused attention on the discourse of their profession. Two of the toolsets that scholars have used in this task are critical discourse analysis and the cognitive metaphor theory. Regarding the first, Luke provides a pithy description of the goal of critical discourse analysts, to "denaturalize everyday language." We attempt to make "sensible and available for analysis everyday patterns of talk, writing, and symbolic exchange that are often invisible to participants." We also argue that text representations are not forthright and natural depictions, but "discursive artifacts" that "disguise their own status and authority through linguistic techniques" (Luke 1995-1996: 12, 19).

Regarding the second toolset, the fundamental claim of metaphor theory can be stated as succinctly. People do not make sense of their surroundings in terms of logic and reason. Instead, images make up a central part of human thought. Humans build their concepts of the world in terms of images. In text and speech, this image formation function is expressed by means of metaphor. George Lakoff has developed a full account of this epistemology over the last fifteen years that he calls Embodied Realism (Lakoff, 1993 and 1999; Lakoff & Johnson, 1980).

Metaphor analysis of public education has taken several forms. From a literary point of view, Danahy (1986) offered an early study of the education profession's use of metaphor to characterize second language students. More recently, Guerra

(1998) employed cognitive science's tools on the metaphors educators use to conceptualize LITERACY. Wolfe (1999) compared two generally used metaphors, LEARNING AS ACQUISITION and LEARNING AS PRACTICE, teachers use to describe the learning of students of English as a second language. [[Please note the typographical convention to distinguish the metaphor (which is not a word but a correspondence relationship between two semantic domains), from text instances of a metaphor. The metaphor will be indicated in SMALL CAPS, as in LEARNING AS ACQUISITION.]] Most recently, Cook-Sather (2003) provided a statement on social scientists' root metaphors for education *per se*, EDUCATION AS PRODUCTION and AS CURE. These researchers cite many other studies of metaphor in professional discourse. For a study of the educational metaphors used within a classroom, see Cameron (2002). For a different kind of analysis of curricular discourse, see Pinar (1988 and 1995).

With the first set of tools, Kumaradivelu (1999) analyzed classroom discourse critically, while Fennimore (2000) builds on Postman & Weingartner's (1969) institutional "semantic environment" concept. Fennimore presents a treatment on the totality of language used by teachers in schools as creating a "language environment" which has significant impact on student outcomes, which compound the difficulty of non-mainstream students. As in metaphor studies, these latter scholars have focused on the discourses of educational professionals-not everyday people.

In contrast to the foregoing studies, I offer a study of the American public's conversation about education. Many scholars have previously studied the public discourse of education in various ways, although they have not used cognitive metaphor theory linked to critical discourse analysis. Noguera (1995) compares the public testimony regarding school desegregation in two cities in which the public education discourse has shifted from explicit discussions centered on race to the implicit terms of school safety and academic standards. Noguera bases his analysis on race and racialization concepts of Omi & Winant (1987), among other non-linguistic frameworks. From yet another angle, some anthropological linguists have recently focused their attention on speaker linguistic awareness and on both referential and non-referential language functions. Silverstein defines language awareness as "sets of beliefs about language articulated by users as a rationalization or justification of perceived language structure and use" (quoted in Kroskrity 2000, p. 5).

In the present article, I study the semantic expression in language using prose metaphor as the unit of measure. I claim that key conceptual metaphors articulate an underlying of American ideology of public education. In contrast, language ideology studies by linguistic anthropologists focus on the characterization of language, such as American English, as a key symbol of language ideology. Four aspects define their work. First, "language ideologies represent the perception of language

and discourse that is constructed in the interest of specific social and cultural group" (Kroskrity, 2000, p. 8); Second, "language ideologies are profitably conceived as multiple...within sociocultural groups that have potential to produce divergent perspectives expressed as indices of group membership" (*ibid.*, p. 12). Third, "members [of sociocultural groups] may display varying degrees of awareness of local language ideologies" (*ibid.*, p. 18). Lastly, "members' language ideologies mediate between social structures and forms of talk" (*ibid.*, p. 21).

While I focus in this article on the metaphorization of public education, I share with language ideology scholars their first and last assertions. I took special interest in their second assertion and looked specifically for ideological diversity in U.S. public education discourses at the level of prose metaphor. As I will indicate below, I found almost no diversity. Nor did I find significant awareness among the public or professionals that metaphor generates ideology. Although I will use public discourse that was generated during the political campaigns for and against bilingual education, this article does not focus on the public's stated views on language, *per se*. (For such a study, please refer to Santa Ana, 2002, chapter 6).

Cognitive metaphor theory and critical discourse analysis have previously been combined to study the public's conversation about education. Luke (1995–1996) used critical discourse analysis to reveal the subject positioning and reading positioning in several distinct teaching settings, including a Sunday school teacher's interaction with primary school-aged children, teacher talk in a fourth grade of Aboriginal and Anglo-Australian students, and one possible reading by a teacher of an official school guidebook. Gee (1999) playfully teaches the pervasiveness of discourse as a buttress of social structure, and the wide range of social science disciplines that have responded to the "linguistic turn," by offering illuminating illustrations of both classroom and non-classroom discourse in his masterful text on discourse analysis. Finally, Miller & Fredericks (1990) employed metaphor theory to establish the implicit ideological stance of the authors of the highly influential 1983 report, *A Nation at Risk*, which has been credited with initiating the American crisis mode for public education.

In the present study, I integrate within critical discourse analytic framework (as does Luke and Gee) the insights of metaphor theory (as does Cook-Sather, and Miller & Fredericks). Like the aforementioned scholars, I claim that the very language used to talk about public education constrains the discourse user's understanding of the institution of public education. However, I privilege metaphor as the unit of inquiry. For that reason, I interpret my findings regarding how the public understands the institution of public education in terms of the cognitive science metaphor theory.

THE SETTING AND ANALYSIS OF A POLITICALLY-CHARGED DISCOURSE. During the 1990s in California, newscasts regularly reported on a mounting public education crisis, and that La-

tinios and other language minority students in particular were suffering as a result. Most research of the time indicated that diminishing state investment in public education precipitated the crisis. Many figures could be cited, such as that state education officials had annually certified that California school districts with English-only programs performed no better than their bilingual counterparts. Few credible scholars focused on the language of instruction of language minority students as cause of their plight (Carroll *et al.*, 2005). Nevertheless, teaching methods were put forward as the culprit. Ron Unz, a millionaire businessman with no educational credentials, drew an irrelevant conclusion. He ignored vast evidence of statewide under-funding of public education coupled with structural inequities across districts that closely corresponded with poor school performance of Latinos. Instead, Unz incorrectly deduced that bilingual education kept these English language learners from learning English. Latinos made up eighty percent of those bilingual classrooms. Hence rather than a structural reason, Unz asserted that classroom instruction in Spanish led to their academic failings. He offered California voters a statewide referendum, Proposition 227, to eliminate bilingual education in public school classrooms. Unz' intuitions were sharp. He had located not the cause of this educational predicament, but the presumption among lay people about these students' problem. Proposition 227 had instantly appeal and led in opinion polls from its first day in the public eye. It ultimately was approved in June 1998. During the two years prior to its vote, the public focused its attention on Latino public education, producing a great deal of news reports which I have gathered to analyze in this paper.

Because I am a Chicano social scientist, the findings of my research on politicized topics such as Proposition 227 are frequently read with more than average professional skepticism. Critical discourse analysis expressly purports to be both a scientific and normative enterprise (van Dijk 1993, p. 253). Further, all analysis of political issues is normative (Himmelfarb, 1996). Consequently, when I investigate politicized topics I should proactively address the two judicious doubts that skeptics will have about such research. One, the skeptic will dismiss analyses that appear to have a selectional bias. By this, doubts arise if it seems that the investigator has "cherry-picked" data, choosing only the material that suits his/her political stance. Two, the skeptic will reject any analysis that seems to interpret the data with a bias. In short, the reader must be reassured that the researcher's political bias does not predetermine the findings of the study. I will describe the research protocol I used to forestall these biases.

First I prevented selectional bias with a series of steps. Having established Proposition 227 as the topic of investigation, I decided to use newspaper texts as my source of public discourse on this topic. I chose to use making the massive commercially produced electronic database, LexisNexis[®], because it independently indexes the newspaper arti-

cles it archives. I wanted to gather articles both intensively (many articles from one newspaper) and extensively (articles from across the country). To do this, I designed two kinds of searches, with prior decisions on both the range of dates, and the streams of public discourse on which to draw. By using a Boolean formula that included the previously determined time frame and print sources, with one keystroke I could electronically download a complete set of independently indexed newspaper articles. This large set of news articles became the sample of public discourse that my team analyzed in this article. Because I did not create the index of articles, and because every news article in this sample was analyzed, the data was not cherry-picked. That is, this analysis is based on a comprehensive examination of the data sample.

To preclude the second criticism of biased interpretation, I personally did not read or analyze major portions of the news texts. Instead, I established a research protocol so that different groups of readers would do the reading and interpreting for me. I trained UCLA undergraduate students in the basics of critical discourse analysis and metaphor theory, using articles from the sports and business sections of newspapers. By introducing them to theory and method using unrelated news articles, I avoid inadvertently shaping their judgments regarding the metaphors that appeared in the Proposition 227 news articles.

Each reader was trained to identify conceptual metaphors—the object of this investigation – and to code the source and target domains of each text instance of a metaphor. To use the terminology of Lakoff and Johnson (1980), a metaphor is a conceptual mapping from a semantic source domain to a different semantic target domain. Here from the *Los Angeles Times* is an illustration: "It's such a demanding profession," Miyagawa said. "And yet, kids are great. They surprise you. And when they blossom! Wow. It's awesome, it really is." (*Los Angeles Times*, 18 Sep 95, page A-1). In this verbatim excerpt, a teacher uses the word **blossom** to describe his students. In this case, the source semantic domain of the metaphor is FLOWER, and the target semantic domain is STUDENT. [[In this article, each news text instance of a metaphor will be shown in **boldface**, as in **blossom**. When the groups of readers determined that words such as *blossom*, *tend*, *sow*, *cultivate* expressed the same conceptual mapping, these words were classified as distinct instances of one metaphor. In contrast, the metaphor itself is presented in SMALL CAPS, as in the metaphor, STUDENT AS CULTIVATED PLANT.]] Once the student readers became proficient at these tasks, different readers were assigned overlapping subsets of the total news article sample. In this way, different individuals independently read and coded the same article. I did not pre-establish any set of terms for coding the metaphor sources and targets. Each reader independently coded the metaphors that appeared in newspaper article, even determining their own labels for the source semantic domain and target semantic domain of each

metaphor. Once each reader had completed her/his initial reading of the articles, they came together in groups to compare their individual interpretations. They were asked to present their coded interpretations to one another to see if they could arrive at a consensus on each instance of a metaphor in each article. I instructed them to try to reach a consensus for each particular instance of a metaphor. If they could reach a consensus, it would be added to the metaphor database. If no consensus could be achieved among separate groups of readers for a particular text instance of a metaphor, then it would be eliminated from further consideration. My goal was to obtain a high level of intersubjective reliability of interpretation. By this we mean different readers are very likely to arrive at the same interpretation of a given piece of text, at the level of the particular instance.

For the intensive assessment of a single source of public discourse, different teams of readers completely coded the full sample totaling 113 articles indexed "Proposition 227" that appeared in the *Los Angeles Times* over a two-year period leading up to the referendum vote, between June 1996 and July 1998. The *Times* was selected because it is the newspaper with the greatest distribution in California. For the second wide-ranging sample of U.S. public discourse on public education, I sampled twenty-three major newspapers over the same period.

The *Los Angeles Times* was selected for intensive analysis because it is one of a handful of U.S. newspapers of record and is widely distributed across a large daily readership. I have argued that an empirically rigorous metaphor-based critical discourse analysis of a single U.S. mass media source, such as the *Times*, on any political topic (in this case, U.S. public education) is likely to reveal the same constituent metaphors employed by other U.S. mass media sources (Santa Ana, 2002). The nation's most politically conservative and progressive mass media use the same conceptual metaphors to constitute discourses on major political topics. Others have previously made this claim from different disciplinary stances, such as Hall, *et al.* (1978); Foucault (1979); and McGee (1980). This has been documented in the public discourse of another colonizing nation, for example see Danso & McDonald (2000). For the U.S. case, refer to Ono & Sloop (2002).

In 2003 LexisNexis® catalogued over forty news sources it called "major newspapers." My team downloaded articles appearing from May 1996 to June 1998 from the following papers: *Chicago Sun-Times*, *Daily News* (New York), *Omaha World-Herald*, *St. Louis Post-Dispatch*, *Atlanta Journal and Constitution*, *The Boston Globe*, *Boston Herald*, *Denver Post*, *Denver Rocky Mountain News*, *Houston Chronicle*, *New York Times*, *Plain Dealer*, *San Francisco Chronicle*, *Seattle Times*, *Washington Post*, and *USA TODAY*.

Each newspaper article instance of a metaphor was thus intersubjectively analyzed, which means that more than one person made free judgments

about the source and target domains. The readers initially had a great deal of variation in the terms used to code the target and source semantic domain of each instance of a metaphor, since the authors provided minimum guidance for the labeling. However, readers of the same articles easily recognized the same instances of metaphors in the article, and negotiated an appropriate label for sources and targets. In the end, consensus was achieved for well over 90% of instances of metaphors initially located in the Proposition 227 news article sample. Once the groups of readers came to consensus on each text instance of a metaphor in the downloaded sample of news texts, my team discussed various possible classifications of similar metaphors.

Public discourse metaphors tend to be either occasional or productive. Occasional metaphors are semantically unrelated to other metaphors, appearing in one or two linguistic expressions, and carry little constitutive weight. On the other hand, productive metaphors are not limited to a finite set of linguistic phrases. They occur in a multitude of forms. When used to depict crucial political concepts, they are linked to other semantically related concepts in well-rehearsed narratives that recite commonplace aspects of our world. When they become conventionalized, these tropes constitute and legitimate particular forms of institutional structure, in this case, U.S. public education. In the final step of the research method, I took the lead to focus the teams' attention on the three highly productive metaphors located in the newspaper data, which will be discussed in the following section.

AMERICAN PUBLIC EDUCATION METAPHORS. I find that U.S. society conceptualizes public education with only three productive conceptual metaphors. The first predominant metaphor, SCHOOL AS FACTORY, provides the conceptual framework for what public schools are designed to do. The metaphor is over one hundred and fifty years old. Its semantics (content and associated relationships) continue to configure everyday understandings of what a student is, and how a child learns in the mind of the American public. An unrelated second metaphor, CURRICULUM AS PATH, informs curricular aspects of education. The third metaphor, SOCIALIZATION AS RIVER, governs our thinking about the socialization process of associated with public education. The importance of these three metaphors for policy considerations of American public education is discussed below. We begin with the school.

What is a School? The pivotal conceptual metaphor guiding our understanding of public education revolves around the notion of school. In the 1840s, at the height of the American industrial age, the most exciting new institution on the scene became the frame of reference for the new notion of public education. At the outset of the 21st century, this metaphor still represents schools as the manufacturing centers of an educated citizenry: SCHOOL AS FACTORY. Many of the key semantic elements that we commonly understand to constitute a facto-

ry are imposed on the constituents of the school – the students, the teaching process, the teachers, and the precepts and standards for running the school. In the metaphor database developed to study public discourse on public education, the following excerpts from the *Los Angeles Times* were located. Each of the numbered verbatim excerpts in this article, except when otherwise noted, is from the *Los Angeles Times* 1993–1998. In the following instances from news reports that exemplify the SCHOOL AS FACTORY metaphor:

1. "The first **batch** of students is tested" (28 Feb 97, page B1)
 2. "**drill** more English into nonfluent students" (14 Apr 97, A3)
 3. "I am telling [teachers], 'You know in my heart that I am your friend, but, collectively, we simply have to **produce a better product**,'" [said California Governor Gray Davis] (13 Mar 98, A1, A24)
 4. "a two-year study to **measure the effectiveness** of these [educational] programs." (29 Mar 95, B3)
- [[Please note in these excerpts that quoted passages retain the original quotation diacritics. To keep the excerpts brief, we added text in [brackets] to clarify the propositional content of each excerpt.]] The FACTORY metaphor is expressed in many forms, such as:
5. 'Plenty of us do not feel this [ESL program] is **running smoothly**' (18 Apr 98, B3)
 6. training teachers to spot the initial signs of reading problems and **fix** them (4 Oct 98, B1)
 7. The proposed **overhaul** of...bilingual education (17 May 96, B-1)
 8. **revamp** the way [a school] teaches students (Oct 10, 1998, B7)
 9. **dismantle** language programs (9 Mar 95, A1)
 10. **teacher shortages** (25 Nov 98, B2)
 11. **scrapping** bilingual instruction (9 May 97, B5)

Everyday metaphor, as casually used in commonplace public texts, is a crucial measure of the way that public discourse articulates and reproduces societal relations. Although at first, these metaphoric expressions might seem to be no more than rhetorical flourishes of minor importance, the centrality of metaphor in the construction of the social order is vigorously argued in cognitive theories. In fact the view that metaphor is merely ornamentation results from the belief that metaphoric understanding is derivative of literal expression, and that metaphor is consequently a marginal element in the material of discourse. Rejection of the ornamental evaluation of prose metaphor is keeping with the linguistic turn in the social sciences. The intellectual origin of this view that language and discourse have great import in the organization of the social world can be traced back in the German tradition to the linguistic anthropologist Alexander von Humboldt and to the philosopher Gottlob Frege, who made the first inquiries steering social theory in this direction. Frege noted the well-known logical dilemma that the evening star and the morning star cannot be logically identical, but are indeed identical. His solution, that both intentions and extensions exist, that is to say two senses can refer to a single entity, in this case the planet Venus, provoked a line of philosophic analysis that gives precedence to the concept over the object. Lafont

paraphrases this insight as follows: "linguistic expressions are held to determine, if not what there is, at least what there *can be* for a linguistic community-or what such a community *can say* (i.e., *believe*) that there is. In this sense, the key function of language is held to lie in its *world-disclosing capacity*" (1999, xii, emphasis in the original).

To estimate the social impact of a public discourse metaphor, we can look at the semantics that are imposed on the target semantic domain, SCHOOL, by the meaning structure of the semantic source domain, FACTORY. Metaphor theorists have argued that a constitutive metaphor underpins and validates worldviews that are consistent with its source semantic domain (Lakoff, 1990, 1993; Gibbs, 1994). Accordingly, we appraise the social effects that the metaphor establishes, in this case, the American public understandings of its public schools. Consider the notions of the semantic source domain FACTORY that are imposed on the notion of SCHOOL. This should be familiar since evidence of the factory is found everywhere in today's world, and people take its function and its products for granted. Factories produce all kinds of objects, from vitamin pills to automobiles. Factories of all kinds share many properties. For example, these products are standardized, so that a newly produced dry board eraser or school bus is indistinguishable from another. When the metaphor circulates in public discourse, the commonly shared semantics of FACTORY are automatically impressed on our understanding of schools.

It is understood that in factories, the production process of such commodities has been broken down into its components and systematized. Machines are linked together by conveyor belts. The cheap raw material entering the factory is carried along on conveyor belts from one machine to another. Each machine performs a sequence of tasks. Factory workers dot the assembly line. Each worker also performs a narrowly defined activity in the fabrication of the finished product. The workers execute their bit of the manufacturing process over and over in elementary routines. Repetition and boredom, rather than creativity and ingenuity, is characteristic of factory jobs.

What is a School child? What is Learning?

Following the entailments of SCHOOL AS FACTORY, today's public understanding of learning is identical to the view held by Thomas Gradgrind, a character created by Charles Dickens 150 years ago:

"Now, what I want is Facts. Teach these boys and girls nothing but Facts. Facts alone are wanted in life. ...You can only form the minds of reasoning animals upon Facts: nothing else will ever be of any service to them.' ...The speaker, and schoolmaster, and the third grown person present, all backed a little, and swept with their eyes the inclined plane of little vessels then and there arranged in order, ready to have imperial gallons of facts poured into them until they were filled to the brim" (Dickens, 1854, p. 1).

Gradgrind, patron of a self-proclaimed model urban school in 1850, expounds an obsolete view

of learning and students that Dickens satirizes at the time. Unfortunately, this metaphor continues to have a profound impact on the experiences of U.S. schoolchildren today. From the point of view of educational traditionalists, mechanistic metaphors about learning are often still apt. These include the STUDENT AS EMPTY VESSEL to be filled with knowledge, AS COMPUTER to be programmed, or AS MACHINE to be built and tuned by educators. Paulo Freire is renown for his critique of what he calls the banking model of hegemonic education. Freire depicts the banking model where teachers toil to forge knowledge in a mechanical manner to establish in the minds of children a singular view of the world (Freire, 1970, pp. 57-60). Note that the empty vessel metaphor for student learning is semantically consistent with the banking metaphor for school as an institution.

On the other side, educational constructivist theorists hold the view that each student constructs his/her own knowledge. In this model, teachers are not knowledge blacksmiths or computer programmers. The teacher is a facilitator, assisting students build their own knowledge. Knowledge is a construct created by each learner; it is not external to the child. Even ' $1 + 1 = 2$ ' must be constructed by each child in order for it to become his or her own knowledge. The child is far more dynamic, constructivists would argue, with the KNOWLEDGE AS CONSTRUCT metaphor than within the traditional viewpoint that knowledge consists of discrete external facts.

The debate between mechanists and constructivists was engaged in professional educational circles decades ago. It deserves greater media coverage, because of its important implications for American public education. If the American public were exposed to these fundamental metaphors, it would be possible for the public to reconsider how to best educate America's children from a principled basis. However, as measured by the metaphoric imagery sampled in the newspaper data sets, the public remains unaware that the debate took place long ago in the educational research arena, and that the mechanists lost. Consequently, contemporary public discourse on education is not illuminated by current conceptual paradigm, much less the latest research regarding how children learn. Instead, the public discourse on education continues to be framed in archaic terms.

Mechanistic metaphors for learning go uncontested in public discourse, guiding the operationalization of American public schooling today. The orthodoxy is taken as given in U.S. public discourse. On the other hand constructivist imagery appears only rarely, and then is presented as "theory," which is to say a junior rival and pretender to the orthodoxy. In U.S. educational discourse, as sampled in the *Los Angeles Times* corpus, most metaphors reflect views that children are passively taught by knowledge holders.

One way to gauge the power of orthodox metaphors to guide popular understanding of learning is to trace the verbs used to characterize students

and teachers. Using the corpus of articles appearing May 1996–June 1998 from many different newspapers, we tested the conceptualization of student as a passive recipient of education by comparing the use of the verbs: *teach* and *learn*. This search was narrower. We downloaded the articles retrieved in two searches for all articles from "major newspapers," as defined by LexisNexis, that have a headline including the phrase *Proposition 227*, between May 1996 and June 1998. We used the following Boolean conditions:

- All headlines containing within the same sentence the root word *learn* plus any of the root words *student* or *child* or *kid*

- All headlines containing within the same sentence the root word *teach* or *educate* or taught plus the root words *student* or *child* or *kid*

The first search retrieved 95 articles with the word *teach* (and its derivatives such as *taught*, *teaching*, but not *teacher*). The second obtained 51 articles with the word *learn* and its verbal derivatives). To begin, the gross measure (of 95 versus 51 articles) indicates that public discourse discussions in this wide distribution of newspapers far more often address the activity of adults, rather than child learning. When *teach* is used, moreover, the education professionals are explicitly considered active agents, while students are recipients of the actions of the educators. A few examples are provided for illustration:

12. *hundreds of thousands of immigrant children who will at last be **taught English** when the school year (New York Times, 16 Jul 98, A14)*

13. *Teachers who heed parents' explicit requests to **teach** their children English need (New York Times, 16 Jul 98, A14);*

14. *theory of bilingual education is that non-English speaking **children are taught** in their native language until they are proficient enough to be **taught in English** (Rocky Mountain News, 6 Jun 98, 61A)*

15. *They claimed their children were being **taught no English**. (Financial Times, 6 Jun 98, 11).*

In these excerpts (which centered on bilingual education and English language acquisition), the student does not learn English, he or she is taught it. The language they end up speaking is seen not to be a consequence of normal language acquisition processes, but is the product of teaching. In public discourse across the U.S. on schooling and classrooms, then, the teacher does not spend her/his days facilitating student learning, designing learning settings, and choreographing learning moments. The American public believes teachers teach. *Teach* is a transitive verb, and the object of its action is the school child. Edward Thorndike's obsolete theory of learning in which teachers must drill knowledge into the child apparently still makes common sense to the public and many educators. In Thorndike's theory, published in 1913, learning is a fixed association between a situation and a response that is achieved with rehearsal. Better learning is a demonstrably quicker response to the same situation. With enough repetition, the correct response gets "stamped" into the student's mental template, and errors are "stamped out." The teach-

er's role is to regulate the students' activities in the classroom to develop the desired repertoire of responses. This theory of learning was later replaced by B.F. Skinner's stimulus and response behaviorism, which has in its turn been replaced by progressively complex forms of constructivism. For a synopsis of learning theory, see Byrne 1996.

If alternative frameworks for speaking about the learning process were available in public discourse, such as constructivism (much less social practice!), then we would expect a greater portion of all educational professional/student relations to be expressed with such terms. In discussions of classroom activities (as well as of cognitive aspects of learning), the child would be the active agent, and the educational professional would be a learning promoter. Today's public discourse on education constitutes teachers as agents and students as recipients of their learning.

Looking more closely at the 51 articles that contained derivatives of the verb *learn*, one can further qualify these public discourse references to learning. At times they refer to decontextualized cognitive processes. News reports on studies of cognition (as for example, cognition is associated with bilingualism) were grouped in this search. Additionally, *learn* verbs were at times teamed up with *teach* verbs, such as in:

16. *But what Rojas was declaring, in essence, was that he would rather go to jail than work to **teach young children to learn English** in a year. (San Francisco Chronicle, 12 June 98, A25)*

17. *"If the schools **don't teach them English**, how are they going to learn it?" (Plain Dealer, 1 June 98, 1A)*

18. *"The idea that children best **learn English by teaching them only in Spanish** doesn't have a lot of evidence to support it." (USA Today, 27 May 98, 4A)*

Consequently, in this subset of the sampled American public discourse, learning generally presumes instructor agency. In the news articles that focus on classroom activities, the student is the passive recipient of a teacher's activity. To reiterate, this is not just a matter of semantics. Cognitive linguistic research demonstrates that prose metaphor reveals worldview (Lakoff, 1993). Talking, which is often dismissed as separate from the construction of social reality, encodes key components of the structures of the social world. As Foucault formulated it, discursive practice reveals the social relations that are constituted in everyday social interaction (1980, pp. 92–108).

As for the manufacturing process, the SCHOOL AS FACTORY metaphor is entirely consistent with traditional metaphors that conceptualize passive pupils who are mechanistically taught extrinsic facts, rather than learning by constructing knowledge for themselves. Moreover, one implication of the concordant blending of the FACTORY metaphor and mechanistic metaphors for learning is that no important learning occurs outside of the SCHOOL AS FACTORY walls. It is as if the child enters the school inert, mute, without thought, with no understanding of the world.

While the child is a passive object, the factory is

portrayed as the active agent in the educational process. In many instances, the word *drill* signals this metaphor. Consequently the educational institution and teachers are seen as furnishing, shaping or otherwise regulating children with educational skills: "*Classes will be geared toward fostering skills*" (Los Angeles Times, 19 Apr 97, B2). Here the school is an active agent operating on a passive pupil. In recent years certain U.S. school districts have made efforts toward recognizing evidence of individual student knowledge. Educational measures such as student portfolios are consistent with a more up-to-date notion that the student is an active learning agent. However, these innovations were not reflected at all in the American public discourse sampled:

19. "The federal government's own Goals 2000...calls for every adult American to have the math and language **'skills** necessary to compete in a global economy. It's crucial to this country's economic survival!" (Los Angeles Times, 6 Feb 95, A3)

20. "I'm for English fluency because it is an essential **tool** to function in the marketplace." (Los Angeles Times, 14 Feb 97, B4)

Yet in the dominant metaphor of the discourse on education, even particular skills are imparted to passive children. In the following excerpts, note the passive verbs associated with the academic skills that children in fact achieve:

21. "[A school] system they contend fails to **give students the language skills** needed to advance in society" (Los Angeles Times, 6 Feb 95, A3);

22. "The program seeks to ... **provide tools** to help them integrate into society." (Los Angeles Times, 14 Feb 97, B4)

When we move outward from the mechanistic teaching sphere to the sphere of the site of the SCHOOL AS FACTORY, today's students are unthinkingly considered to be the raw material fed into the factory, or as educational theorist John Goodlad stated, "economic utility units" (quoted in Tell, 1999: 14-19). While all parents believe that their child is the most precious end of family life, in the factory metaphor, the child is merely grist for the mill. In this metaphor, the student's intrinsic value is less important than its product potential, since the factory creates valuable items from inexpensive raw material. Moreover, the factory is built to process raw material that is standardized. Quality control is an applied science developed to boost industrial productivity via, among other things, regularization of input. In order to optimize the manufacturing process, the factory readily rejects any non-standard material (namely its minority students) throughout the fabrication process.

Academic tracking is also conceptualized in terms of the FACTORY metaphor. Tracking, in its manufacturing context, expedites administrative scheduling problems of assigning students to classrooms and teachers. Note that the word *tracking* is semantically compatible with the semantic domain of the SCHOOL AS FACTORY metaphor in reference to assembly-line transport of factory product through a set of manufacturing steps along a conveyor belt. If the public's thinking is limited to the SCHOOL AS

FACTORY constituting metaphor, tracking makes sense. From this point of view, tracking optimizes the resources of a school that has to contend with hundreds, even thousands, of students. It is more efficient to place so-called fast children in educational fast tracks while consigning so-called slow children to slow tracks.

If the child, particularly the socially marginalized child, is granted the central frame of reference, then the dangers of tracking are easier to perceive. It has been demonstrated in a series of studies that tracking establishes a self-fulfilling prophesy which reduces the long-term educational advancement of the student, particularly the child whose familial background does not correspond to the mainstream middle-class Anglo-American upbringing (Rist 1970). Most disturbingly, the tracking decision most often takes place based on minimal interchange between a teacher and a child. Once relegated to the slow track, teachers' lower expectations lead to lower achievement levels on child's part, which confirms the original prediction and most often seals the educational fate of the child. Academic development and the highest levels of social advancement are refused to these children when they are relegated to the least valued tracks on the schoolhouse factory floor (Oakes 1985). Thus, they are unjustly denied equal educational opportunity (Anyon 1980).

What are School Teachers? Teachers on the SCHOOLHOUSE AS FACTORY FLOOR become factory workers whose training, skills, and activities are circumscribed. The profession is no longer highly esteemed. Much has been written about the effects of industrialization on people's occupation. The master craftsperson of earlier times had cumulative knowledge to build a unique finished product from start to finish. With industrialization, this knowledge is broken down to its components, and meted out in pieces to the teacher who now rehearses the role of assembly line workers. In the factory workers repeatedly perform only a single step in the manufacturing of a standardized product. Thus with this metaphor, images of factory-trained instructors, who perform a limited set of tasks mechanically on thousands of students, replace the image of erudite and scholarly educator, who discharges his/her venerable profession edifying and cultivating students over a long period of time (Apple 1999). In his 1986 study, Danahy noted the use of artisan metaphors where the teacher's function as a potter, is "to mold lifeless lumps of clay into something shapely, beautiful and human." He points out these can be subsumed in the machine metaphor since "in a modern industrial economy, it comes as no surprise to discover metaphors which are related, but draw instead on mechanical production to clarify, justify or rectify what we do" (p. 229).

Teachers should not be blamed for their place in the schoolhouse factory. They have resisted their debased position in society throughout the past century. On the floor of the 1901 National Education Association convention, noted educational labor activist Margaret Haley warned against

"factoryizing" education, which made 'teachers into automatons "whose duty it is to carry out mechanically and unquestioningly the ideas and orders of those clothed with the authority of position"' (Bradley, 1999, p. 31).

Evidence abounds that teachers now comprise a blue-collar labor force, not a class of professionals. The National Education Association and American Federation of Teachers may be described as professional guilds, but they function like industrial labor unions. They organize the rank-and-file, negotiate bread-and-butter issues, conduct work stoppages, and sign collective-bargaining contracts. Although these unions promote professional development, peer-quality monitoring and other professional society interests, their most important purpose is to obtain fair compensation for labor performed, namely salaries, benefits, grievance procedures, and so forth. They do not operate like the American Medical Association or the American Bar Association. Teachers have been aptly dubbed "United Mind Workers" (Kerchner, *et al.*, 1997).

Origin of SCHOOL AS FACTORY. It is easy to see how the SCHOOL AS FACTORY was originally embraced in 19th century U.S. At that time industrialism was the nation's most potent institutional notion (Fitzpatrick, 1995). Public education from its beginning was designed to train an industrial workforce, and to relieve nativist pressures of the period. The children of a large foreign-born populace were seen as unprepared either to play their part in U.S. industrialization, or to participate in a democracy in which franchise was being expanded beyond the traditional oligarchy. Thus newly formed public schools were designed to shape these children into an orderly corps of production workers and a pro-capitalist electorate. Nineteenth century schools were "cultural factories" where immigrants and other workers were molded with so-called American values (Oakes, 1985). Bowles and Gintis have pointed out the objective was, and continues to be, to establish industrial behaviors, habits and values among workers, particularly those from rural and immigrant backgrounds, to optimize factory work productivity, to develop worker compliance to industrial authority, as well as to dilute class consciousness as it promoted a nationalist ideology extolling capitalism and representative democratic state. (Also see Anyon, 1997).

Finally, consider the standard of success for schools, as factories. In 19th century U.S., the most salient institutional model was industrial, rather than, for example, a church model or legislative model. Efficiency is the standard to judge the quality of factories. The efficiency standard of industry is its cost-per-unit-produced. Correspondingly, the doctrines of factory-site productivity, effectiveness, and efficiency (which Dickens's industrialist and self-styled educationalist, Gradgrind, sounded off about 150 years ago) remain the doctrines of public education success that are expressed today. Consider the following excerpts:

23. "[A superintendent] said he will appoint a special task force to study the **overall effectiveness** of bilingual

education here" (Los Angeles Times, 28 Jun 95, B3)

24. "Gangs not as an invading army but as our own offspring—the byproduct of a polarized economy, **ineffective schools**, [etc.]" (Los Angeles Times, 19 Feb 95, 16)

25. "Bilingual programs are only as good and **effective** as the principal, the teachers and the parents at that school." (Los Angeles Times, 17 Oct 95, B1)

It must be emphasized that effectiveness, or efficiency, namely a high ratio of output to input, is not a necessary standard for educational institutions. The words *efficiency* and *effective* are etymologically related. Respectively, their sources are Latin present and past participles of *efficiere*. The root of this word, in turn, *facere* means 'to make'. Had another metaphor been chosen, then another success standard would have applied. For example, a personal quality, such as intellectualism or doctrinarism, has been the standard for schools based on a church model. Seminaries are set up on this model. Likewise, the standard has been regimentarianism for military academies. Note once again that the efficiency standard in the public school as FACTORY is entirely compatible with the mechanistic metaphors that constitute the American public's theory of student learning. The semantic congruence of these metaphors contributes to their persistence.

Kant argued in 1795 (1983) that neither utility nor effectiveness is an appropriate standard for moral quality, since each can justify immorality. He made this argument to reject Machiavelli's claim that the ends justify the means. Kant's rebuke aptly extends from a subject's moral character to the standard of U.S. public education, the nation's major institution for human development. Efficiency as a gauge of quality does not recognize the dignity and worth of each person; it does not treat each student as an end. Instead, it relegates the child to the status of a mere object, an item for consumption made by the educational factory. The inherent logic (Lakoff, 1987, pp. 141–144) of the SCHOOL AS FACTORY metaphor, combined with mechanistic learning metaphors, conceptualizes the child as a unit of industrial production. Learning becomes an institutionally controlled process, not a matter of life-long personal growth and edification. American school children are treated as means to institutional ends.

The implications are huge. Within this model, children are not inherently valuable subjects, but passive recipients of their education. Worst, they become commodities. As they enter school, they are only as valuable as they conform to predetermined quality-control standards. Educational failure is presumed to be due to a student's inferior personal qualities, or that child's cultural background. The practices of the institution are not faulted, and its principles rarely questioned. Public education may not be based on profit, like a factory, but U.S. public school performance in the early 21st century is certainly based on Gradgrind's criteria: efficiency and industry.

Business metaphor. Another metaphor is often extolled in public discourse as a novel, even

revolutionary metaphor for thinking about public schools: EDUCATION AS BUSINESS. In our post-industrial age, this metaphor is more frequently used to evaluate the quality of education, in terms of profitability, rather than efficiency. In educational circles, certainly, this way of thinking about schooling is recognized as nothing new. Applying concepts of business ideology to American public schools such as "rational management" and "efficiency" has occurred since the 1890s. (See Callahan (1962). In Charles Dickens' *Hard Times*, the patron of the less-than-model school, Thomas Gradgrind, was a businessman as well as an industrialist. The BUSINESS metaphor shares the major weakness of the industrial model. It is not child-centered. The recent history of U.S. business indicates that it is not an appropriate model for the educational development of America's schoolchildren. With the end of Fordism, U.S. business has become leaner and meaner. What this has meant in practice is that business will jettison rather than retrain its workforce, discard rather than update its less profitable product lines, and place even greater attention on short-term profit margins rather than the long-term quality of its production units. To employ the BUSINESS metaphor to conceptualize U.S. public education will have grave consequences for its workforce of teachers, its diverse and chiefly 'non-standard' raw material (namely working-class and language minority students), and its marketplace vision of America's citizenry.

Before turning to the second major constitutive metaphor for education, an alarming feature of the recent public discourse on education must be presented.

Warehouse metaphor. The U.S. now requires an expansion of public education to a greater proportion of its population, and a far more profoundly educated citizenry to support its post-industrial, increasingly information-based economy. However, this demand for enhanced caliber and democratization of education has not been supported with commensurate funding and political backing. In fact, the financial cuts and political criticism of the system increased around the time Fordism came to an end. As a result, public school students presently endure a chronically underfunded system (Helfand, 2005).

Consequently, an identifiable hazard threatens today's American school-aged children. In particular the inner-city schoolchild is treated as if she is a second-rate commodity. For many years, the children of blue-collar, immigrant, and racialized parents have been consigned to the slowest tracks of the schoolhouse as factory. Now they are taken off that conveyor belt, and relocated off the factory floor. Heaped together, without even the guise of receiving an education, they are placed in substandard facilities under the surveillance of overworked storeroom staff. Consider the following excerpts:

26. "The children in America's urban areas who are **warehoused** through broken school systems which rob them and our country of hope and promise" (Los Angeles

Times, 28 Aug 97, B7)

27. "The rampage of angry youth who spent their childhood **warehoused** in 2,000-plus student **holding tanks** will continue" (Los Angeles Times, 28 Apr 96, B16)

28. "Black and brown kids who have been **warehoused** by an education system." (Los Angeles Times, 23 Aug 95, B9)

To advance along the U.S. educational path in such circumstances requires even greater effort on the part of a poor or racialized child in these contemptible circumstances. In these cases, what are required are teachers who refurbish the storage depot to save a child or a classroom from the ravages of the failed factory system. (For a classic example, see Kohl, 1988, pp. 33–38.) This development does not portend well for a marketplace-based reorganization of public education.

I began this analysis of current American public discourse on education at the schoolhouse level, with the entailments of the FACTORY metaphor. A crucial liability of this metaphor is its implicit reinforcement of outdated mechanistic models of learning. Moreover, educational programs are conceived, implemented, and evaluated based on the efficiency metric, rather than on the basis of student academic potential. The student is viewed as "a unit of economic utility." Consequently, the student is not the ultimate measure of organizational success. It is as if toasters are being manufactured. This metaphor is not useful in so far as people are not merchandise.

The metaphoric basis of public education discourse in America is not limited to the concept of institutional relations. Apart from the FACTORY model, two other highly productive conceptual metaphors further reveal how the public conceives education.

What is Curriculum? In the public understanding of education, the child proceeds step-by-step in a sequence of classes and grades toward the end of becoming an educated person. The major metaphor that is revealed by a systematic review of over one hundred articles is the CURRICULUM AS PATH metaphor. The path is a common metaphor that is used in many aspects of human life. *The course of human life* is just one example. In education, the *curriculum* (< Latin *currere* 'to run') is the established set of courses that a student has to take to become educated in a specific topic.

The elements of the semantic source domain, PATH, that are most often associated with the target domain, CURRICULUM, include the unidirectional "movement" of an individual "toward" a progression of goals. Another element of the metaphor is its association with individual volition, namely that the person moves along the path by his or her own actions. Note that none of these conventional associations are obligatory aspects of education. Recall that although this is presently taken to be self-evident, as a metaphoric basis for student education, the PATH is not naturally the single way to conceive of curriculum. Two alternatives will be taken up at the end of the article.

In the CURRICULUM AS PATH metaphor, there are

many expressions of directional movement of a person's education, as exemplified in the following:

29. "Opponents contend the [bilingual education] program ... will almost certainly hurt the **academic progress** of limited-English students" (Los Angeles Times, 9 Feb 96, A3)

30. "For many of these impressionable foreign-born teens, the **passage** through the bilingual program is about far more than just learning English" (Los Angeles Times, 29 Oct 95, B1)

31. "Last year, 1150 schools around the state with non-English-speaking students failed to **advance** a single student into English fluency. A third of schools failing to **advance** any students to English fluency were teaching only in English." (Los Angeles Times, 19 May 98, R-1)

Also note other instances of the ubiquitous CURRICULUM AS PATH metaphor elsewhere in this article, such as *compete* and *advance*. These terms all imply significant voluntary effort on the part of the individual student.

Apart from the student's progression in stages toward some goal, another central feature is a prescribed series of impediments along the educational path. These impediments are an expected part of the process toward the goal of becoming an educated person:

32. "'If we **set the bar of standards so high** that a student must **pole-vault** over it', [a teachers union official] said, 'we must also give the student **a pole**'" (Los Angeles Times, 21 Nov 96, A3)

33. "Students like Guillen must pass a final **battery of exams** before graduating" (Los Angeles Times, 25 Oct 95, B1)

34. "Some 'latchkey kids' come home and dutifully **plow through** their **homework**." homework (Los Angeles Times, 14 May 95, B1)

A further feature of the CURRICULUM AS PATH metaphor is that the progress toward that goal of being educated takes place at a certain *pace*, and that *progress* is an attribute of the child's success, as illustrated in the following excerpts:

35. "Many language experts...believe that children **fall behind** when they are taught academic subjects in a language they are still learning" (Los Angeles Times, 10 Mar 95, A3)

36. "Right now what we need to do is **get** our young people **back on track**" (Los Angeles Times, 12 Mar 95, 12)

37. "Her four children...would have been **set back** if they had been thrust into English-based classes in the primary grades" (Los Angeles Times, 13 Apr 97, A1)

38. "Extensive research by Oakes into the **progress** of Latino students in public schools has shown that they are consistently **routed into** the least academic **courses** of study, beginning in elementary school. That so-called '**tracking**' is worse for bilingual-program students." (Los Angeles Times, 1 Jun 95, A1)

As the second of the three dominant metaphors in contemporary public discourse on education, it is appropriate to review the PATH semantic domain. The semantic domain of the PATH includes an embodied experience of walking along a trail or track to some destination. The everyday frame of understanding of this semantic domain entails a starting point, an endpoint, a route to be traversed possibly with some impediments, and a sense of directedness on the part of the walker to follow the path

toward the endpoint. The mapping of the semantic domain of PATH onto the domain of CURRICULUM imposes a well-developed framework of everyday embodied knowledge of walking path onto a crucial aspect of a central institution of human life. The mapping includes the following correspondences: Education corresponds to a walking pathway. It has a beginning corresponding to a state of being uneducated, a route to traverse corresponding to an established set of *courses* (= routes) and a succession of *grades* (= slopes or gradients of increasing difficulty). There are expected impediments to overcome that correspond to formal batteries of evaluation that require demonstrated mastery of the curriculum of each grade. Lastly there is a destination corresponding to the completion of the curriculum of a school system, leading to the graduation of the student, certifying achievement of the status of an educated person.

When PATH is used to conceptualize curriculum, each person (metaphorically) undertakes a journey from the position of an uneducated person toward the place of an educated person. All these topological elements are employed in the CURRICULUM AS PATH metaphor in the public discourse on education.

Misleading Entailment: Personal Volition.

This metaphor contains three associated elements of inherent logic. First, education within this metaphoric configuration is attained one step at a time. Second, a succession of grades must be passed along the way. Three and most importantly, an education is attained by one's own motivation. These built-in logical assertions of the CURRICULUM AS PATH metaphor play a central role in its constitutive function. They foreground the volition of the individual path taker, and background all structural factors that make up the social environment of the American public school. As a result, the metaphor projects a distorted image of actual process of U.S. public school students.

This entailment draws off all the differences that make each person's schooling experience unique. This has tragic political consequences in an American institution that copes with massive structural inequity. First, when the path metaphor is used, the U.S. public tends to overlook the myriad structural differences across different school settings. These include crucial school site disparities such as teacher preparation and experience, school facility size and condition, student cultures and demographics, per student budget allotment, and professional personnel ratios—all of which disadvantage poor and linguistic minority children in urban schools. The metaphor establishes semantic relations that direct our attention away from structural disparities. CURRICULUM AS PATH foregrounds individual volition as it backgrounds the conditions along the path. Hence, the metaphor makes each educational path-taker responsible for his/her educational journey. For adults this is a reasonable expectation. However, the U.S. public school system is specifically designed to serve children who are not responsible for structural liabilities of the

school system they attend. Still, the American public tends to presume that when a school child fails to succeed in public school, that the problem is a lack of personal initiative, or the family is blameworthy. By way of this metaphor, Americans can more easily pass over the failure of their educational institution.

Note that an element of the commonplace understanding of a **FACTORY**, namely manufacturing standardization, reinforces the false entailment that the curricular path of every public school child is indistinguishable for all practical purposes. Of course, this is not the case. Still, this personal volition entailment strips classroom content and process, as well as institutional context, of all educational relevance. It is as if every elementary student walks along identical educational paths. It makes the middle school child responsible for the institutional failings that our society imposes on her. The entailment readily dissociates the institutional strictures and social obstacles that a disadvantaged school student has to overcome. It also detaches the privileged student from all the material advantages that his or her wealth accrues. The personal volition entailment is grossly untrue, and yet is reinforced each time the **PATH** metaphor is invoked. With this metaphor, the implication is only two things determine each educational success or failure: talent and sweat.

Consider the conceptual source of a very common term in public education. The commonly used term *drop out*, as a noun or verb, appeared 135 times in the 113 *Los Angeles Times* articles that were indexed for Proposition 227. *Dropout* is an Americanism that came into general use in the 1920s (Chapman, 1995) when industrialism was in its heyday. Although it might not have been obvious just a moment ago, once attention is focused on the **PATH** metaphor, the term readily communicates an image of a runner giving up the educational foot race. Again, nothing in *dropping out* refers to the structural factors that push a student out of school. The alternative term, *push out*, assigns agency of schoolchild attrition squarely to the responsible adults in the public schools. This term is only used by a small set of progressive educational scholars.

In short, all structural difficulties that impair the education of language-minority and working-class children tend to be overlooked in the story that **CURRICULUM AS PATH** narrates. Instead, internal fortitude alone brings triumph or failure. Although this deceptive entailment of the dominant metaphor has been definitely repudiated in scientific studies and eloquently disputed in American social commentary, such as the searing study of two immigrant students (Valdés, 1998) or Laura Angélica Simón's 1995 film documentary, *Fear and Learning at Hoover Elementary*, it will resist rejection so long as its source metaphor, **CURRICULUM AS PATH**, goes uncontested in the public discourse on education.

Everyone in U.S. society tacitly accepts the narrative related by the curricular path metaphor—in so far as the metaphor is used to discuss formal education. In it, academic achievement is based on

personal initiative. Individualism is a key principle of this metaphor. The personal volition entailment reinforces the American myth that purely by the dint of native abilities and personal efforts, each person makes their way along the path. When linked to another American narrative, the educational path becomes a racetrack. The myth of the U.S. educational meritocracy, in which every child vies equally for the educational laurels, is also conceptually buttressed by this metaphor (Berliner & Biddle, 1995). **CURRICULUM AS PATH** draws attention away from the background unequal educational opportunities, dissimilar socioeconomic factors, and institutional racism, where these factors can be overlooked. Although U.S. public discourse does not take into account U.S. public school structural inequity, which dashes the human potential of millions of children each day, at their most vulnerable stage in their lives.

To reiterate, **CURRICULUM AS PATH** is not a natural or necessary metaphor. It is merely a conventional way of talking that is the basis of our conceptualization of educational content. It is quite healthy to suspend for the moment the pairing of the **FACTORY** and **PATH** metaphors, which together mask and legitimize a number of unjust institutional aspects of public schooling. The so-called good reasons and appeals to human nature that have been marshaled over the years to justify the efficiency standard may then begin to sound like brittle rationalizations.

We now turn to the final major constitutive metaphor for public education that was located in U.S. public discourse.

What is the Mainstream?

The *mainstream* is one of the most frequent metaphors in educational discourse. This term appeared scores of times during the Proposition 227 debate on bilingual education. Here we offer just two examples:

39. "Immigrant students ... try to learn enough English to join the **mainstream**" (*Los Angeles Times*, 1 Jun 95, A1)

40. "More than 24,000 students were transferred out of bilingual program classes and into **mainstream classes** in 1994–95." (*Los Angeles Times*, 17 Oct 95, B1)

It turns out that this metaphor guides our thinking about how a child becomes a typical American adolescent. As the final metaphor that structures public discourse on public education in the U.S. today, it is important to explicitly present its semantic structure. During the 1997-98-campaign period of Proposition 227, the principal uses of the term *mainstream* was in contrast to programs of bilingual education. Its source semantic domain is **RIVER**. Since a river is directed toward a goal, several conceptual relationships of the **RIVER** metaphor are similar to the source domain of the **PATH** metaphor. The everyday frame of understanding of river also involves a flowing stream with a beginning that traverses some distance, with turns and obstructions that may snag the traveler riding the current. However, important contrasts should be noted. Un-

like the PATH metaphor, to float on the metaphorical river does not invoke a sense of personal propulsion. The river conveys all voyagers along in its current. This distinguishes the RIVER metaphor and the narrative it establishes.

Unlike the CURRICULUM AS PATH metaphor, for which the primary image is a walking path of a single trekker, the RIVER metaphor invokes a stream whose current transports its bobbing voyagers/students. However, the river carries them along in different ways. On the one hand, the mainstream conjures a swift and deep channel where the current is strong, and the direction narrowly defined. Anyone who is carried along in the river's mainstream will be carried further and more quickly along. In contrast, the same river runs slowly on its shallow periphery. Its shores are fraught with sandbars and stagnant pools. The child's progress drifting along in these shallows is slower and less secure. As articulated in the *Los Angeles Times*, deadwood and other debris can snag the students floating slowly along the margins of the river:

41. "We'll continue to be in the **backwaters** of public education, and, in an information-driven society, we simply can't afford to let that happen." (*Los Angeles Times*, 15 Oct 95, B1)

Contrary to the PATH metaphor, individual volition is not part of the semantic domain of the RIVER metaphor. Everyone is carried along in the current. The educational *mainstream* thus does not invoke notions of perseverance, talent, or ambition, as does the CURRICULUM AS PATH metaphor. Instead, individuals arrive at different destinations depending on their position in the river's flow. Narrow and deep channels carry children faster and further along than children caught on the slow-moving shallows of the river.

The semantics of RIVER has a second important element. A single river empties a whole region. Whether comprising a local region the size of a school district, or a whole nation, each river blends the waters of smaller distinct streams into a single common waterway. Rivers like the Mississippi, which drain a whole continent, combine the waters of many tributaries, uniting their disparate elements into a single flow. The different currents of the tributaries commingle in the mainstream until their diverse sources can no longer be distinguished.

Assimilating to the Mainstream. The river metaphor informs non-curricular educational process, namely student socialization. It also expresses the means by which a school inculcates hegemonic views. In the semantics of RIVER, students are simply carried along. If the river is swift and narrow, children move quickly and eventually blend completely with the mainstream. If slow, their absorption is incomplete. This is their assimilation into U.S. society, by which the so-called common values of society are conveyed. As they grow out of childhood in public school, students absorb general Anglo-American culture and come to accept more or less its worldview as they tacitly absorb its (often unread) canon, its hallowed national myths, and its conventional history (Apple, 1999). The RIVER met-

aphor expresses this socialization process that transforms so-called foreign children into American teenagers who partake of prevailing U.S. practices, values and conventional views on community, nation and world.

The public school creates members of U.S. society who are also likely to accept their lot in life. The RIVER metaphor also conveys students, by their placement in school, to their designated place in U.S. society, for better or worse. The overwhelming majority of racialized and language minority students are relegated to the backwaters of public schools, and hence of U.S. society. These students learn that the social practices available to them are limited to the social orders that are expressed in school. The practices of all public schools embody the naturalized ideological assumptions about student/societal members. As they mature, they tend to tacitly accept the ideology of the standing social order, including relations that enact the social inequities associated with minority status that were the institutional practice of public schools. Or they reject them and they drop out of school, and often confront worse relations than their peers who graduated. These processes are aptly expressed in the EDUCATION AS RIVER metaphor:

42. *Those changes were a response, [the principal] said, to parent concerns...to speed the transfer of bilingual program students into the educational **mainstream**.* (*Los Angeles Times*, 16 Jan 96, B1)

In the public discourse surrounding Proposition 227 in California in the late 1990s, educators with contrasting political views used the term *mainstream* in somewhat different ways. Conservatives held that mainstream socialization could not be achieved via bilingual education. It can only be accomplished through English-only instruction, and ultimately requires English-dependency on the part of immigrant students:

43. *two school districts are considering resolutions that condemn a state-mandated language program designed to **mainstream** non-English-speaking students* (*Los Angeles Times*, 9 Mar 95)

44. "Fluency in English is a 'civil rights matter,' said ...a language expert. 'We do not have any evidence that primary language instruction is leading to learning English so these children can join the **mainstream**.'" (*Los Angeles Times*, 29 Mar 95, B3)

By guaranteeing the English-language dependence of these students, their so-called foreign nature will assuredly be lost as they are channeled into the common American culture, and toward consensus with hegemonic viewpoints. For educators who espoused a pro-bilingual education position, mainstreaming referred less obviously to assimilation. In the *Los Angeles Times* database, bilingual education advocates emphasized a wider range of academic objectives and more access to college preparation courses. These resources for social advancement, as always, are available only in mainstream classes.

In the final analysis, however, no American public school educator will deny that *mainstreaming*, the social indoctrination of immigrant, linguistic minority and other marginalized children, is part of

the mission of the public schools. It is less likely that the use of the term *mainstream*, much less the RIVER metaphor, is part of educators' conscious awareness. Nevertheless, RIVER and the other two major constitutive metaphors sustain the status quo conceptualization of public schools.

SHAPING ELECTORAL AND POLICY DECISIONS. How do these metaphors work to effect educational policy? Consider the 1998 vote of the California electorate that eliminated bilingual education for over 1,300,000 children who were legally eligible for bilingual education, of which 80 percent were Latinos. Children who should be taught in their home language constitute one-fourth of California's public school children. The California public had over the last 20 years become aware that these and all other Latinos, as well as other students of color, were receiving an increasingly inadequate education. Businessman Ron Unz blamed the bilingual programs—not underfunding and structural inequity—for the poor showing of immigrant students. He designed a referendum that appealed to the layperson's common sense understandings of schooling. Since his referendum, Proposition 227 (the shrewdly-named "English for the children Initiative") underscored the conventional view of public education, its fallacious conclusion made perfect sense to the average voter. Moreover, the defenders of bilingual education and Unz' opponents were unable to contest Unz, because they could not project a viable alternative vision of public education to the voting public. The commonplace view of American public education (with its underlying conceptual metaphors) was not contested, so by default, it was reaffirmed. Hence this pedagogically inferior directive now guides all public school instruction in California, since upon its enactment, Proposition 227 became part of the state constitution.

Within the perceptual frame of reference established by the three major conceptual metaphors that guide U.S. public education, it goes without saying that bilingual education in any form is inappropriate. This is because bilingual education fails to conform to many aspects of the SCHOOL AS FACTORY framework. For one, bilingual education rebuts its efficiency standard.

Pedagogies that are not framed in terms of the STUDENT AS MACHINE and SCHOOL AS FACTORY metaphors will be devalued when appraised in terms of efficiency. For example, Guerrero (2002) explains how framing the bilingual education policy debate in terms of efficacy terms serves the interest of bilingual education opponents, notwithstanding his finding (and that of many others) that most well designed studies confirm the superiority of bilingual pedagogy for immigrant and Chicano students. Guerrero conducted a meta-analysis of post-1990 multiple data sets that were designed to appraise the efficacy of bilingual instruction.

Likewise, contrary to the FACTORY's associated mechanistic views of learning, bilingual education upsets the assumption that no important learning occurs outside of the SCHOOL AS FACTORY walls. In particular, bilingual education affirms the home lan-

guage and life experiences that Latinos and other non-English speaking children bring to the school-house door. Bilingual education also fails to conform to the efficiency metric of SCHOOL AS FACTORY, by maintaining dual tracks (languages) with equal capacity to convey educational content. Likewise, dual PATHS are maintained when both bilingual and English-only curricula are permitted. How can we tell who really wins the educational footrace when more than one path can be taken? And contrary to the logic of the RIVER metaphor, bilingual education instructs these children in so-called non-mainstream languages and encourages non-mainstream worldviews. By the logic of this trio of conventional metaphors, bilingual education necessarily is marginal. It not central to public education, and so is easy target for an overwhelmingly monolingual English-speaking electorate to eliminate in order to restore the coherence and consistency of the American public school status quo. Instead of bilingual education, these three dominant metaphors demanded, in the wording of Proposition 227, "that all children in California public schools shall be taught English as rapidly and effectively as possible."

This repressive constellation of metaphors for public education – FACTORY, PATH, and RIVER – is overdue for public reconsideration and replacement. However, two factors make them particularly resistant to change. One is social inertia. They also echo other U.S. master narratives such as the ethic of the rugged individual, the chimeral meritocracy of education, and the probity of so-called free competition. These frames of reference inform public schooling. As Schön (1979) noted and Wetherell & Potter (1992) documented, changing these governing metaphors will require significant social energy and creative implementation. To this end and to her credit, Cook-Sather (2003) offers practitioners new sets of education metaphors to bring about greater awareness within the profession of the power of discourse. Consult Toolan (2002), Jørgensen & Phillips (2002), O'Halloran (2003), and Rogers (2004) for other recent discussions of critical discourse analysis study in education and other arenas. The social implications of cognitive based metaphor research have been fruitfully considered in Radman (1995), Lakoff (1999), Lakoff & Núñez (2000), and Colm Hogan (2003).

In the next section, we also recommend a pair of "guerrilla metaphors" to compete in public discourse with the metaphors in current use. By guerrilla metaphors, I mean those that are likely to be broadly acceptable to the American public, but still can open up an up-to-date, even radical, view of American public education. The task is daunting, since the status quo rejects all views of education that are inconsistent with these conventional metaphors. However, the status quo is failing the majority of the nation's children. For this reason, I offer two guerrilla metaphors with the hope of advancing a new view of public education in the minds of the voting public.

GUERRILLA METAPHORS. Toward the end of

fine analysis of the origins, circumstances, and state of Chicano public education, Valencia states, "Although the plight of Chicano students continues to exist there must be optimism... It is important to continue with a 'language of critique', but also to make room for a 'language of possibility'" (Valencia, 2002, p. 368). In this spirit, I put forward two guerrilla metaphors for public education: EDIFY and CULTIVATE. Each foregrounds important elements of education that have been underemphasized with the current conventional metaphors, in particular with regard to language minority students. Neither imposes the conventional entailments that implement racial and linguistic hierarchies. These insubordinate metaphors have the potential to remake the public's understanding of the nation's major institution for human development, including its concepts of educators and schools.

Learning as Building. The first guerrilla metaphor, KNOWLEDGE AS CONSTRUCT, has been elaborated among American educational theorists, professionals and researchers since at least Thomas Dewey (1897). It is also substantially consonant semantically with the latest learning metaphor, LEARNING AS PRACTICE, which Wolfe (1999) notes has become the chief metaphor of theorists since the 1980s. With LEARNING AS BUILDING, knowledge is a construct and the student is an active builder of his or her own intellectual edifice. This metaphor is particularly well suited to capture current scientific models of language development which emphasize the individual's own unique creation of a grammar via specific developmental stages and social interaction. The child, as well as the adult, assembles the framework of understanding of language and other types of knowledge in which she will cognitively and socially deploy. In this metaphor, then, the teacher relinquishes the job of mind worker and takes on a much more creative and collaborative role of consultant and master builder. Thus the teacher imparts and shares these skills to the student as she progresses, from apprentice to expert builder herself, within what might be called the KNOWLEDGE AS ABODE metaphor. This metaphor reflects the actions that the best teachers have always offered their students across human cultures.

Within the edification metaphor, the school is no longer a factory, but rather becomes an active, building construction site. The student is no longer a chip of raw material to be drilled, threaded and stamped into shape along the educational assembly line, to be judged as a standard issue production unit, to be marked down as defective if not standard issue, or to be warehoused when overstocked. The teacher no longer is an intellectual drone or industrial worker. Instead, they are both active builders of knowledge.

In addition, from the frame of reference of the edification metaphor, the student does not arrive at school bereft of knowledge. She arrives at school already dwelling in her home abode of knowledge. Among the kinds of knowledge she walks into the schoolhouse with, her language is most conspicuous. Thus, the student comes to school to further

build on her knowledge foundation, to become a better builder of her own knowledge residence. Further, the home communities, cultures, and languages of the students are the communal or multi-family houses of knowledge. In the process of building greater knowledge, master builders will not tear down a child's home knowledge, or force a child to evacuate the only home she has ever known. Rather, master builders will guide the student to build upon her home knowledge.

In lieu of using efficiency as the gauge of industrial success for evaluating schools, as is the case of the SCHOOL AS FACTORY metaphor, standards of construction and architecture will predominate such as order, arrangement, symmetry, beauty, and convenience (Ching, 1995). The distinctiveness of each student will be reflected in the edification, much like freestanding single-family homes across America range widely in style.

With this guerrilla metaphor, the institution of public education become more clearly responsible for the kinds and quality of building materials that are provided to students to build their homes of knowledge. Some school districts already offer their children the highest quality materials and engage highly skilled educational architects and master builders to guide their students' own construction of mansions. These children build veritable palaces of knowledge in which they will prosper all their lives. Other school districts can provide the children of many working class, non-white, and language-minority communities next to nothing in terms of educational materials, and employ only inexperienced and under-trained teachers. At such sites, these students will build as children always do, but can only construct hovels with the means provided. It is perhaps for these reasons that many children reject impoverished school sites, for often more destructive places for knowledge construction in the streets beyond the schoolhouse walls.

The HOUSE AS ABODE metaphor provides ample semantic structure for instructional content in terms of foundations, rooms, windows, floors, keystones, and other architectural design elements. The construction site orientation also de-emphasizes the head-to-head competition incumbent in the American EDUCATION AS FOOTRACE, while it retains the possibility of expression of different individual development. Finally, the STUDENT AS KNOWLEDGE BUILDER, LEARNING AS CONSTRUCT, KNOWLEDGE AS HOUSE, and SCHOOL AS CONSTRUCTION SITE constellation for public education in the U.S. is consonant with the NATION AS HOUSE metaphor (Santa Ana, 2002). In our post-industrial, increasingly knowledge-based global economy, with the guerrilla EDIFICATION metaphor, the continued strength and security of the U.S. people can readily be linked to the quality of U.S. public education as national house.

Education as Cultivation. The second guerrilla metaphor is agricultural. The object of education in this metaphor includes the cultivation of language arts, scientific methods, rational inquiry, and creative thinking. Presently the term *cultivation* is

most often used to refer to elitist education, not the education of the masses, which are typically provided only the basics. Nonetheless, modern educational research reveals that all skills, from the rudiments to the most elaborate, are developed by way of the same processes, and the most coveted require years to cultivate. If we consider that the child's mind contains the seeds of learning, like acorns, the child's mind must be cultivated over its lifetime to bear its full potential harvest. From within this metaphor, the teacher becomes a sower and tiller. The teacher's role is critical, but just as important, the school's soil must be fertile, and school's climate temperate for learning, for the seeds of learning embedded in the mind and hands of each child to spout and yield their bounty. The best seed falling on barren soil will perish. Hence, school ecology is foregrounded with this metaphor.

Within this view, the classroom and school site become an orchard or vineyard to nurture, with a farmer's dedication supported by all the science of a modern horticulturist. STUDENT AS TREE, CLASSROOM AS ORCHARD, EDUCATION AS CULTIVATION – this constellation eliminates the tendency to view learning as a set of mechanical skills to be drilled or facts to be committed to memory. Life-skill cultivation and lifelong creativity are its hallmarks.

Learning as cultivating can summon the presupposition of an orchard of erudition. In each human child are planted the many seeds that grow in us to make us social creatures (namely different languages and types of learning). A child's mind, then, is not a vacant vessel, or a nickel's worth of raw material to be hammered into an industrial product. It is an orchard in which sown seeds of knowledge can germinate and flourish richly over time.

In the relatively bankrupt semantics of the current CURRICULUM AS PATH metaphor, only one entailment is foregrounded, namely personal volition. As shown, this entailment is grossly unfair to children. On the other hand, the cultivation metaphor foregrounds a child's developmental processes. It evokes the personal potential of the student. In a productive vineyard, different vines will produce distinct varieties. In the educational context, each child will be able to express his or her unique learning potential, and to produce abundantly with careful tending. In the place of the mechanical efficiency standard of the factory, the axiom of this agricultural metaphor is inspired stewardship to nurture the inborn potential of the human seed. In place of the footrace, which produces many losers for every winner, the guiding principal of the tiller is to realize the productivity of the whole orchard. The successful cultivator patiently tends vines so they can bring forth their yearly yield of fruit. This metaphor does not discount individual volition, nor is it incompatible with the goal of a greater meritocracy.

Dahany (1986) divided metaphors drawn from educational literature on teacher/student relations into mutually human ones and human to nonhuman ones. Dahany deemed the former were bad, and view the latter critically. Among the latter was a

gardening metaphor, which Dahany correctly noted entails student passivity. This entailment must be kept in mind when using this guerrilla metaphor.

It emphasizes elevating human sensibilities and creativity far better than conventional mechanistic metaphors for education.

SHARED ADVANTAGES. In high contrast, to its favor, EDIFICATION is semantically congruent with the HOUSE metaphor. Likewise CULTIVATION is consonant with NATION AS BODY. Since the U.S. public already conceptualizes the nation either in terms of a house or the human body, associating public education to elements of this national HOUSE or this national BODY will be readily acceptable to the layperson. These two guerrilla metaphors will then have the added advantage of associating the fate of the nation with the quality of public education.

Neither the EDIFY or CULTIVATE metaphors employ the conventional RIVER metaphor. Wiley has noted that using the term *mainstream* in educational contexts reinforces and obscures potent power relations (Wiley, 1996, 1998). To become part of the educational mainstream is to become part of the dominant Anglo-American cultural matrix. On the other hand, to remain on the margins of that mainstream is to remain subordinate to more powerful groups. In contrast, with the guerrilla metaphors, children are either privileged to attend schools rich enough to edify their home knowledge and cultivate their talents, or they are relegated to schools that neither edify nor cultivate. Such a failed public school builds (in edification terms) or grows (in cultivation terms) powerless and disadvantaged children, through no fault of the child.

The current constellation of PATH and RIVER metaphors is particularly injurious to non-English speaking students and non-standard English speaking students. Language use that is not standard is deemed to be a *barrier* along the curricular path of students. The singular path is associated with a single dialect and monolingualism. Consequently, bilingualism is also a barrier. In the logic of current metaphors, if this obstacle is not *bridged* or otherwise overcome, then bilingualism becomes a *prison* for students. This metaphor-generated viewpoint culminates with the claim that if these children are not mainstreamed, in other words, if they do not become monolingual, they will become educationally *handicapped*. None of these inaccurate associations automatically follow when using the edification or cultivation metaphors for education. See Santa Ana (2002, chapter 6) for a full analysis of guiding metaphors for languages other than English, the English language, and their relationship to the nation in the public discourse on U.S. public education that are mentioned in this section of the article.

In bold relief, the edification metaphor for education resonates with the commonly used term, *home language*. The metaphor can be used in a manner that is consistent with the latest research on linguistic acquisition and cognitive development, to state in effect that eliminating a home language demolishes the linguistic home of a child's

knowledge. The private residence of erudition of the unmistakably educated person, over the objection of monolingual nativists, is not English-dependence, but multilingualism. Further, authentic bilingual education provides the materials and master builders' guidance for children to develop multiple linguistic competencies to construct new homes of knowledge.

To use the frame of reference of the other guerilla metaphor, CULTIVATION, to eliminate a child's home language is to rip out the six or seven year old sapling in order to plant a stringy seedling. Current psycholinguistic research indicates that each child has abundant linguistic resources for a whole orchard of languages. Why do Americans settle for one variety (Standard English), when their children can become accomplished speakers of many languages and varieties of English? From within this metaphor, the rampant growth of language during the child's whole public school period can be articulated with the vocabulary of richness and life-long yield, rather than the conventional view of OBSTACLE, PRISON and HANDICAP.

SUMMARY. Three conceptual metaphors currently constitute America's understanding of public education. SCHOOL AS FACTORY is archaic. Yet this one hundred and fifty year old metaphor remains fully productive in U.S. public discourse, and has not been seriously contested in public discourse by more adequate metaphors. America's children thus are seen, so to speak, as raw material that is fashioned into products that are filled with knowledge content. They have learning forged into them through repetitive, numbing rehearsal. Moreover, the supposed new metaphor for education, SCHOOL AS BUSINESS, retains the antiquated elements of the factory metaphor and reinforces the unfairness of the current system that rewards and punishes accidents of birth that fit current hierarchical relations of power. It promotes conformity since children who fit the mold are promoted for the accident of their white middle-class upbringing. On the other hand, the native capacities and acquired cultural and linguistic richness of racialized minority and working-class children will continue to be demoted. These children's potential can be casually disregarded when the factory efficiency metric is used, or if the business bottom-line is the measure for educational excellence.

The second constitutive metaphor, CURRICULUM AS PATH, is congruent with the SCHOOL AS FACTORY metaphor. The PATH invokes personal responsibility on the part of children for their schooling, and falsely holds that the conditions of the academic foot-race are the same for each child. This false entailment backgrounds unequal social and structural factors that favor some groups at the expense of other groups. Socioeconomic disparities and continuing institutional racism are passed over in these mythical allegories. The American ethic of fair head-to-head competition, which most citizens avow, is mocked by the entailment.

The third constitutive metaphor, again found with abundance in public discourse, characterizes

the other process of public schools. The socialization process as RIVER is part of growing up in a school setting; it is automatic as aging a year in 365 days. It is not a matter of will or personal initiative. Mainstreamed children naturally mature to become members of the majority society. On the other hand, Latino students (as well as other immigrant, working class and racialized children) are accorded their well-established roles on the margins of U.S. society.

With these three conceptual metaphors, the contemporary discourse on U.S. education cannot construct U.S. values of the inherent worth of every child. Via this uncontested discourse, we *drum* and *drill* values into children rather than cultivate those values. We fabricate citizens and manufacture their opinions, rather than edify students so they can critically choose their own values. Children are mere things to be processed by educational workers in factory that are subject to the efficiency metric. America fails to treat its posterity as its most important social end. This archaic discourse stultifies the public's appreciation of the nation's most important natural resource, and its foremost human development institution. Voting decisions that retard and restrict public education will continue to sustain the lamentable status quo – until educators forcefully articulate, and the public finally adopts new ways of visualizing learning, schools, and curriculum. The two entirely insubordinate guerilla metaphors can broaden the electorate's expectations of how to edify and cultivate the children who are our nation's future.

REFERENCES

- Anyon J. Social class and the hidden curriculum of work // *Journal of education*. 1980. Vol. 162. P. 66-92.
- Anyon J. *Ghetto schooling: A political economy of urban educational reform*. New York: Teachers College Press, 1997.
- Apple M.W. *Official knowledge: Democratic education in a conservative age*. London: Routledge, 1999.
- Berliner D.C., Biddle B.J. *The manufactured crisis: Myths, fraud, and the attack on America's public schools*. Cambridge, MA: Perseus Books, 1995.
- Bowles S., Gintis H. *Schooling in capitalist America: Educational reform and the contradictions of economic life*. London: Routledge and K. Paul, 1976.
- Bowles S., Gintis H. *Schooling in capitalist America revisited* // *Sociology of education*. 2002. Vol. 75(1). P. 1–18.
- Byrne J.P. *Theories of cognitive development and learning*. Chapter 2 of *Cognitive development & learning in instructional contexts*. Boston: Allyn and Bacon, 1996.
- Bradley A. *The not-quite profession: The course of teaching. Lessons of a century*. *Education week*. 1999. Vol. 19(2). P. 31–32.
- Callahan R.E. *Education and the cult of efficiency: A study of social forces that have shaped the administration of the public schools*. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
- Cameron L. *Metaphor in educational discourse*. New York and London: Continuum International Publishing Group, 2002.
- Carroll S.J., Krop C., Arkes J., Morrison P.A., Flanagan A. *California's K–12 Public Schools: How Are They Doing?* Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2005.
- Chapman R.L. *Dictionary of American slang*. New York: HarperCollins, 1995.
- Chilton P.A. *Security metaphors: Cold war discourse from containment to common house*. New York: Peter Lang, 1996.
- Ching F.D.K. *A visual dictionary of architecture*. New York: Van Nostrand Reinhold, 1995.
- Colm Hogan P. *Cognitive science, literature, and the arts: A guide for humanists*. New York: Routledge, 2003.

- Cook-Sather A. Movement of mind: The Matrix, metaphors, and re-imagining education // *Teachers college record*. 2003. Vol. 105(6). P. 946–977.
- Danahy M. On the metaphorical language of L2 research // *The modern language journal*. 1986. Vol. 70(3). P. 228–235.
- Danso R.K., McDonald K. Writing xenophobia: Immigration and the press in post-apartheid South Africa. Cape Town, South Africa: Idasa, 2000.
- Dennis E.E., LaMay C.L. (Eds.). *American's schools and the mass media*. New Brunswick and London: Transaction Publishers, 1993.
- Dewey J. My pedagogic creed // *Dewey on education* / M.S. Dworkin (ed.). New York: Teachers College Press, 1959. (Original work published in 1897.)
- Dickens C. *Hard times*. London: Penguin, 1995. (Original work published in 1854.)
- Fairclough N. *Language and power*. New York: Longman, 1989.
- “Fear and Learning at Hoover Elementary”. Film documentary directed and narrated by Laura Angélica Simón. (Hohokus, NJ: Josepha Producciones, Transit Media, 1997).
- Fennimore B.S. *Talk matters: Refocusing the language of public schooling*. New York: Teachers College Press, 2000.
- Fitzpatrick E. *Industrialism // A companion to American thought* / Ed. by R.W. Fox, J.T. Kloppenburg. Malden, MA: Blackwell Publishers, 1995.
- Foucault M. *Discipline and punishment*. New York: Vintage Books, 1979.
- Foucault M. *Power/Knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977*. New York: Pantheon Books, 1980.
- Freire P. *Pedagogy of the oppressed*. New York: Seabury Press, 1970.
- Gee J.P. *An introduction to discourse analysis: Theory and method*. London and New York: Routledge, 1999.
- Guerra J.C. *Close to home: Oral and literate practices in a transitional Mexican community*. New York and London: Teachers College Press, 1998.
- Guerrero M.D. *Research in bilingual education: Moving beyond the effectiveness debate // Chicano school failure and success: Past, present and future* / Ed. by R. Valencia, 2nd edition. New York: Routledge, 2002.
- Hall S., Critcher C., Jefferson T., Clarke J., Roberts B. *Policing the crisis: Mugging, the state, and law and order*. London: Macmillan, 1978.
- Helfand D. Study offers grim look at schools. The State trails national averages in almost every objective category, the Rand Corp. report says. Its lead author urges systemic solutions // *Los Angeles Times*, 4 January, 2005, p. B1.
- Himmelfarb G. *Strictly family: Book review of George Lakoff's 'Moral politics: What conservatives know that liberals don't.'* // *TLS: Times literary supplement*. 1996. № 4870. P. 12.
- Jørgensen M., Phillips L. *Discourse analysis as theory and method*. London; Thousand Oaks, CA: Sage Publications 2002.
- Kant I. *Perpetual peace, and other essays on politics, history, and morals*. Translated and with introduction by Ted Humphrey. Indianapolis: Hackett Publishing Co. 1983. (Original work published in 1795).
- Kerchner C.T., Koppich J.E., Weeres J.G. *United Mind Workers: Unions and teaching in the knowledge society*. San Francisco: Jossey-Bass 1997.
- Kohl H. *36 Children*. New York: Plume, 1988.
- Kroskrity P.V. *Regimenting languages: Language ideological perspectives // Regimes of language: Ideologies, politics and identities* // Ed. by P.V. Kroskrity. Santa Fe, NM: School of American Research Press, 2000.
- Kumaravadivelu B. *Critical classroom discourse analysis // TESOL quarterly*. 1999. Vol. 33(3). P. 453–484.
- Lafont C. *The linguistic turn in hermeneutic philosophy*. Cambridge, MA: MIT Press, 1999.
- Lakoff G. *Women, fire, and dangerous things: What categories reveal about the mind*. Chicago: University of Chicago Press, 1987.
- Lakoff G. *The contemporary theory of metaphor // Metaphor and thought* / Ed. by A. Ortony, 2nd edition. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1993.
- Lakoff G. *Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to Western thought*. New York: Basic Books, 1999.
- Lakoff G. *Don't think of an elephant: Know your values and frame the debate: The essential guide for progressives*. White River, VT: Chelsea Green Publishing Company, 2004.
- Lakoff G., Núñez R.E. *Where mathematics comes from: How the embodied mind brings mathematics into being*. New York: Basic Books, 2000.
- Lakoff G., Johnson M. *Metaphors we live by*. Chicago: Chicago University Press, 1980.
- Luke A. *Text and discourse in education: An introduction to critical discourse analysis // Review of research in education* / Ed. by M.W. Apple. 1995–1996. Vol. 21. P. 3–48.
- Maeroff G.I. (Ed.). *Imaging education: The media and schools in America*. New York; London: Teachers College Press, 1998.
- McGee M.C. *The ideograph: A link between rhetoric and ideology // Quarterly journal of speech*. 1980. Vol. 66. P. 1–16.
- Miller S.I., Fredericks M. *Perceptions of the crisis in American public education: The relationship of metaphors to ideology // Metaphor and symbolic activity*. 1990. Vol. 5(2). 67–81.
- National Commission on Excellence in Education. *A nation at risk: The imperative for educational reform. Report to the nation and the Secretary of Education*, United States Department of Education. Washington, D.C., 1983.
- Noguera P.A. *A tale of two cities: School desegregation and racialized discourse in Berkeley and Kansas City // International journal of comparative race and ethnic studies*. 1995. Vol. 2(2). P. 48–62.
- Oakes J. *Keeping track: How schools structure inequality*. New Haven, CT: Yale University Press, 1985.
- O'Halloran K. *Critical discourse analysis and language cognition*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003.
- Omi M., Winant H. *Racial formation in the United States: From the 1960s to the 1980s*. New York: Routledge and Kegan Paul, 1987.
- Ono K., Sloop J. *Shifting borders: Rhetoric and Proposition 187*. Philadelphia: Temple University Press, 2002.
- Pinar W.F. (Ed.). *Contemporary curriculum discourses*. Scottsdale, AZ: Gorsuch Scarisbrick, 1988.
- Pinar W.F. et al. (Eds.). *Understanding curriculum: An introduction to the study of historical and contemporary curriculum discourses*. New York: P. Lang, 1995.
- Postman N., Weingartner C. *Teaching as a subversive activity*. New York: Delacorte Press, 1969.
- Price S. *Critical discourse analysis: Discourse acquisition and discourse practices // TESOL Quarterly*. 1999. Vol. 33(3). P. 581–595.
- Radman Z. (Ed.). *From a metaphorical point of view: A multidisciplinary approach to the cognitive content of metaphor*. Berlin; New York: W. de Gruyter, 1995.
- Rist R.C. *Student social class and teacher expectations: The self-fulfilling prophecy in ghetto education // Harvard educational review*. 1970. Vol. 40. P. 411–51.
- Rogers R. (Ed.). *An introduction to critical discourse analysis in education*. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates, 2004.
- Santa Ana O. *Brown tide rising: Metaphors of Latinos in contemporary U.S. public discourse*. Austin: University of Texas Press, 2002
- Santa Ana O. *Book review of Shifting borders: Rhetoric, immigration, and California's Proposition 187, K. Ono and J. Sloop. (2002). Philadelphia: Temple University Press // Aztlán: A Journal of Chicano Studies*. 2003. Vol. 28(2). P. 249–258.
- Schön D.A. *Generative metaphor: A perspective on problem-setting in social policy // Metaphor and thought* / Ed. by A. Ortony. 1st edition. New York: Cambridge University Press, 1979.
- Tell C. *Renewing the profession of teaching: A conversation with John Goodlad // Educational leadership*. 1999. Vol. 56(8). P. 14–19.
- Toolan M. (Ed.). *Critical discourse analysis: Critical concepts in linguistics*. London and New York: Routledge, 2002.
- Valdés G. *The world outside and inside schools: Language and immigrant children*. Educational researcher. 1998. Vol. 27(6). P. 4–18.

Valencia R.R. Towards Chicano school success // Chicano school failure and success: Past, present and future / Ed. by R.R. Valencia, 2nd edition. London and Philadelphia: Falmer Press, 2002.

van Dijk T.A. Principles of critical discourse analysis // Discourse and society. 1993. Vol. 4(2). P. 249–283.

Varenne H., McDermott R., Goldman S., Naddeo M., Rizzotto R. Successful failure: The school America builds. Boulder, CO and Oxford: Westview Press, 1998.

Wetherell M., Potter J. Mapping the language of racism: Discourse and the legitimation of exploitation. New York: Columbia University Press, 1992.

Wiley T. English-only and standard English ideologies in the U.S. // TESOL quarterly. 1996. Vol. 30. P. 511–535.

Wiley T. The imposition of World War I era English-only policies and the fate of German in North America // Language and politics in the United States and Canada: Myths and realities / Ed. by T. Ricento, B. Burnaby. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 1998.

Wolfe P.M. Changing metaphors for secondary ESL and bilingual education // So much to say: Adolescents, bilingualism, and ESL in the secondary schools / Ed. by C.J. Faltis, P.M. Wolfe. New York; London: Teachers College Press, 1999.

© Otto Santa Ana, 2007

экономии и французском утопическом социализме. Как показано в монографии Э.В. Будаева и А.П. Чудинова [2006], современная политическая лингвистика в значительной степени восходит к американским исследованиям первой половины XX века (У. Липпманн, П. Лазерфельд, Г. Ласвелл, Н. Лейтес, С. Якобсон) и европейской антитоталитарной публицистике и документалистике (В. Клемперер, Дж. Оруэлл) тридцатых-сороковых годов прошлого столетия. К сожалению, многие из этих публикаций мало известны в России, что связано не только с идеологической цензурой, но и с тем, что они давно уже стали библиографической редкостью.

Значимость этих публикаций для отечественных читателей определяется еще и тем, что существенная часть из них в той или иной мере посвящена советскому политическому дискурсу. Соответствующие фрагменты есть и в книге В. Клемперера, еще больше их в публикациях Дж. Оруэлла, а некоторые американские публикации полностью посвящены советскому (возможно, в данном случае лучше сказать «коммунистическому») способу коммуникации.

В настоящем издании представлены впервые переведенные на русский язык главы знаменитой монографии «Язык политики: исследования по количественной семантике» под редакцией Гарольда Д. Ласвелла и Натана Лейтеса (Lasswell H.D., Leites N. et al. 1949). Первая глава этой монографии «Язык власти» была опубликована в предыдущем выпуске политической лингвистики» [Lasswell 2006]. В настоящем выпуске представлены еще две главы. Первая из них «Первомайские лозунги в советской России (1918-1943)» написана Г. Ласвеллом совместно с С. Якобсоном. Авторы с использованием методики контент-анализа детально рассматривают то, как отражаются изменения в политической ситуации на содержании первомайских лозунгов.

Впервые эти лозунги были опубликованы в апреле 1918 года за подписью Я.М. Свердлова и адресованы всем местным комитетам партии и коммунистическим партийным ячейкам в Советах. Большинство лозунгов имело обобщенный характер и было заимствовано со времен, предшествовавших победе. Главные идеи этих лозунгов – необходимость защиты советской власти от врагов в России и за рубежом. Как поясняют авторы исследования – их цель «состоит в том, чтобы отметить относительные тенденции в повторении и изменении первоначального списка лозунгов». В годы Гражданской войны огромное значение придавалось «революционным» символам, но впоследствии они стали менее актуальными. Вначале лозунги были «универсальными», но в более поздние годы все большее внимание уделялось внутренним проблемам Советского Союза.

Еще одна глава из указанной монографии, представленная в настоящем выпуске, называется «Третий интернационал об изменениях политического курса». Данное исследование

РАЗДЕЛ 3.

КЛАССИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Косарев М.И., Овсянникова И.А.,
Солопова О.А.

Екатеринбург, Россия

У ИСТОКОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Abstract

The aim of the article is to show the significance of American research conducted in the first half of the XX century (W. Lippmann, P. Lazarsfeld, H. Lasswell, N. Leites, S. Jakobson) and how these ideas influenced modern Russian political linguistics. It is of importance that a great many classical works dealt with political discourse of Soviet Russia.

В знаменитой статье В.И. Ленина «Три источника и три составные части марксизма» было ярко показано, что эта теория базируется на немецкой философии, английской политической

подготовлено Натаном Лейтесом и посвящено выяснению того, как лидеры Третьего интернационала, который до 1943 года, объединял коммунистические партии различных стран мира, мотивировали изменения политического курса. В соответствии с правилами политического поведения коммунистические пропагандисты должны были, с одной стороны, довести до широких масс информацию об изменениях политического курса, а с другой – объяснить, что никаких изменений не было, что новые документы полностью соответствуют прежним лозунгам.

Обе названные главы относятся к третьему разделу, в котором сосредоточены статьи по анализу конкретных политических текстов и их комплексов. Представляется, что современным российским читателям окажутся небезыносными статьи американских советологов, посвященные методам коммунистической пропаганды. Но не меньшую значимость имеет сама методология контент-анализа, которую разработали и успешно применили американские специалисты. Важно подчеркнуть, что эта методология впоследствии была использована во множестве исследований, она позволяет количественно выразить многие нюансы развития политической ситуации и выявить скрытые интенции авторов политических текстов.

Серия классических для мировой политической лингвистики публикаций, созданных специалистами, работавшими в прошлом веке, будет продолжена в последующих выпусках журнала «Политическая лингвистика».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма. М., 1971.
- Будаев Э.В., Чудинов А.П. Зарубежная политическая лингвистика. Екатеринбург, 2006.
- Lasswell H.D. Language of Power // Политическая лингвистика. Екатеринбург, 2006. – № 20.
- Lasswell H.D., Leites N. et al. Language of Power: Studies in Quantitative semantics. – New York: George W. Stewart, 1949.
- © Косарев М.И., Овсянникова И.А., Солопова О.А., 2007

Лейтес Н.

Перевод: Косарев М.И.

ТРЕТИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА

Abstract

The present investigation deals with the meta-language of Communist International (Comintern) about the changes of the "object-language" of the Comintern. As the author puts it, there were several "shifts" in the political line of the Comintern in its history. The author gives a survey of the changes of Comintern policy and speaks about the factors responsible for denials of political changes. The author analyses forms of denial (negations and affirmations of constancy) derivations of denial and sub-types of the derived denials (containing assimilation between the old and the new by redefinition of terms or by the modification of presentation of old dogma).

Введение. Настоящее исследование посвящено анализу тех знаков Коммунистического Интернационала (к которому мы будем обращаться общепринятой аббревиатурой «Коминтерн»), которые

связаны с его собственными знаковыми вариациями во времени. Используя терминологию некоторых современных эпистемологических исследований можно сказать: его целью является исследование метаязыка Коминтерна, описывающего изменения «языка-объекта» Коминтерна. Дальнейшие цели данного исследования двояки 1) оно вносит вклад в изучение символических аспектов революционных методов с периода Первой Мировой войны; 2) нижеследующий анализ может стать основой для разработки более общей теории динамики политических и иных догматов.

Для исследования данной динамики в современной политике Коминтерн является, вероятно, наиболее ярким примером. Это объясняется рядом причин, наиболее значимы среди которых следующие: 1) Политические догматы Коминтерна, в отличие от догматов любого из современных крупных политических движений, более детально проработаны; 2) С течением времени эти догматы подвергались изменениям, частота и амплитуда которых превосходила вариации учений соперников; 3) Эти изменения находили гораздо большую поддержку среди сторонников Коминтерна, чем отмечалось в сходных ситуациях у политических оппонентов. В этой связи настоящее исследование можно рассматривать как анализ *некоторых из* «методов и приёмов», использовавшихся политической элитой Коминтерна, чтобы получить поддержку при изменении политического курса.

Использовавшийся материал: при рассмотрении периода с 1919 по 1935 годы – стенографические отчёты 7-ми всемирных конгрессов Коммунистического Интернационала (Всемирные конгрессы Коминтерна проходили в 1919, 1920, 1921, 1922, 1924, 1928 и 1935 годы. В цитатах из отчётов рассматриваемый конгресс будет обозначаться римской цифрой. Отчёты по первым пяти конгрессам на немецком языке – опубликованные Карлом Хоймом, последователем Луи Канбли в Гамбурге, в 1921 г. (I, II, III), в 1923 г. (IV) и без даты (V) – использованы автором в собственных переводах, если не указано иное. Отчёты по двум последним конгрессам, опубликованные на английском языке, предоставлены издательством «Инпрекорра» за исключением отчёта Бухарина об Исполкоме по 6-му Конгрессу, использованного в виде издания «Инпрекорра» на французском языке. Все ссылки на страницы касательно 6-го Конгресса относятся к тому «Инпрекорра» 1928 года, ссылки, касающиеся 7-го Конгресса, относятся к тому «Инпрекорра» 1935 года, несмотря на то, что указан том 1936 года) и – при рассмотрении периода, начиная с 1935 года – еженедельный коминтерновский бюллетень «Интернационале Прессе Корреспондент» (Инпрекорр), в 1938 году переименованный в «World News and Views». При анализе сдвигов, произошедших в политической линии с началом войны между Германией и Россией в 1941 году как источник материала рассматривалась «New York Daily Worker». В отношении роспуска Коммунистического Интернационала рассматривалась резолюция президиума Исполнительного Комитета Коминтерна от 15 мая 1943 года. Были выделены следующие значимые изменения

политического курса Коммунистического Интернационала (ср. в контексте: Х.Д. Ласвелл, Д. Блуменсток *Мировая революционная пропаганда* (Нью-Йорк 1939), Ф. Боркенау *Коммунистический Интернационал* (Лондон 1939), А. Роезберг *История большевизма* (Лондон 1934)):

1. **Правый поворот 1921 года.** Политики, ориентированная на скорейшую победу революции и проявление крайних форм агрессии по отношению к другим рабочим организациям, сменяется курсом, ориентированным на установление «спада» революционного процесса, поддержку относительной легитимности и совместные с другими рабочими организациями действия «единым фронтом сверху», а также «снизу» и в «рабочих правительствах».

2. **Левый поворот 1924 года.** Отказ от сотрудничества с рабочими организациями при формировании «единого фронта снизу», возвращение к «диктатуре пролетариата» как непосредственной цели.

3. **Левый поворот 1927-1928 годов.** После промежуточного периода 1925-1927 годов с его ослаблением агрессии к иным рабочим организациям, свидетельством чему стал «Англо-Российский профсоюзный альянс» и политика компартии США, связанная с «Фермерской рабочей партией», произошёл отказ от сотрудничества с «социальными фашистами» и поворот в сторону «двойного профсоюзного представительства» и повстанческих жестов.

4. **Правый поворот 1934-1935 годов.** Поворот к «единому пролетарскому фронту сверху», «органическому единству рабочих партий» и «рабочему фронту».

5. **Левый поворот 23 августа 1939 года** совпал с кодификацией изменения отношений между Советским Союзом и Германией.

6. **Поворот 22 июня 1941 года** совпал с началом германско-советской войны.

Настоящее исследование рассматривает типическую знаковую структуру реального принятия изменений курса и их отрицаний, как они представлены в упомянутых источниках (как критически оцениваемые или безоговорочно принимаемые). Впрочем, гораздо проще для многих было данные изменения намеренно не замечать. Зная слова Дж. Б. Шоу о том, что «во время любого военного кризиса Сталин вёл себя, как если бы немецкая армия и её главнокомандующий не существовали вовсе» (*New Statesman and the Nation*, 31.05.1941: 555), кто-нибудь мог бы предположить с большей вероятностью, что сталинский Коминтерн не считал изменения политического курса существенными и даже не брал на себя труд отрицать сам факт того, что они произошли. Коминтерн всё более и более «жил одним днём». Если происходило изменение курса, всё внимание концентрировалось на том, чтобы доказать, почему новый курс был правильным, а не на том, был ли он новым и в чём его новизна. На это и на то, в какой мере изменения отрицались, влияли, вероятно, те же факторы.

Часть 1. ОТРИЦАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

1. **Формы отрицания.** Отрицания перемен можно классифицировать по определённым формальным характеристикам. В связи с этим, представляется возможным и значимым в аналитических целях различать собственно отрицание перемен и утверждения о неизменности ситуации.

Утверждения о неизменности ситуации присутствуют во всех рассматриваемых случаях. Это, однако, ещё не говорит, что роль этого приёма в сравнении с иными – также встречающимися и часто противоречивыми – оставалась неизменной. По вполне понятным причинам утверждения подобного рода обычно делались верхушкой доминирующей фракции Коминтерна, ответственной за старый политический курс и сумевшей остаться у власти при новом режиме.

По-видимому, частота применения подобной тактики в течение всего времени существования Коминтерна постоянно росла. Это может быть связано с рядом факторов, среди которых назовём: 1) нетерпимость к разногласиям внутри Коминтерна; 2) уменьшающуюся со временем приверженность элиты Коминтерна общедоступной идеологии; 3) видимое исчезновение реализма из взглядов этой элиты.

Прямые утверждения неизменности ситуации могут дополняться утверждениями постоянства применительно к периоду не непосредственно предшествующему данному, а более отдалённому от него. Поскольку, как видно из истории Коминтерна, правые и левые повороты, связанные с ними изменения в политике значительно отличались друг от друга. Часто политический курс, принятый на одном из таких поворотов, вполне справедливо можно было бы признать идентичным предшествующему повороту в том же направлении. Это, конечно, не может служить достаточным *thema probandum* (лат. доказательство тезиса), и являет собой *ignoratio elenchi* (лат. подмена тезиса), что, вероятно, помогает создать и укрепить в обществе иллюзию неизменности курса по сравнению с ближайшим прошлым.

Так, напр., на 7-ом съезде Коминтерна в 1935 году генсек Исполкома Коминтерна Георгий Димитров со ссылкой на 4-ый и 5-ый съезды (1922, 1924 годов), когда «исход зависел по существу от вопроса (о рабочем правительстве), который мы обсуждается сегодня (о правительстве единого фронта). Дебаты по данному вопросу, проходившие в то время в Коммунистическом Интернационале, не утратили своей значимости и до настоящего момента...». Ссылка Г. Димитрова на значимость не только 4-го Конгресса (ознаменовавшего правый поворот в политике), но и 5-ого (ставшего сигналом левого поворота), видимо, служила основной цели выступления: разубедить в том, что 7-ой Конгресс был обновлённой и гораздо более радикальной формой «правого» 5-го Конгресса. Похожим образом, но более открыто отрицания изменения

политического курса после начала войны между Германией и СССР в 1941 году осуществлялись со ссылкой на особенности курса 1934-1939, а не 1939-1941 годов.

Как мы отмечали выше, наряду с речевыми утверждениями о неизменности политического курса, которые мы рассматривали до настоящего момента, необходимо анализировать и речевые отрицания перемен. Отрицания перемен по своей сути могут отрицать сам факт изменений, либо заявлять о ложности обратных утверждений.

До тех пор, пока открытое несогласие было возможным в Коминтерне, утверждения, указывающие на изменения, были достаточно распространены и по понятным причинам исходили от представителей к тому моменту меньших политических групп, независимо от того, принадлежали ли они к большинству ранее. Так, на 5-ом Конгрессе на факт левого поворота в политическом курсе указывали два крайних коминтерновских политических крыла: крайне правая группа Радека-Брандлера (принадлежавшая к доминирующей фракции большую часть времени между 4-ым и 5-ым Конгрессом) и ультралевая группа Амадео Бордиги, принадлежавшая к оппозиционным силам со времён 2-го Конгресса в 1920 году. Напротив, умеренно правые (как часть руководства компартии Чехословакии) и умеренно левые (как новое руководство компартии Германии) в большей или меньшей степени склонялись к тому, чтобы согласиться с отсутствием перемен в политическом курсе, как продолжал заявлять представитель «ядра» Коминтерна Г.Е. Зиновьев. Эти фракции, занимавшие промежуточные позиции, или уже заключили мирный договор с группой Г.Е. Зиновьева, или собирались его заключить. Принятие этими группами мифа о неизменности курса было требованием советского руководства Коминтерна и являлось «символом доброй воли». На 7-м Конгрессе, однако, «торги» подобного рода были пресечены введением более строгой интерпретации идеологической целостности. Фракция большинства, в такой ситуации, могла отрицать утверждения политических перемен, исходящие лишь от лиц и организаций вне Коминтерна, либо от его безымянных членов (в такой ситуации назвать по имени значило бы исключить из рядов. Так, Г. Димитров был вынужден ограничиться неопределённым «*есть на свете всезнайки*, усмотревшие во всём этом (новой политике, провозглашённой Конгрессом) какой-то правый поворот» [VII: 977]).

Кроме упомянутых изменений в отношении к несогласию внутри Коминтерна, сохранялись определённые символические способы работы с ними.

Наиболее распространённым способом было выдвинуть опровержение утверждения об изменении Коминтерном курса со ссылкой на мотивы авторов данного утверждения. (Тесная связь данного способа, который часто использовался не только в Коминтерне, с общей струк-

турой «диалектического материализма очевидна.) Апелляция к «недобрым» мотивам, предположительно, прямо опровергала утверждения, либо сводила на нет возможность с ними согласиться. Так, в ходе 5-го Конгресса Г.Е. Зиновьев воскликнул: «Как можно говорить, что мы что-то пересматриваем (тезисы 4-го Конгресса)? Нет, товарищи, это просто агитационный лозунг Радека, направленный против Коминтерна, не более» [V: 485]. И снова в отношении упрека Радека: «Товарищи, вы, конечно, понимаете теперь, когда мы впервые должны работать без товарища Ленина, когда разные страны охвачены суровым кризисом, каков подтекст этого упрека» [V: 467].

В такой же манере Г. Димитров на 7-ом Конгрессе обыграл своё высказывание о «всезнайках», указывавших на правый поворот, заявив: «В моей стране, Болгарии, говорят, что у голодной курицы все мысли о пшене. Пусть эти политические цыплята так думают». Подобным образом в пресс-конференции 24 августа 1939 года Эрл Браудер упомянул, что «многие газеты комментируют это (российско-германский пакт) как изменение политического курса Советского Союза. Всё это, конечно, чушь, но чушь, в достаточной степени приемлемая для Берлина» (World News and Views, 26.08.1939: 914)

С определением утверждений об изменении политического курса как имеющих «оппортунистические корни» становится возможным перевернуть пропозициональную цепочку и на основании утверждений, что политика Коминтерна изменилась, сделать заключение о наличии «оппортунизма». Прекрасным примером такой техники являются тщательно подготовленные слова Вензеля, чехословацкого делегата, входившего в группу Г.Е. Зиновьева [ср. V: 209-210]. В попытке доказать, что большинство членов его делегации совершили «правый поворот», он зачитывает декларацию этого большинства, в которой рассматривается сама возможность получения выгоды от изменения политического курса 5-ым Конгрессом. Используя это как главное доказательство без каких-либо промежуточных связей он делает вывод о наличии «оппортунистических тенденций» в группе. Конечно, та же самая техника используется для доказательства догмы, что ультралевые сдвиги по своей природе правые. Так, Г.Е. Зиновьев на 5-ом Конгрессе не смог не отметить согласие правого Радека и левого Бордиги с тем, что происходит смена курса, и многозначительно добавил: «Это случается при крайне левых сдвигах. Ультралевые и ультраправые сходятся» [V: 104].

Если один из способов дискредитации заявлений об изменении политического курса состоит в приписывании их авторам отрицательных мотивов, то второй заключается в том, чтобы повернуть предоставленные данные против них. Главный лозунг в этой ситуации – «не мы изменяем, а вы изменяете» (В этих случаях мы можем наблюдать или не наблюдать «проекцию» в

строго психологическом смысле данного термина). Напр., на 5-ом Конгрессе Г.Е. Зиновьев заявляет: «Полагаю, я могу утверждать и привести доказательства того, что это не мы предлагаем пересмотреть резолюции 3-го и 4-го Конгрессов, а именно Радек и другие правые» [V: 467]. Похожим образом в статье «Daily Worker» после начала германско-советской войны Л. Буденц указывает: «Многих из тех, кто, продолжая «игру Империи», кричал о войне с гитлеризмом, просят объяснить их непоследовательность теперь, когда Советским Союзом ведётся настоящая война против гитлеровской агрессии. Чтобы скрыть свою непоследовательность, эти люди упрекают в непоследовательности коммунистов» (Daily Worker, 26.06.1941).

Ещё один слоган, связанный с рассмотренным выше, в отношении утверждающих, что «мы изменились», звучит «мы не изменились, но нам пришлось бы это сделать рано или поздно, если бы мы действовали так, как вы говорили». Так, в статье «Daily Worker», опубликованной после начала германско-советской войны и адресованной авторам идеи, что Коминтерн осуществил резкий поворот в политике после 23 августа 1939 года и 22 июня 1941 года говорится: «вы ожидали, что коммунисты (с началом войны в сентябре 1939 года) сделают резкий скачок в сторону, поддержав ваши цели империалистической войны» (Daily Worker, 26.06.1941).

Среди факторов, определяющих необходимость постоянного опровержения утверждений об изменении политического курса в течение истории Коминтерна, самым очевидным и, вероятно, наиболее важным является следующий. Степень «субъективной ригидности» близких Коминтерну организаций на разных уровнях иерархии, вероятно, уступает в большей степени символически эластичной структуре идеологии Коминтерна, т.е. главные символы Коминтерна допускали возможность выведения большого числа политических перемен, но в то же время актуализации этой символической гибкости, признаваемые как таковые, вызывали негативные реакции сторонников, как лёгкое недоумение, так и полный шок. Нет причин считать, что поведение членов Коминтерна в этом отношении являло собой исключение в широко распространённой модели социального поведения, но детально проработанная идеология коминтерновских стратегий и тактик имела свойство повышать степень субъективной (в отличие от символической) ригидности его сторонников. Представителями групп в составе Коминтерна, опровергавшими изменения в политике (которые действительно имели место), в противоположность тем, кто утверждал обратное, это часто принималось как само собой разумеющееся.

Очевидно, степень субъективной ригидности различалась в разных группах сторонников и в данный период, и в иные периоды времени. Отсутствие доказательств не позволяет нам идти в этом утверждении дальше логически

приемлемых предположений.

Отсюда можно предположить, что статус человека в иерархии Коминтерна и степень его ригидности в смысле, в котором мы употребляем слово выше, связаны обратной связью. (Однако, при желании можно взглянуть на это и так, что поскольку наиболее низкие уровни иерархии, т.е. более или менее инертный сектор обычных членов партии менее политизирован, данный сектор и является наименее субъективно ригидным в отношении политических перемен.) Более того, при рассмотрении каждого отдельно взятого политического изменения можно сделать вывод о наличии обратной связи между степенью субъективной ригидности и временем, которое уже прошло с момента изменения. Это один из главных факторов, объясняющий, почему наиболее интенсивно политические перемены отрицаются сразу после того, как изменение становится очевидным. Так, напр., в первые дни после начала войны в августе 1939 года преобладали отрицания, со временем сменившиеся простым признанием факта.

Можно предположить, что со временем актуализация данного феномена обрела снижающуюся тенденцию. На это оказал влияние ряд факторов, среди которых можно назвать следующие: накапливающееся влияние (увеличивающегося) числа более резких изменений, снижающаяся сила верований и интереса к верованиям (по крайней мере, касательно действительно существенных принципов, а не формального убеждения в том, что руководящее звено движения всегда право), подбор кадров для высших и средних уровней иерархии с учётом фактора субъективной гибкости. Связанное с этим снижение субъективной ригидности кадрового состава вылилось в снижение необходимости отрицать изменения политики. Но присутствовали и взаимопротиводействующие факторы. С одной стороны, всё увеличивающаяся степень изменений не могла не усиливать необходимость отрицания перемен; с другой стороны, тенденция к исчезновению внутрипартийной критики по основным пунктам политики и утверждению догмы непогрешимости лидеров Коминтерна облегчала задачу отрицания.

Если рассматривать различия в случаях отрицания перемен в относительном аспекте, становится заметной наиболее важная связь – между направлением изменения и его отрицанием: по крайней мере до 1939 года правые повороты отрицались более интенсивно, нежели левые. И хотя в данной работе не ставится целью провести детальный количественный подсчёт, можно утверждать, что отрицания играли наименьшую роль на 6-ом Конгрессе (кодифицировавшем самый резкий из левых поворотов) и наиболее значительную роль на 7-ом Конгрессе (постановившем заметный правый сдвиг). Объяснение этому найти легко: психологическая расположенность масс к термину «левый» – и типам поведения, к которым данный термин от-

сылает – в целом присутствует среди членов Коминтерна в период с 1934 по 1935 год, а к термину «правый» – скорее отсутствует (Один из множества указателей на это – технический язык Коминтерна, связанный с характеристикой политических сдвигов, допускает использование термина «левый» со значением «ультралевый» и только в кавычках, тогда как значение термина «правый» всегда содержит сему «политический сдвиг» (и, вероятно, может употребляться только с негативной коннотацией – *прим. пер.*), употребляется практически всегда без кавычек в этом (или любом другом) контексте. (ср., однако, интересные исключения в тезисах 5-ого Конгресса в отчёте Исполкома Коминтерна: ср. английскую редакцию «Инпрекорра» от 29.08.1924: 646: Импликации – часто выраженные эксплицитно – содержат следующее: (1) политика Коминтерна в тот момент такова, что нет и не может быть более «неподдельно левой», чем эта; (2) правые сдвиги в действительности являются левыми). Таким образом, при правых сдвигах было больше стимулов отрицать само изменение, нежели при левых. После длительного влияния беспрецедентно правой политики, начатой в 1934 году ситуация была, вероятно, обратной. Похоже, что на оценочной шкале общества «правость» и «левость» поменялись местами и в результате, левый сдвиг 1939 года отрицался гораздо более интенсивно, нежели правый в 1941 году.

2. Производные отрицания. В случае отрицания изменения курса, само отрицание может иметь или не иметь источником иные утверждения.

В диахронии возможно наблюдать увеличение роли *прямых*, а не *производных* отрицаний в символике Коминтерна, и снижение степени *проработанности* «производности» отрицания в ходе использования. Сразу заметно отличие по данным пунктам между 1924 (5-ый Конгресс) и 1935 годами (7-ой Конгресс). Разумеется, эти тенденции являются указателями на проходящие в Коминтерне процессы «тоталитаризации».

Каковы основные типы дериваций отрицаний изменения политики?

Последующая дискуссия может быть организована вокруг исследования роли определённых наборов предложений в этих деривациях, в частности, предложений фактов, относящихся к: 1) новым символам и порядкам, к которым осуществляется переход; 2) старым символам и порядкам, от которых он происходит. Символический приём, обычно используемый в этой связи, можно определить как «технику символической ассимиляции старого и нового», т.е.: старые и / или новые символы и порядки намеренно представляются так, что при восприятии минимизируется ощущение разницы между ними. Можно говорить о «полной ассимиляции» в случаях, когда различия не воспринимаются, и «частичной ассимиляции», когда различия при восприятии минимизируются, а не отрицаются полностью. Можно говорить также и об «односторонней ассимиляции», если только одна из частей представляется искажённой, и «двусторонней ассимиляции», когда искажаются обе.

Класс односторонней ассимиляции можно разбить далее на подклассы со случаями ассимиляции *старого новому* и случаями ассимиляции *нового старому*, в соответствии с которыми символическая составляющая политики бывает искажена. Если рассматривать символическую ассимиляцию в соответствии с данным определением и как основной базис отрицания политических изменений, представляется возможным и целесообразным исследовать типические основания самой символической ассимиляции. Каким же образом идеология Коминтерна размывает различия между старым и новым?

Среди большого числа разнообразных методик, использующихся в этой связи, самой элементарной – и не самой незначительной – является ассимиляция простым утверждением, т.е. можно просто сделать заведомо ложное утверждение, что Коминтерн «всегда» следовал определённой линии, которая в реальности была представлена лишь недавно. Во всех других случаях, однако, ассимиляция является скорее производной, нежели прямой.

2.1. Символическая ассимиляция переопределением терминов. Новая линия может быть выражена старой формулой, и в то же время на переопределение терминов, которое предполагает данная процедура, не делается вербальный акцент, т.е. факт, что рассматриваемые дефиниции неизменны во времени может эксплицитно выражаться или имплицитно подразумеваться. Эта техника часто использовалась большевицкой элитой при формировании внутригосударственной идеологии. Изменения в аграрной политике, напр., часто сопровождалась намеренными и вербально никак не зафиксированными переопределениями терминов «кулак», «середняк», «бедняк».

Та же самая техника часто фигурировала в манипуляциях символами Коминтерна. Так, Ф. Боркенау указывает относительно термина «рабочая аристократия»: «одно время значение становилось всё более узким, пока не совпало со значением «нанятые и оплачиваемые работники партии и профсоюзов». В другое время оно было расширено до такой степени, что могло употребляться для обозначения любого работающего человека» (The Communist International, Лондон, 1939: 83). То же наблюдается и с ритмом смены значений таких терминов, как «пролетарский авангард», «большинство решающего пласта пролетариата» из известных неологизмов 3-го Конгресса.

А. Переход от 4-го к 5-му Конгрессу. Пример наиболее важного и наиболее иллюстративного использования данной техники в отношении двух ключевых терминов «рабочее правительство» и «тактика единого фронта» дал 5-ый Конгресс Коминтерна. На 5-ом Конгрессе была сохранена главная формула 4-го Конгресса (в соответствии с которой коммунистические партии должны применять тактики единого фронта и требовать формирования «рабочего правительства»), но незаметной подменой зна-

чений ключевых терминов изменён её смысл. (Привести пример не представляется возможным из-за объёма.) Можно ещё раз подчеркнуть, что данные переосмысления вербально не были зафиксированы, поскольку в этом не была заинтересована доминирующая фракция. «Мы продолжаем выступать за рабочие и крестьянские правительства», – заявил Г.Е. Зиновьев [V: 87]. «Тактика единого фронта верна» – уверили общественность [V: 77]. Прямо утверждалось, что дефиниции употреблённых на 5-ом Конгрессе ключевых терминов были идентичны с общепринятыми дефинициями предшествующего периода. В целом только крайне правые (не желавшие изменения курса) и крайне левые (собиравшиеся уйти ещё левее, чем доминирующая фракция, и не верившие в её новоутверждённую «левизну») взяли на себя труд развенчать – что не представляло труда – официальный миф (Было, однако, и умеренно правое крыло, которое составляли смещённые лидеры компартий Чехословакии и Германии, создававшие какую-то видимость своего согласия с новым курсом, а также подтверждавшие его новизну, ссылаясь на изменения в политической ситуации (ср. ссылки Смерал [V: 162] ср. дискуссию об этой знаковой модели: 318) Такое их поведение объяснялось тем, что эти лица обвинялись в высказывании правых взглядов в прошлом, соответственно, особое значение, придаваемое ими существованию сдвигов в политике Коминтерна было обусловлено необходимостью самооправдания [Ср. ссылки Крейбича (Чехословакия) – V: 389; Бордиги (Италия): 399-400 и Радека – V: 162]). Но уже тогда никто не осмелился бы открыто указать на символические приёмы, с помощью которых и был создан миф, только Клара Цеткин отметила вскользь эзегетические усилия Зиновьева [V: 335].

Б. Переход от 5-го к 6-му Конгрессу. В рассмотренном примере метод символической ассимиляции переопределением (переосмыслением) был применён к терминам, относящимся к политике Коминтерна. Теперь рассмотрим пример применения того же механизма к терминам, относящимся к политике организаций вне Коминтерна, но в таких её аспектах, от которых зависела политика Коминтерна.

Доминирующая фракция Коминтерна утверждала как на 5-ом, так и на 6-ом Конгрессе, что наступил «кризис капитализма».

На 5-ом Конгрессе термин «кризис» использовался как синоним «экономического упадка», поскольку в центре внимания находился экономический сектор. Был сделан прогноз дальнейшего развития такой ситуации для всего «капиталистического мира», допуская только частичную и временную стабилизацию.

На 6-ом Конгрессе оценка экономической ситуации Бухариным, имевшая такой же официальный характер, как и оценка Зиновьева в 1924 году от последней значительно отличалась. Термин «третий период» (развития послевоенного капитализма), ключевой термин оценки, относился к ситуации, о которой Бухарин прямо заявил: «...экономика Европы быстро растёт» [VI: 865]. А сам термин определялся им следующим образом: «с экономической точки зрения

второй период (послевоенного развития) можно рассматривать как период восстановления производительных сил капитализма.... За данным периодом следовала третья ступень, период строительства капитализма, выражавшаяся в количественном и качественном прогрессе по сравнению с предвоенным уровнем» [VI: 10]. В соответствии с общей оценкой Бухарина, далее в его докладе можно было бы упрекнуть в паникёрстве любого «буржуазного» экономиста, утверждавшего, что «близка опасность краха мировой кредитной системы» (здесь можно упомянуть, что после 6-го Конгресса сам термин «третий период» в некотором роде подвергался изучаемой нами символической манипуляции. Причина этого состоит в том, на 6-м Конгрессе «Стали и Бухарин (оба) приняли формулу «третьего периода», но давали ей два разных, взаимоисключающих толкования. У Бухарина это означало экспансию капитализма. У представителей левого крыла – приближение новой революционной эры [Боркенау: 336-337]) [ср. VI: 13].

Несмотря на эту резкую смену экономического прогноза 6-ой Конгресс сохранил ставшую к тому времени традиционной уверенность относительно «кризиса капитализма». Это стало возможным благодаря недеklarированному переосмыслению выражения «кризис капитализма», которое было спроецировано на 5-ый Конгресс.

То, что новое определение «кризиса» значительно отличалось от принятого ранее, становится ясным из риторического вопроса, который Бухарин адресовал аудитории: «Если всё это (экономическая стабилизация в середине 1920-х годов) соответствует действительности, что следует далее из вопроса об *общем кризисе мировой капиталистической системы?* Можем ли мы, если всё это правда, говорить, что они означают окончание кризиса капитализма?» [VI: 11-12]. Из результатов анализа содержимого отрицательного ответа Бухарина на этот вопрос становится ясно, что он скрыто *расширил* имплицитное определение употреблённого ключевого термина «кризис» с тем, чтобы имплицитное определение 5-го Конгресса просто соответствовало части новой дефиниции, т.е., говоря материально, а не формально, чтобы подвести одну особую «форму кризиса» под то, что до того момента понималось под «кризисом вообще»: «это верный ответ, *общий кризис капитализма продолжается*, даже интенсифицируется, хотя настоящая форма кризиса *иная*. В настоящее время старая форма кризиса сменилась новой – это всё. Не следует думать, что общий кризис капитализма есть разрушение капитализма в почти всех или большинстве стран. Ситуация обстоит иначе. Кризис капитализма в том, что *в структуре всей мировой экономики проходят радикальные перемены*, перемены, которые в огромной степени и с неизбежностью *усугубляют каждое противоречие капиталистической системы и которые в итоге приведут к его краху*. Давайте, напр., рассмотрим такой факт, как существование

СССР. Что это означает? Это выражение того факта, что кризис продолжается» [VI: 11-12].

Бухарин, как мы увидим, мог дать две разные формулировки. С одной стороны он мог сохранить предыдущее толкование кризиса и затем заявить, что кризис: 1) со временем утих; 2) достигнет невиданного до настоящего времени размаха в ближайшем будущем. Или же он мог переосмыслить значение слова и затем просто повторить текст старой формулы. Как мы увидели, большей частью был избран второй вариант, хотя присутствовала по меньшей мере простая ссылка на первый, когда Бухарин заявил, что кризис, хотя и не исчез, утих [VI: 12]. Это, кроме всего прочего, ещё и пример использования множества противоречащих друг другу тем в изучаемой нами идеологии.

2.2. Символическая ассимиляция модификацией выражения старой догмы. Модификация определения терминов догматических текстов даёт один эффективный способ изменения доктрины, модификация выражения этих текстов даёт второй.

А. Смещение акцентов. «Смещения акцентов» могут в свою очередь классифицироваться в соответствии с тем, могут ли они предполагать полное отсутствие ссылки на существование невыгодных новой политике текстов и / или её полное отрицание. В случаях, когда не наблюдается полное исключение ссылки, могут быть выделены различные субкатегории. Так, определённые тексты могут эмфатизироваться соответствующими модуляциями голоса декламирующего их человека, которые можно зафиксировать на письме курсивом. В письменных текстах, никогда не имевших устного звучания, курсив, конечно, может использоваться с той же функцией. Эта техника широко использовалась на 5-ом Конгрессе, при цитировании тезисов 4-го. Использовалась как сторонниками, так и противниками изменения политики со ссылкой на «рабочие правительства» и «единый фронт».

В настоящем исследовании мы не будем подробно рассматривать иные способы смещения эмфатизации с одного сектора существующей догмы на другой, недостаток которых состоит в умалчивании и / или отрицании существования «неблагоприятных» секторов. Подобные приёмы стали шире употребляться после 23 августа 1939 года, придав речи Сталина на 18 съезде КПСС 10 марта почти исключительную оригинальность. Тематика этой речи уже значительно отодвинулась от тем «общественной безопасности» и «антифашизма», развиваемых в 1934-1938 год, кратко представляла центральные символы тех лет и, по утверждениям, соответствовала политической линии времен заключения германско-советского пакта и последующего периода.

Возможность использования различных приёмов подобного рода предполагает присутствие в существующей догме антагонистических компонентов, т.е. утверждений отсылающих в разных направлениях и таким образом опровер-

гающих друг друга. «Диалектическая» структура базовой идеологии Коминтерна увеличивала возможность соответствия таким догматическим текстам, для которых во французском политическом словаре предусмотрено выражение «nègre blanc» (nègre blanc (франц.) – белый негр). Данная фраза также имеет значение намеренного формирования догматических текстов в обозначенной манере с тем, чтобы в последующем иметь возможность применить к ним рассмотренные символические методики. В задачи данной статьи не входит изучение, в какой степени исходная установка на это могла определять результат в рассмотренных случаях. То, что подобный замысел присутствовал, по крайней мере, в некоторых случаях – более чем вероятно. Возьмём, напр., резолюцию 7-го Конгресса в отношении ситуации на международной арене: «Если разразится новая империалистическая война, ... коммунисты приложат все усилия и возглавят борьбу её противников за трансформацию империалистической войны в гражданскую. Если начало войны заставит Советский Союз мобилизовать Красную Армию рабочих и крестьян, ... коммунисты призовут всех трудящихся всеми способами и любой ценой приближать победу Красной Армии...» [VII: 1184]. «Все способы» и «любая цена», по видимому, включают в себя и поддержку «собственной буржуазии» – если бы она согласилась сотрудничать с Советским Союзом – и «цену» за увеличение её (буржуазии – прим. пер.) шансов на победу. Противоречие между данными двумя предложениями ещё более усиливается тем, что ссылка на второе предложение заключена в первом: в опущенной части предыдущей цитаты упоминается, сообразным с целями гражданской войны считается контакт не только с «буржуазией», но и с «фашистскими разжигателями войны».

Б. Прямая фальсификация. Наиболее заметный пример приёма прямой фальсификации – цитаты Зиновьевым на 5-ом Конгрессе решению 4-го Конгресса по «рабочему правительству». Г.Е. Зиновьев цитировал тексты резолюций, принятых на 4-ом Конгрессе со скрытой целью подтвердить свои слова о том, что позиция, которую он отстаивал в 1924 году была идентичной занимаемой большинством в 1922, путём фальсификации и заведомо неверного цитирования.

© Лейтес Н., 2007

© Косарев М.И. (перевод), 2007

Yakobson S., Lasswell H.D.

**Перевод: Солопова О.А., Овсянникова И.А.
ПЕРВОМАЙСКИЕ ЛОЗУНГИ В СОВЕТСКОЙ
РОССИИ (1918-1943)**

Abstract

The present paper deals with May Day slogans in Soviet Russia (1918-1943). The authors of the article prove that slogans are a sort of manual which helps the public to interpret the policy of the Communist party. Being authoritative, sated with key political symbols and widely spread, slogans turn out to be one of the important means of modern political communication. The article

argues that changes in the policy of the Communist government cause essential changes in the content of slogans. Examples from the research illustrate this position. The authors give major factors explaining these transformations, defining eleven categories for classification of key symbols frequently used in May Day slogans.

(Авторы признательны
Джозефу М. Голдсену
за техническую поддержку)

Частью празднования Первого Мая для Коммунистической партии Советского Союза был выпуск лозунгов, которые представляют для общественности некое руководство по интерпретации политики партии. Лозунги авторитетны, насыщены ключевой политической символикой и широко распространены. Они являются связующим звеном между теоретиками партии, политиками-практиками и рядовыми членами партии, гражданами. Именно по этим причинам они представляют собой одно из важных средств современной политической коммуниции.

Наш анализ нацелен на содержательную часть лозунгов, их стиль с первого года появления после Революции. В фокусе внимания – ключевые символы. Особый интерес представляет для нас их функция – связь между тонкостью теоретической доктрины, «языком действия» политиков-практиков и ежедневной речью обычного гражданина.

Лозунги – давняя традиция российского революционного движения, которое завершилось взятием власти в 1917 году. Еще в 1894 году в качестве лозунга теории и практики российских социалистов в борьбе против «классового врага» Ленин принял памятные слова Карла Либкнехта «Учиться, пропагандировать, организовывать» (*Studieren, propagandieren, organisieren*).

Празднование Первомая, выбранное нами для анализа, также имеет долгую революционную историю. На Конгрессе Второго Интернационала, который проводился в Париже в июле 1889 года, было принято решение об организации рабочими 1 мая в городах мира международных демонстраций. Помимо бельгийских представителей против нововведения проголосовал российский социал-демократ Плеханов. Он полагал, что политические условия царской России не предвещают ничего хорошего для воплощения в жизнь и успеха данного предприятия. Однако с начала 90-х годов прошлого столетия в России празднование Первого Мая было отмечено забастовками и демонстрациями. До 1895 года первомайские лозунги в России носили экономический характер, позже в них были включены определенные политические требования. Первомай стал днем борьбы «против капитализма и царизма», российский пролетариат требовал экономической и политической свободы. «Требование восьмичасового рабочего дня», – писал Ленин в 1900 году, – «имеет особую значимость: оно является декларацией солидарности с международным Социалистическим движением. Мы должны проследить, чтобы

рабочие осознали эту разницу: они не должны понимать требование восьмичасового рабочего дня на уровне требований на бесплатный проезд в поездах или увольнения диспетчера».

Во время Первой мировой войны накануне российской Революции первомайские лозунги большевиков призывали российских рабочих к революционным действиям. Они убеждали российский пролетариат устраивать забастовки, стачки и демонстрации и, прежде всего, претворять в жизнь лозунг Ленина о превращении империалистической войны в гражданскую. Среди самых расхожих требований значились ликвидация абсолютной монархии, учреждение в России демократической республики, восьмичасовой рабочий день, отмена частной собственности и немедленное прекращение военных действий.

После того как коммунисты пришли к власти, в апреле 1918 года Центральным Комитетом партии были выпущены первомайские лозунги, подписанные председателем комитета Я. Свердловым и адресованные всем местным комитетам партии и коммунистическим партийным ячейкам в Советах. Список был удивительно короток. Большинство лозунгов имело обобщенный характер и было заимствовано со времен, предшествовавших победе.

Бросалась в глаза попытка защитить молодую советскую Республику и социалистическую идею от врагов в России и за рубежом. Как и прежде, лозунги были адресованы российским рабочим и крестьянам – слово «пролетариат» упоминалось лишь дважды. С другой стороны, особо подчеркивалась солидарность между различными группами «пролетариев» в России – городскими рабочими, тружениками села и казаками. Цель исследования первомайских символов и лозунгов (с 1918 и далее) состоит в том, чтобы отметить относительные тенденции в повторении и изменении первоначального списка лозунгов. Вначале огромное значение придавалось «революционным» символам. Были ли они столь же явными в более поздние годы? Вначале символы были «универсальными». После небольшого перерыва лозунги вещали от имени всего мира, не только от имени России. Повысилась ли со временем частотность «национальных» символов в лозунгах? Стало ли в них уделяться большее внимание «внутренней» политике, чем «внешней»? Ряд вопросов связан с вокабуляром традиционного «либерализма» и «этики». Сначала чувствовалась тенденция восстановить «сентиментальные» условия «буржуазной» революции. Хотелось бы знать, до какой степени коммунисты придерживались этой первоначальной политики. Социалистические теории возвеличивали «материальные» или «объективные» факторы в социальном развитии, ставили их над «личными». Что говорят лозунги об «удельном весе» указанных факторов в обращениях к большой аудитории? Также существенен вопрос о том, каким образом в обществе идентифицированы группы. Когда ус-

тановлен новый порядок, уменьшается ли частотность «классовых» наименований относительно менее распространенных социальных групп? Чтобы ответить на эти вопросы, мы используем одиннадцать категорий для классификации ключевых символов:

I. Революционные символы – ключевые термины в заявлениях, одобряющих или предвещающих революцию. Они включают: Революционер, Интернационалист, Социализм, социалист, Всемирная революция, Всемирный октябрь и т.д., Коммунизм, коммуна, большевик и т.д., Революционный объединенный фронт, Октябрьская революция, Красный, Пролетарии, Классовый, бесклассовый, Рабочие, трудящиеся массы, Диктатура пролетариата, Товарищи, Советский, Советы, Советская власть, Коммунистическая партия, коммунистическая молодежь, пионеры, Центральный Комитет.

II. Антиреволюционные термины определяют врагов революции или непосредственно подразумевают существование врагов: Фашизм, фашизм, Капитал, капитализм, капиталист, Диктатура, Империализм, империалист, Империалистический объединенный фронт, Контрреволюция, Антисоветский, Защита, Иностранная агрессия, Социал-демократы, меньшевики, социал-фашисты, социал-империалисты, Буржуазия, нэпмены, спекулянты и т.д., Второй Интернационал, Буржуазная демократия, Реакция, Милитаризм, Духовенство, попы, ксендзы, равнины, Римский папа, Бог, Церковь, Феодализм, Пацифисты, Богатые, Агрессия против СССР, Интервенция, Кулаки, Саботажники, Помещики, Либералы, Генералы, Гражданская война

III. Список национальных символов составлен из слов, описывающих СССР, скорее как «национальное» сообщество, нежели как государство с отдельными доктринами и институтами. Большинство этих символов используется как «буржуазными», так и «социалистическими» силами. Некоторые из терминов употребляются в утверждениях-самовосхвалениях: Родина, Наша земля, Патриотизм, Защита, Сопrotивление СССР иностранной агрессии, Безопасность, Враг, Агрессия, Интервенция, Окружение СССР, Нападение на СССР, Советские границы, Мир, мирная политика, Легкая, преуспевающая жизнь в СССР, Радость, жизнерадостность, Осторожность.

IV. Универсальные символы встречаются в требованиях о революции в мировом масштабе и в заявлениях, адресованных миру в целом. Некоторые из значимых символов также встречаются в списке «революционных» символов: Международный, Интернационализм, Все страны, вся вселенная, все нации, человечество, земной шар, Всемирная революция, всемирный переворот, всемирный октябрь и т.д., Коммунистический интернационал

V. Символы внутренней политики используются в заявлениях о действиях внутри СССР, а также в лозунгах, которые затрагивают внутренние проблемы. Список зависит от текущих проблем в определенный период времени, и на первый взгляд кажется весьма разнородным: Коммунальный, Культура, культурный, План, планирование, пятилетний план и т.д., Техника, Производство, производительность, Рабочая сила, Колхозы, коллективные хозяйства и т.д., Государственные хозяйства, Фабрики, угольные шахты, электростанции, Индустриальная нация, Самокритика, Бюрократия, бюрократизм, Промышленность и различные отрасли промышленности, Транс-

порт, Правительство, Сельское хозяйство, Торговля, Конституция, Кооперативы, Правительственные учреждения, Законы, декреты, Коллективизация, Стахановцы, Безработица, Материальный, Соревнование, 1 мая, Внутренний враг, Профсоюзы, Частный, Государственный, Общество, Люди, Прогрессивный, Фронт, Тыл

VI. Символы внешней политики зафиксированы в заявлениях, в которых описываются или одобряются официальные действия СССР в отношении иностранных держав. В нем дублируется большинство терминов списка «национальных» символов. Кроме того, добавляются названия всех стран и регионов, которые фигурируют в лозунгах внешней политики.

VII. Символы социальных групп – термины-идентификаторы, используемые в обращении к социальным формированиям в России и других странах: Беднота, Пролетариат, пролетарии, Рабочие, работницы, Крестьяне (кроме кулаков), деревни, Красная Армия, красный флот, красноармеец; а также различные военные специализации, напр., артиллеристы, танкисты, воздушные силы и т.д., Коммунистическая партия, коммунистическая молодежь, пионеры, ВКП(б), Центральный комитет, Рабочие профессии, напр., шахтеры, металлурги и т.д., Колхозники т.д., Единоличники, Интеллигенция, советские специалисты, ученые, техники, преподаватели и т.д., Народы СССР, национальная политика, национальные меньшинства, Разное (дети, студенты, члены спортивных организаций, гражданские летчики и т.д.), Беспартийные, Элита, знатные люди, Молодежь, Стахановцы, Чекисты, Работодатели, Партизаны, Духовенство, священники, равнины, Богатые, Церковь, Кулаки, Помещики, Либералы, Социал-демократы, меньшевики, социал-фашисты, социал-империалисты, Буржуазия, нэпмены, спекулянты и т.д., Генералы, Профсоюзы, Женщины.

VIII. Список персоналий содержит имена тех, кто отдельно упоминается в лозунгах проанализированного периода: Ленин, ленинизм, Маркс, марксизм, Энгельс, Либкнехт, Люксембург, Сталин, Колчак, Деникин, Зиновьев, Троцкий, Гитлер, Бухарин, Пуанкаре, Тельман, Урицкий, Чан Кай-ши, Шаумян, Джапаридзе, Аризбегор, Багинский, Вечоркевич.

IX. Либеральные символы прошлых времен зафиксированы в предпролетарской идеологии свободы: Сыны, Братья, братство, сестры, Свобода, свободный, Гражданин, Патриотизм, Идеал, Честь, Лояльность, Честность, Героический, герои, Индивидуум, Ответственность, Демократия, демократичный, Прогрессивный, Обязанность, Мораль, Люди, Правосудие, Кровь, Смерть, Пацифизм, Самоопределение.

X. Список символов морали соответствует предыдущему за исключением словоупотреблений с явным политическим оттенком, к примеру, «гражданин» или «прогрессивный». Использование символов морали в различного рода доктринах более частотно по сравнению с «либеральными символами прошлых времен» и, следовательно, менее характерно для коммунистических лозунгов: Солидарность, Дисциплина, Героический, герои, Честь, Оппортунизм, Лояльность, Честность, Модель, образцовый, Радость, жизнерадостность, Ответственность, Несовместимость, Осторожность, Обязанность, Мораль, Правосудие.

XI. Символы действия – глаголы и выражения, используемые в заявлениях, требующих участия аудитории: Победа, победный, Успех, Да здравствует...! Долой...!

Для дальнейшего изучения коммунистических лозунгов мы отобрали определенные стилистические категории. Лозунг – «синоптическое заявление, представленное публике в качестве руководства» [Harold 1939: 107], а стиль – способ, с помощью которого организованы составляющие его части.

Некоторые лозунги адресованы определенным группам. Именно это, по-видимому, усиливает воздействие на аудиторию («адресация», «обращение»). Другое средство «интенсивности», «усиления воздействия на аудиторию» – использование «обвинения» или «одобрения» вместо «утверждения как факта». Наконец, мы отметили употребление символов, которые относятся к говорящему, в данном случае к коммунистической партии («самоидентификация»). Итак, выделено шесть категорий:

- I. Описание: «1 Мая – праздник трудящихся»
- II. Одобрение: «Да здравствует коммунистическая партия России»
- III. Обвинение: «Долой армии империализма»
- IV. Призыв: «Внимательно следите за заговорами наших врагов»
- V. Адресация: «Рабочие, крестьяне, красноармейцы...»
- VI. Самоидентификация:

«...Коммунистическая партия России – партия рабочего класса, партия Ленина»

Рассматривая результаты в целом, мы видим, что определенные символы особенно выделяются на фоне остальных. Зафиксировано заметное уменьшение «универсально-революционных» символов (см. рис. 15): более чем 12% в 1919 году – менее чем 1% в 1943 году. В то же самое время тенденция к употреблению «национальных» символов усилилась: менее чем 1% в 1920 году – более чем 7% в 1940 и 1942 годах (отношение выражено как частотность использования определенных символов от общего числа зафиксированных словоупотреблений).

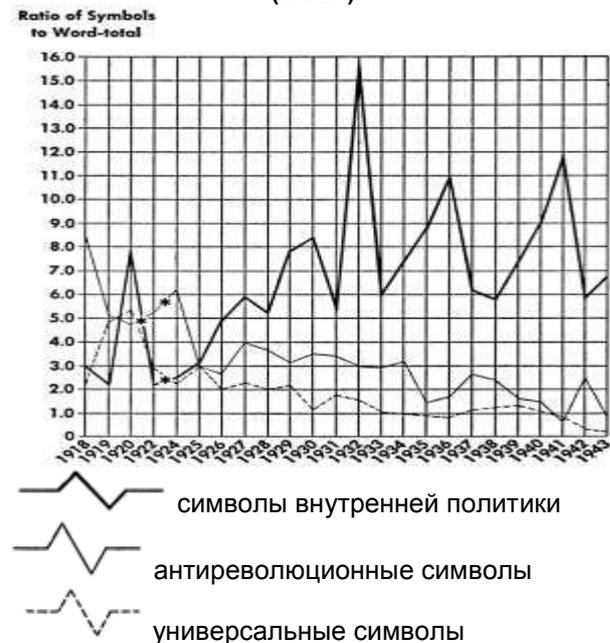
Рис. 15. «Национальные» и «универсально-революционные» символы в первомайских лозунгах коммунистической партии (СССР)



* в 1921 и 1923 годах лозунги не выпускались
Еще одним подтверждением указанных тенденций является «поведение» символов «внутрен-

ней политики» (см. рис. 16). Несмотря на явные взлеты и падения, данные графика показывают, что в течение всего периода (1918-1943) наблюдается тенденция к увеличению их частотности. Все меньше внимания в лозунгах уделяется ссылкам на врагов революции («антиреволюционные» символы).

Рис. 16. Символы «внутренней политики», «антиреволюционные» и «универсальные» символы в первомайских лозунгах коммунистической партии (СССР)



* в 1921 и 1923 годах лозунги не выпускались

Некоторые группы символов не имеют высокой частотности достаточной для того, чтобы составить точные кривые в течение всего анализируемого периода. Однако в случае «либеральных символов прошлых лет» с низкой частотностью употребления в лозунгах 1924 года зафиксировано небольшое, но устойчивое увеличение словоупотреблений данной группы в более поздний период (см. табл. 1). Та же тенденция характерна для «моральных» символов, хотя и менее отчетлива (некоторые категории остаются на одном и том же уровне: «люди», «группы»), «активный»).

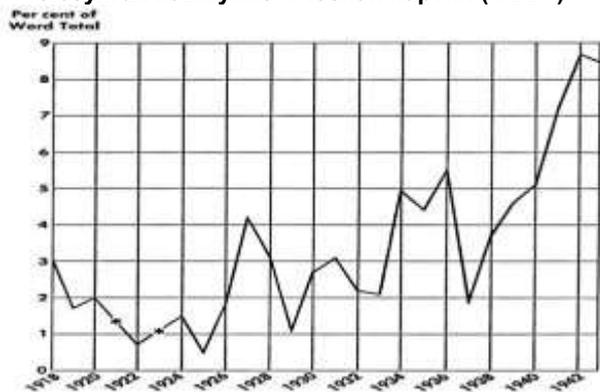
Таблица 1. Частотность символов

Год	Группы символов											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Всего
1918	8	9	3	2	3	4	12	0	2	2	6	51
1919	22	12	3	11	5	5	34	6	2	1	9	110
1920	7	7	1	8	12	2	9	2	3	1	3	55
1922	16	15	1	8	6	10	29	7	5	0	18	115
1924	22	17	4	6	7	21	43	3	0	0	19	142
1925	39	18	5	18	19	24	76	5	6	2	32	244
1926	43	12	4	9	22	19	62	6	4	2	18	201
1927	45	19	11	11	28	32	43	5	3	2	25	224
1928	38	24	11	13	34	21	74	4	5	2	19	245
1929	79	32	7	22	80	17	112	11	2	4	36	402
1930	81	39	7	12	93	17	117	10	9	8	39	432
1931	65	24	7	12	38	15	63	9	8	7	28	274
1932	69	24	8	12	122	20	64	13	7	6	32	377
1933	90	38	17	13	77	23	104	12	11	17	50	452
1934	60	27	25	8	63	29	102	10	11	10	44	391

1935	93	19	25	11	119	17	161	24	19	21	46	555
1936	79	21	45	9	135	29	159	10	20	21	50	578
1937	53	15	17	6	35	19	53	9	16	8	32	263
1938	53	18	23	9	44	20	82	17	21	10	41	338
1939	37	10	23	8	46	15	62	12	16	5	43	277
1940	38	8	27	6	52	14	84	10	11	6	38	294
1941	36	4	22	5	78	6	83	10	8	6	43	301
1942	35	24	52	3	55	81	120	11	30	8	44	493
1943	34	22	49	2	84	81	133	13	16	11	48	493

Явно повысилась частотность такой стилистической категории как символы адресации (см. рис. 17): менее 1% в 1925, более чем 8% в более поздние годы.

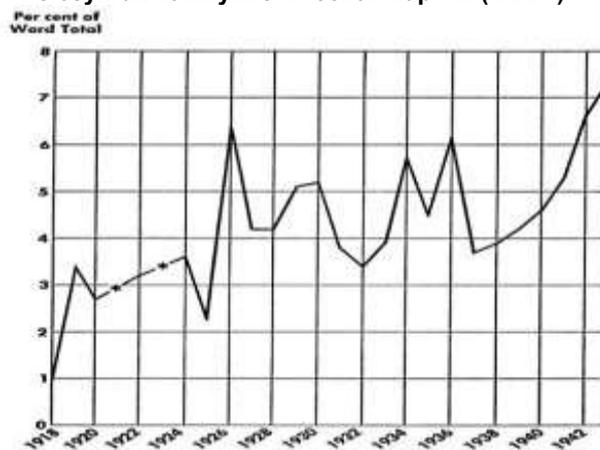
Рис. 17. Символы «адресации» в первомайских лозунгах коммунистической партии (СССР)



* в 1921 и 1923 годах лозунги не выпускались

Аналогично ведут себя символы-замечания: в лозунгах 1918 года они составляют лишь 1% от общего числа и достигают приблизительно 7% в 1942 и 1943 годах (см. рис. 18).

Рис. 18. Символы «замечания» в первомайских лозунгах коммунистической партии (СССР)



* в 1921 и 1923 годах лозунги не выпускались

Тенденции, касающиеся символов «одобрения», изменчивы и не слишком очевидны. Однако в 1937-1940 их частотность достигала 5-6% (см. табл. 2).

Таблица 2

A.	Ожидание (Описание)
B.	Одобрение
C.	Обвинение
D.	Замечание
E.	Адресация
F.	Самоидентификация
	A B C D E F

1918	6.0 %	4.0 %	3.0 %	1.0 %	2.0 %	3.0 %
1919	9.4	2.6	.9	3.4	1.7	1.7
1920	12.7	.7	0	2.7	3.3	2.0
1922	4.2	3.9	1.8	3.2	2.1	.7
1924	2.6	5.5	1.5	3.6	2.6	1.5
1925	1.5	3.6	1.5	2.3	2.5	.5
1926	3.8	3.3	1.8	6.4	4.7	1.8
1927	4.8	2.9	1.2	4.2	1.2	4.2
1928	4.0	1.5	.5	4.2	1.4	3.1
1929	3.3	2.1	.2	5.1	1.1	1.1
1930	2.0	2.7	1.2	5.2	1.1	2.7
1931	1.1	4.3	.9	3.8	.7	3.1
1932	2.1	2.1	.8	3.4	1.2	2.2
1933	1.9	2.7	.6	3.9	.2	2.1
1934	1.7	3.4	.5	5.7	.3	4.9
1935	1.1	4.3	.2	4.5	.4	4.4
1936	1.2	3.8	.2	6.1	.2	5.5
1937	1.1	5.7	.4	3.7	.7	1.9
1938	1.4	4.8	.1	3.9	.4	3.7
1939	.8	5.9	0	4.2	.3	4.5
1940	.4	5.5	0	4.6	.7	5.1
1941	.6	4.3	0	5.3	.6	7.1
1942	.9	2.6	.5	6.6	.2	8.6
1943	.6	2.2	.4	7.3	.1	8.5

Частотность символов «обвинения» снижается с 1918 года – наивысший пик активности – 3%. Аналогичная тенденция прослеживается при анализе символов «ожидания» (пик активности – более чем 12% в 1920 году). Частотность терминов «самоидентификации» достигает высшей точки – приблизительно 5% – в 1926 году, затем идет на убыль. Специальный анализ употребления выражений «коммунистическая партия (Советского Союза)» и «Советская власть» показывает, что после 1926 года явно уменьшается частотность упоминаний о «коммунистической партии» и увеличивается процент использования сочетания «Советская власть».

Что говорят нам полученные результаты в целом? В общем, наблюдается «сужение» от образца «мировой революции» к «национализму». Мы называем данную модификацию «ограничение изнутри» начальной системы символов, от имени которой революционная элита захватила власть. Также наблюдается тенденция к «возрождению» прежних символов, связанных с предыдущими политическими системами.

Каковы основные факторы, объясняющие данные трансформации? Несомненно, значимый фактор – модифицированные ожидания относительно свершения мировой революции, и как результат – изменение отношения руководящей элиты к равновесию сил в мировом сообществе. Пока теплилась надежда на победу мировой революции, российское правительство могло надеяться защитить себя, обращаясь непосредственно к народам, минуя глав правительств. После того как перспектива мировой революции начала отдаляться, удержание власти стало зависеть от сотрудничества с правительствами одних держав против правительств других государств, что и является характерным признаком равновесия сил в мировой политике.

Очевидно, что для установления сотрудничества с иностранной элитой следует заретушировать идеологические различия. В то же самое время солидарность внутри страны можно упрочить, акцентируя «территориально отличительные» символы, связанные с государством, страной, нацией, экономическими достижениями, историей.

Не следует полагать, что реорганизации, о которых говорилось выше, шли по «прямой». На самом деле «зигзаг» политического развития печально известен и вновь подтвержден данными о «взлетах» и «падениях» частотности символов, зафиксированных в коммунистических лозунгах.

Чтобы детально описать эти краткосрочные изменения, целесообразно исследовать следующие значимые подпериоды:

I.	1918-1920	Революция, интервенция, гражданская война
II.	1921-1925	Реконструкция
III.	1926-1929	Индустриализация
IV.	1930-1934	Коллективизация сельского хозяйства
V.	1935-1938	«Победивший социализм», новая конституция
VI.	1939-1943	Репрессии и война

Уже во втором периоде наблюдаются существенные изменения в порядке следования предпочтительных категорий (см. табл. 3). Частотность «национальных» символов возрастает на один пункт по предложенной шкале предпочтений. Использование «универсальных» и «антиреволюционных» символов снижается. Необходимость символов «внешней политики» такова, что их частотность повышается. В течение третьего периода (1926-1929) символы «внутренней политики» занимают третье место, «национальные» символы поднимаются еще на одну ступень. В течение 1930-1934 годов картина практически не меняется. В 1935-1938 годах увеличивается частотность «национальных символов» и «либеральных символов прежних эпох». Именно в течение последнего периода – периода неуверенности и кризиса – наблюдается наибольшая степень «озабоченности» проблемами внутри страны: символы «внутренней политики» и «национальные» символы преобладают над «революционными» и символами «внешней политики». Данные статистического анализа показывают, что первые четыре периода имеют много общего, тогда как IV и V периоды обнаруживают достаточно существенные различия.

Таблица 3

(1) 1918-1920	(2) 1921-1925
1. Символы социальных групп	1. Символы социальных групп
2.5. Революционные символы	2. Революционные символы
2.5. Антиреволюционные символы	3. Символы действия
4. Символы внутренней политики	4. Символы внешней политики
5. Символы действия	5. Антиреволюционные

	символы
6. Универсальные символы	6. Символы внутренней политики
7. Символы внешней политики	7. Универсальные символы
8.5. Персоналии	8. Персоналии
8.5. Либеральные символы прежних эпох	9.5. Национальные символы
10. Национальные символы	9.5. Либеральные символы прежних эпох
11. Символы морали	11. Символы морали
(3) 1926-1929	(4) 1930-1934
1. Символы социальных групп	1. Символы социальных групп
2. Революционные символы	2.5. Революционные символы
3. Символы внутренней политики	2.5. Символы внутренней политики
4. Символы внешней политики	4. Символы действия
5. Символы действия	5. Антиреволюционные символы
6. Антиреволюционные символы	6. Символы внешней политики
7. Универсальные символы	7. Универсальные символы
8. Национальные символы	8. Персоналии
9. Персоналии	9. Национальные символы
10. Либеральные символы прежних эпох	10. Либеральные символы прежних эпох
11. Символы морали	11. Символы морали
(5) 1935-1938	(6) 1939-1943
1. Символы социальных групп	1. Символы социальных групп
2. Революционные символы	2. Символы внутренней политики
3. Символы внутренней политики	3. Символы действия
4. Символы действия	4. Национальные символы
5. Национальные символы	5. Революционные символы
6. Символы внешней политики	6. Символы внешней политики
7. Либеральные символы прежних эпох	7. Либеральные символы прежних эпох
8. Антиреволюционные символы	8. Персоналии
9. Персоналии	9. Антиреволюционные символы
10. Символы морали	10. Символы морали
11. Универсальные символы	11. Универсальные символы

Следующая таблица иллюстрирует определенные корреляции в порядке следования предпочтительных категорий для пары последовательных периодов:

Периоды I и II	.88
Периоды II и III	.92
Периоды III и IV	.96
Периоды IV и V	.76
Периоды V и VI	.94

Для первых четырех периодов, как было отмечено выше, характерна высокая степень взаимозаменяемости.

Таблица 4. Корреляции в порядке следования символьных категорий между периодами

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(1)	X					
(2)	.88	X				
(3)	.86	.92	X			
(4)	.93	.92	.96	X		
(5)	.60	.70	.80	.76	X	
(6)	.45	.55	.68	.66	.94	X

Следует отметить, что V период имеет больше общих черт с первыми четырьмя периодами, чем VI (корреляции V периода с предшествовавшими ему временными промежутками более высоки). Указанные корреляции являются значимыми, поскольку временной «разрыв» между периодами небольшой. Данное соотношение отражает базовые преобразования, характерные для всей системы символов.

Остановимся более подробно на графиках и таблицах, иллюстрирующих стилистические изменения первомайских лозунгов (см. рис. 17, рис. 18, табл. 2). Существенны следующие наблюдения. Создается впечатление, что лозунги напрямую обращаются лишь к ограниченному числу социальных групп: вначале руководящая элита России опасалась явной и тайной оппозиции многих элементов в обществе. Следовательно, требовалось ограниченное число «главных» социальных символов, хотя аудитория была в курсе о «постоянном пополнении» класса. В лозунгах более поздних лет напрямую признается существование иных групп в российской жизни, где на смену классовым различиям приходит дифференциация по роду деятельности. (Это совсем не означает, что «классы» были упразднены, если понимать этот термин как главенствующие группы населения, исходя из базовых социальных ценностей, таких как власть, доход или уважение. Но этот факт является признанием возможности того, что на формирование отношений в политике может значительно больше влиять принадлежность к определенной профессии, чем к классу. Следовательно, «профессиональный» анализ становится важнее категорий «классового» анализа. Более подробное обсуждение этих различий представлено в книге, посвященной основным политическим категориям (см. Harold D. Lasswell and Abraham Kaplan, *Power and Society*).

Анализ символов «замечания» наталкивает на два интересных объяснения. Следует ли понимать частотность определенных символов как реакцию на всевозрастающую апатию? Существует ли вероятность того, что подобные обращения заменяют собой безапелляционные способы адресации? На эти вопросы нельзя дать однозначного ответа, хотя частотность символов «действия», свойственная некоторым временным промежуткам, действительно указывает на гипотезу замены.

Частотность символов «обвинения» возрастает в момент опасности. Низкая насыщенность указанными символами наталкивает на мысль о том, что проблемы России продвинулись от негативного полюса к позитивному. Поскольку возможности эффективных действий преумножились, отрицательные символы являются ме-

нее востребованными.

Символы «одобрения», как известно, характерны для чрезвычайных моментов критической активности (как в 1941 году), их число не увеличивается. Низкая частотность использования символов «одобрения» очевидно связана с ожиданием опасности (напр., 1920, 1928, 1932 годах). 1920 год – период ощутимой угрозы для революционного режима. 1928 – жесткой фракционной борьбы. 1932 – внутренних трудностей, связанных с планом первой пятилетки.

Символы «ожидания» и «самоидентификации» ведут себя аналогичным образом. Когда существует потребность заявить о «себе», как в ранние годы, частотны символы «самоидентификации». «Утверждения как факт» («ожидания») связаны с новыми ситуациями, требующими объяснения. Анализ больших временных промежутков предполагает лучшее знание контекста и может считаться более достоверным.

Представив предварительный обзор истории лозунгов за двадцатипятилетний период (с 1918 до 1943 год), целесообразно подробнее остановиться на деталях. 1920 – год победы над белым контрреволюционным движением. После победы Красной Армии над генералом Деникиным и адмиралом Колчаком советское государство – временно уменьшенное до размеров средневекового Московского княжества – постепенно воссоединило потерянную территорию, вновь завоевав ее. В первомайских лозунгах отразился праздничный характер этого события. Несмотря на то, что борьба с голодом и другими лишениями все еще вызывала сильную тревогу правительства, в лозунгах преобладали новая надежда и вера. Лозунги в большинстве своем были краткими и носили обобщенный характер. Некоторые из них сочетали в себе оценку политики и отношений капиталистического мира и мира пролетарского. В целом, лозунги были посвящены вопросам внутренней политики, «внешний мир» упоминается лишь дважды в связи с западным фронтом против Польши. Нововведением были лозунги, посвященные локомотивам, отремонтированным к Первому Маю. Самый первый лозунг подобного плана относится к периоду реконструкции и идолопоклонства машинам.

1921-1925 годы – период реконструкции. Лозунги 1922 года разительно отличались от лозунгов предыдущих лет. (Это единственные лозунги, подписанные лично Сталиным, Секретарем Центрального Комитета Партии).

Вопросы внутренней политики отошли на второй план. Почти половина лозунгов посвящена иностранным проблемам. Страна победившего социализма проявляет активный интерес к революционной борьбе европейского пролетариата, главным образом соседних стран: Германии Венгрии, Грузии, Азербайджана (последние два государства все еще сохраняли независимость), Финляндии, Латвии и Эстонии (отделившейся от России после Октябрьской революции). В союзе с международным проле-

тариатом лозунги объявляют войну капиталистической и империалистической агрессии, буржуазной демократии и социал-демократам. Впервые в лозунгах воспеваются коммунистический интернационал, мировая революция пролетариата и Красная Армия в качестве армии социализма, а также – насколько можно заключить, анализируя тексты лозунгов – война рабочего класса против мирового капитализма. От имени Красной Армии торжественно обещается постоянная поддержка и забота всем российским гражданам. Вместе с тем, объявляются неприкосновенными суверенитет и границы советских Республик. На передовых позициях внутренней политики – союз рабочих и крестьян, а также братство советских Республик, которое должно быть в силе до полной победы рабочего класса. Впервые в лозунгах упоминается и прославляется коммунистическая молодежь, рабочая молодежь советской России. Существенны нападки на «реакционных» священнослужителей за сокрытие церковных ценностей от конфискации; партия заявляет, что будет использовать их в борьбе с голодом. Лозунги 1924 года были подписаны Андреевым, новым Секретарем Центрального комитета Партии. Внимание шествующего на первомайском параде советского народа вновь сфокусировано на различных аспектах борьбы международного пролетариата. СССР теперь открыто объявляется крепостью международной пролетарской революции. Однако существовало одно разительное отличие от лозунгов 1922 года. Спектр внимания Москвы к революционной борьбе за границей был расширен. Провозглашалась борьба французского пролетариата против Пуанкаре, а также борьба пролетариев Польши, страны, которая настаивала на мире в Восточной Европе. Румынам предписывалось сдать Бессарабию. Поздравления распространялись на украинских и белорусских крестьян, борющихся с польскими землевладельцами. Прославлялись жертвы международного капитализма, а также поработанные народы вообще; провозглашалась борьба рабочих против капитализма. Лозунги призывали выполнить один из заветов Ленина – расширение коммунистического интернационала.

В лозунгах 1924 впервые используется слово «фашизм», партия рекомендует мировому пролетариату бороться с фашизмом вкупе с социал-демократами, которые объявляются приспешниками международного фашизма. Таким образом, социал-демократы Болгарии обвиняются в помощи болгарским фашистам в уничтожении революционеров, а немецких социал-демократов призывают к ответу за «маскировку» диктаторского режима генералов Германии, т.е. 1 мая 1924 года советский рабочий класс убеждают помнить о рабочих Саксонии и Гамбурга, отдавших жизнь в борьбе против реакции, а также о других узников капитализма и социал-демократов в Германии, Венгрии, Польше, Латвии и Румынии.

Таким образом, в 1924 и в последующие годы наиболее острым нападкам коммунистов подвергались конкуренты коммунизма в политическом лидерстве на мировой арене – ортодоксальные Марксистские социал-демократы, а также общепризнанные противники рабочего класса – капиталисты.

Интернациональный характер празднования Первомая в 1924 году был подчеркнут попыткой Москвы воплотить в жизнь (в первый и единственный раз) идею о международном совете крестьянин наряду с международным союзом рабочих и крестьян. Немногочисленные лозунги, касающиеся внутренней политики, главным образом призывали защитить Советский Союз от надвигающейся угрозы нападения извне. Остальные прославляли Коммунистическую партию, диктатуру пролетариата, рабочую молодежь и советских женщин. Как и в 1922 в период реконструкции огромное влияние уделялось борьбе против неграмотности.

В 1925 году первомайские лозунги вновь были подписаны Андреевым, но на этот раз они касались вопросов как внутренней, так и внешней политики, т.е., с одной стороны, в них в качестве основной задачи провозглашалась пропаганда идеи коммунизма среди советских крестьян, а с другой стороны, они выражали солидарность (пока, правда, только моральную) с революционно настроенным всемирным пролетариатом.

В 1925 году 1 мая было также объявлено днем солидарности трудящихся всех стран, а также датой начала более тесного сотрудничества рабочих и крестьян. Однако, ведущая роль в этом сотрудничестве отводилась рабочим, которые считались залогом победы Коммунизма.

В течение 1925 года первомайские лозунги окончательно приобрели милитарный характер. Международный пролетариат назывался всемирной «армией» рабочих. Был создан единый «фронт» мирового пролетариата против капитализма. Советский Союз был объявлен «авангардом» мирового коммунизма. Международная коммунистическая партия называлась «штабом», организующим «передовые войска» мирового пролетариата. Также была и другая лексика военной тематики.

Первомайские лозунги 1925 года выражали заинтересованность советского правительства в победе мировой революции, на которую Москва в то время возлагала большие надежды. В некоторых лозунгах говорится о всемирном Коммунизме. Всемирная революция теперь открыто упоминается во вступительной части. В одном из лозунгов провозглашается необходимость создания всемирного профсоюзного движения. Российская коммунистическая партия заявляет о своей солидарности не только с рабочими Польши, Эстонии, Латвии, а также Англии, теперь она не ограничивается поддержкой рабочих только в европейских государствах, но берет на себя роль организатора и лидера все-

мирного революционного движения. Теперь Москва заинтересована в сотрудничестве европейского и американского пролетариата с покоренными народами Востока. Она заявляет о том, что всемирный пролетариат должен защищать такие государства, как Китай, Египет, Персию, Турцию от эксплуатации со стороны империалистических стран. Класс советских рабочих предлагает свою братскую помощь миллионам «рабов» из Азии и Африки. В то же время, противник и враг пролетариата – буржуазия – теперь также рассматривается в международном масштабе. К ней относятся сторонники всемирного империализма, мирового капитала и международных обменных процессов. Однако, все лозунги, касающиеся солидарности мирового пролетариата по-прежнему не имеют ярко выраженных специфических черт. В них лишь говорится о братских чувствах, рассылаются приветствия, и протягивается рука помощи рабочим из других стран. В одном из таких лозунгов упоминаются имена двух польских коммунистов, ставших жертвами белого террора.

В то же время, первомайские лозунги 1925 года, касающиеся внутренней политики, напротив, определены и точны. В качестве лейтмотива в них выступает одобряемое большинство советских людей усиление сотрудничества между заводскими рабочими и крестьянами. Советское правительство старается добиться поддержки со стороны крестьянства, которой ему так не хватает, всеми возможными способами – понижением розничных цен, предоставлением кредитов, улучшением технологий обработки земли, а также снабжением деревни улучшенными образцами сельскохозяйственной техники, освобождением крестьян от налогов, предоставлением помощи квалифицированных агрономов и повышением эффективности работы сельских Советов путем устранения в них волокиты и коррупции. Следующим шагом на пути к более тесному сотрудничеству рабочих и крестьян и, в конечном счете, к победе Социализма, провозглашается усиление рабоче-крестьянского движения.

Вслед за предложением объединить город и деревню, первомайские лозунги 1925 года провозглашали в качестве первоочередной задачи, стоящей перед советским правительством, необходимость усиления оборонного комплекса Советского Союза, который в то время был единственным пролетарским государством в мире. И, как и прежде, женщины и молодежь рассматривались в этих лозунгах как наиболее важные участники антикапиталистического фронта.

Первомайские лозунги 1926 года были подписаны новым секретарем Центрального Комитета Партии Косиором. В этом году празднование Первого Мая выпало на канун Пасхи. Знаменательным является тот факт, что всем партийным организациям поступил из Москвы строгий приказ прекратить или, по крайней мере, ослабить антирелигиозную пропаганду в этот

день. Это свидетельствует о том, что даже в атеистической Советской России по-прежнему были сильны религиозные чувства. По мнению Москвы, в тот день было крайне важно избежать каких бы то ни было антирелигиозных выступлений, особенно в сельской местности, где они «могли привести к вспышке религиозного фанатизма среди верующих». Битва за умы российских крестьян продолжалась.

В целом, первомайские лозунги 1926 года практически не отличались от лозунгов 1925 года, хотя их словарный состав не был таким обширным. Лозунги, касающиеся Коминтерна, в этот раз оказались на втором месте по численности. Обличающий характер лозунгов напрямую свидетельствовал о позиции Москвы в вопросах международной политики. Российская Коммунистическая Партия выступала против нарастающего капитализма, против новых войн (но в то же время против буржуазного и социалистического псевдопацифизма), против Лиги Наций, против Локарно и против интервенции в Китае, Марокко и Сирии. Российская Коммунистическая Партия обещала помочь рабочим Китая, и одновременно призывала Великобританию, Японию и США оказать поддержку китайскому революционному движению. В этом году приветствия были обращены ко всем коммунистическим партиям мира – смертельному врагу всемирной буржуазии.

После поражения Троцкого и принятия теории «Социализма в каждой отдельной стране», сформулированной Сталиным, такой значительный и серьезный термин, как «всемирная революция» исчез из первомайских лозунгов 1926 года и был заменен двусмысленными терминами – такими, как «мировой союз пролетариата», «объединенный фронт трудящихся всех стран», а также такими старыми лозунгами «всемирное профсоюзное движение» или «союз европейского и американского пролетариата с поработанными народами Востока».

Что касается лозунгов 1926 года, касающихся внутренней политики, то в них главной темой была консолидация сил для скорейшей победы Социализма в Советской России. В них говорилось о том, что путь к победе Социализма лежит через усиление Советов, профсоюзов и кооперативов, а также через индустриализацию и коллективизацию в стране. Строжайшая экономия и избежание каких бы то ни было излишеств и издержек в производстве, а также в государственном управлении рассматривались в качестве неперемных условий успешного развития промышленности в стране. В этих лозунгах вновь провозглашалась необходимость укрепления сотрудничества между городским пролетариатом и крестьянами, от которого, как отмечалось, напрямую экономическое и культурное развитие страны. Судя по той значимости, которая придавалась этому сотрудничеству, этой цели Советскому Союзу пока не удалось достигнуть.

С другой стороны, отнюдь не все предста-

вители крестьянства рассматривались теперь в качестве достойных союзников рабочих. Именно в первомайских лозунгах 1926 впервые говорится о борьбе беднейших представителей крестьянского сословия с кулаками. Таким образом, эти первомайские лозунги и коммунистическая пропаганда основывались на идее трех гравитационных кругов, согласно которой советские рабочие объединялись в Партию, состав которой непрерывно пополнялся за счет Комсомола и пионерской организации; советские крестьяне оказывали поддержку городскому пролетариату и правительству; а забота обо всех эксплуатируемых и подвергающихся гонениям народах поручалась Коминтерну.

Новый шаг в сторону всемирного пролетариата был сделан в первомайских лозунгах 1927 года, подписанных секретарем Центрального Комитета Партии Кубяком. На этот раз Москва надеется заручиться поддержкой со стороны мирового пролетариата, во-первых, потому что мировой пролетариат напрямую заинтересован в успехе социалистического строительства в СССР – при этом советское правительство призывает рабочих всего мира сделать свой вклад в победу советской социалистической революции. Во-вторых, в ответ на попытки Великобритании уничтожить Советский Союз, Москва обращается к трудящимся всех стран с просьбой защитить «страну Советов». В этих лозунгах Советский Союз предстает в качестве гаранта мира на Земле (несмотря на многочисленные «провокации», советская страна не поддавалась на них и отказалась принять вызов).

Москва по-прежнему возлагала надежды на всемирную революцию. Коммунисты, возглавляемые Коминтерном, должны были проводить более активную пропаганду среди масс рабочих и крестьян. По меньшей мере, 4 лозунга посвящены Китаю, китайской революции, революционному Куоминтангу, китайскому пролетариату и Китайской Коммунистической Партии. Эти лозунги призывают рабочих Англии, США, Италии и Японии настаивать на выводе империалистических войск и военных кораблей из Китая. Советское правительство хотело бороться с империализмом путем международной классовой солидарности рабочих всего мира, а также оно собиралось противостоять нарастающему фашизму путем установления диктатуры пролетариата во всем мире.

Лозунги 1927 года, посвященные внутренней политике, в основном касались тех же вопросов, что и лозунги 1926 года: социалистическое строительство, индустриализация в СССР, сотрудничество городского пролетариата и крестьянства, классовая борьба в деревне, защита Советского Союза. Но в этом году в экономической пропаганде особое внимание уделялось понижению цен, что являлось самым болезненным вопросом советской экономики этого периода. В первомайских лозунгах 1927 года Советский Союз был впервые провозглашен братским союзом людей различных национально-

стей – Союзом Советских Социалистических Республик. Кроме того, в этом году первомайские лозунги впервые сопровождались длинным обращением Ленина к рабочим.

В первомайских лозунгах 1928 года, подписанных на этот раз В.Молотовым, был целый ряд нововведений. Во-первых, число лозунгов, напрямую цитирующих слова Ленина, возросло в три раза. Во-вторых, Коминтерн в них упоминается лишь дважды – как «всемирный революционный штаб пролетариата по борьбе с капитализмом» и как «революционное знамя в борьбе против Белого Трора, фашизма и международного реакционного движения». Несмотря на то, что главной целью по-прежнему оставалась победа всемирной социалистической революции, в лозунгах больше ничего не говорилось об активной борьбе пролетариата в других странах, за исключением Китая. Но лексический состав этих лозунгов был значительно изменен. На этот раз в них не упоминалось ни о солидарности российских рабочих с китайским пролетариатом, ни о помощи китайским «собратьям по классу». Эти лозунги, напротив, «призывали тысячи китайских рабочих, ценой своей жизни отстаивающих интересы Советов в Кантоне, продолжать борьбу за освобождение миллионов эксплуатируемых рабочих и крестьян из стран Востока».

В лозунгах 1928 года Советский Союз отчетливо занял позицию защитника. В них приветствовались рабочие всех стран, эксплуатируемые колониальные народы, а также узники капитализма во всем мире. Но эти лозунги выражали обеспокоенность Партии по поводу надвигающейся угрозы мировой революции, старательно подготавливаемой империалистами и социал-демократами, и особенно по поводу возможности империалистической атаки на Советский Союз. Советское правительство по-прежнему не доверяло Лиге Наций и считало ее лишь щитом, которым прикрывались сторонники гонки вооружений и поджигатели новых войн. Как и прежде, только Советы рассматривались Москвой как главные сторонники и участники всеобщего разоружения; Красная Армия теперь вставала на защиту не только Советского Союза, но и всех «эксплуатируемых» рабочих мира.

Лозунги 1928 года – первого года первой пятилетки – затрагивали широкий спектр вопросов внутренней политики, которые, однако, не были никак систематизированы. Среди более тридцати лозунгов, касающихся внутренней политики, видное место по-прежнему занимали лозунги, касающиеся активизации советских масс, экономических проблем индустриализации и начала коллективизации, вопросов культурной жизни страны, а также широкомасштабного наступления на кулачество.

Начиная с 1929 года, первомайские лозунги Коммунистической Партии больше не подписывались секретарем Центрального Комитета Партии, но представлялись от имени всего Центрального Комитета. Первым результатом этого

нововведения стало резкое увеличение числа первомайских лозунгов в этом году. В этих лозунгах вновь особое значение придавалось «международному празднику трудящихся», международным революционным лозунгам и пропаганде «Всемирной Октябрьской революции». Коминтерн, имеющий свой штаб в Москве и пять раз упоминавшийся в лозунгах 1929 года, в последний раз был официально назван «организатором и лидером всемирной пролетарской революции». Советский Союз был назван «родиной всех пролетариев и оплотом всемирной революции», а Красная Армия и Красный флот – «вооруженными батальонами всемирной революции».

Согласно партийным лозунгам, лишь одна всемирная революция могла раз и навсегда покончить с гонкой вооружений и войнами в мире. В связи с этим, рабочие всех стран призывались к борьбе против буржуазии. В лозунгах 1929 года впервые высказывается мысль о том, что советская система является самой лучшей моделью правления для всего мира. В первомайских лозунгах 1929 года также впервые говорится о возможности и необходимости установки советской системы в Индии. И, наконец, в соответствии со старой концепцией Ленина, рабочий класс должен был превратить «империалистическую войну, развязанную буржуазией» в гражданскую войну, имеющую конечной целью установить диктатуру пролетариата во всем мире.

Была ли эта война возможной? Келогский договор был объявлен лишь предлогом для подготовки к новым войнам. В лозунгах вновь говорится о возможности новых войн и, конечно, о возможном нападении на СССР – явного врага всемирного класса буржуазии и защитника всех поработанных народов мира. При этом как никогда большие надежды возлагались на Красную Армию, которая должна была обеспечивать мир в стране и во всем мире, защищать достижения Октябрьской революции и способствовать распространению социализма в городах и деревнях. В лозунгах 1929 года впервые говорится о трудностях, с которыми приходится сталкиваться Коминтерну. Слабаками или, точнее, людьми со слабой верой в идеалы коммунизма, называются те, кто покинул ряды революционно настроенного Коминтерна; и беспощадная война объявляется правым и троцкистам.

Что же касается лозунгов 1929 года, посвященных внутренней политике, то в них предпочтение вновь отдается таким вопросам, как индустриализация, коллективизация и борьба против бюрократии. Рабочим советские власти обещают установить семичасовой рабочий день, но только при условии, что это не приведет к замедлению темпов индустриализации. Такие недостатки и факторы, замедляющие темпы индустриализации, как безделье и пьянство, подвергаются жесткой критике и подлежат искоренению путем соцсоревнований, рационализации производства, создания ударных бри-

гад, а также путем критики со стороны профсоюзов, ужесточения трудовой дисциплины и при помощи других средств. Жизнь деревни также должна была измениться благодаря коллективизации, проведение которой почти полностью возлагалось на молодых коммунистов. Вслед за колхозами, теперь и совхозы – государственные сельхозпредприятия – рассматривались в качестве наиболее эффективного оружия в борьбе с кулаками. В первомайских лозунгах 1929 года развивается идея о более непосредственном участии рабочих в управлении государством и предприятиями. Это, очевидно, является ответом Партии на обвинения во все возрастающем разрыве между бюрократической машиной и рабочими Советского Союза. В лозунгах 1929 года впервые упоминается об антисемитизме, который, по-видимому, был все еще силен в Советском Союзе и который ставится в один ряд с деятельностью православных и католических священников, раввинов и членов все еще существующих религиозных сект. В этих лозунгах особенно отмечается необходимость единства Партии, которого ей по-прежнему не хватает, но при этом подчеркивается, что из ее рядов следует исключить «оппортунистов», «меньшевиков», «миротворцев» и особенно «троцкистов», обвиняемых в предательстве и открытом сотрудничестве с контрреволюционным лагерем.

В первомайских лозунгах 1930 года акценты расставляются уже совершенно по-другому. Бросается в глаза значительное сокращение числа лозунгов, касающихся вопросов внешней политики и всемирной революции. Упоминания о «Всемирной Октябрьской революции» и о Советском Союзе как «родине пролетариев всех стран» ушли в прошлое. Хотя Коминтерну по-прежнему отводилась роль не только лидера всемирного пролетарского движения и защитника всех угнетаемых колониальных народов, но боязнь раскола в его рядах нашла свое отражение в первомайских лозунгах 1930 года. Революционный шторм утих. Москва пристально следила за экономическим кризисом в западных капиталистических странах, который мог привести к активизации массовых выступлений, но пока она допускала возможность рабоче-крестьянской революции лишь в Китае и других странах Востока.

С другой стороны, советских рабочих вновь стремились убедить в том, что Советский Союз по-прежнему находится под угрозой нападения со стороны империалистических стран Запада. В лозунгах 1930 года Священный Синод впервые подвергается непосредственной критике как ярый противник советского режима и организатор борьбы против коммунизма. А социал-демократы, ранее считавшиеся противниками империализма, теперь также обвинялись в заговоре с Римом и в подготовке новых войн и атаки на Советский Союз. Единство и всевозможная поддержка Красной Армии со стороны промышленных предприятий, которым в этих лозунгах

придавалось еще большее значение, должны были стать ответом советских рабочих и крестьян на «происки коварных капиталистов».

Лозунг «Даешь пятилетку за четыре года», содержащий в себе как призыв прилагать больше усилий на промышленном фронте, так и призыв к своевременной «широкомасштабной борьбе с врагами-капиталистами». Идея пятилетки преобладала почти во всех лозунгах 1930 года, посвященных внутренней политике. Хотя в них рассматривались почти те же самые вопросы индустриализации, что и в лозунгах 1929 года, тем не менее, некоторые из них приобрели более отчетливый и более специфический характер. В них упоминались названия крупных строящихся заводов (которые впоследствии внесли огромный вклад в победу советской России над нацистской Германией). В лозунгах 1930 года также признается необходимость использования американской модели производства. Кроме того, социальное соревнование, необходимость проведения которых по-прежнему не вызывала сомнений, были неожиданно обвинены в чрезмерной публичности, что, по мнению авторов лозунгов, отнюдь не соответствовало их изначальной цели.

Лозунги 1930 года, рассматривающие проблемы сельского хозяйства, и, в первую очередь, проблемы коллективизации, практически ничем не отличались от лозунгов 1929 года, только в этом году их было гораздо больше. Лишь незначительные отличия, вызванные чересчур быстрыми темпами коллективизации, касались лозунгов, призывающих к превращению средних слоев крестьянского сословия в единый социальный класс. Среди других лозунгов 1930 года, касающихся внутренней политики, следует также отметить известные лозунги, критикующие недостатки советской системы, призывающие к борьбе с неграмотностью, антисемитизмом, пьянством и контрреволюционной деятельностью троцкистов и других партийных диссидентов. Самокритика была объявлена полезной и жизненно важной для безопасного функционирования советской системы. Как заявляет Ленин в одном из лозунгов, «так поступали все революционные партии, которые исчезли потому, что были слишком самоуверенны и боялись говорить о своей слабости, но мы не исчезнем, потому что мы не боимся говорить об этом, и мы научимся устранять недостатки».

В лозунгах 1931 года была вновь затронута тема величия Советского Союза на фоне распада капиталистического общества. Процветание Советского Союза противопоставлялось безработице, голоду и высокому уровню смертности в капиталистических странах. Лозунги призывали рабочих других стран следовать по пути советских рабочих. Обвинения в использовании принудительного труда в Советском Союзе назывались клеветой и выдумками, распространяемыми капиталистами и националистами.

Новые революционные волнения в мире, впрочем, нашли отражение лишь в двух лозун-

гах 1931 года. Китайская Красная Армия и китайские Советы были названы освободителями китайского народа от ига иностранных империалистов, а китайских генералов, землевладельцев и местной буржуазии. Авторы лозунгов также объявляли благодарность Испанской Коммунистической партии и испанским рабочим за героическую борьбу во имя свержения феодализма и капитализма.

Тем не менее, помимо слов поддержки и предложения принять курс, предложенный Лениным, лидеры российской Коммунистической партии больше не предлагали активной помощи рабочим других стран. Напротив, они искали поддержки со стороны рабочих других стран в случае возможной интервенции, тогда как империалистическая война, по их мнению, должна была превратиться в гражданскую войну между эксплуатируемыми и эксплуататорами. Таким образом, защита Советского Союза – «родины всех рабочих» теперь считалась первостепенной задачей каждого отдельного революционера, более важной, чем любые другие революционные выступления.

Всемирная революция теперь откладывалась на неопределенный срок. Она могла состояться лишь в том случае, если самые молодые члены Партии, пионеры, будут следовать заветам Ленина и идеалам Великой Октябрьской революции. Таким образом, в этом году угроза нападения на Советский Союз, казалось, начала приобретать реальные очертания. Задача по отражению возможного нападения возлагалась на Красную Армию, по-прежнему находящейся на страже интересов пролетариата и являющейся оплотом всемирной революции. С этой угрозой предполагалось бороться также путем индустриализации и интенсивной коллективизации. Страх перед угрозой возможного нападения служил для Москвы своего рода движущей силой. Как мы видим из лозунгов, с точки зрения технической оснащенности, Советский Союз отставал от развитых стран на пятьдесят лет, но советские власти обещали наверстать это отставание за десять лет.

Остальные лозунги 1931 года, посвященные внутренней политике, содержали те же ключевые слова, что и первомайские лозунги прошлых лет, что можно объяснить тем, что власти страны были слишком заняты либо подведением итогов третьего года первой пятилетки, либо восстановлением утраченного единства Партии, в которой наметился раскол из-за деятельности правых и левых «ревизионистов».

Первомайские лозунги 1932 года свидетельствуют о кризисе политического мышления и о полном отсутствии воображения, причем это касается как лозунгов, посвященных всемирной революции и международным вопросам, так и лозунгов, касающихся вопросов внутренней политики. За небольшим исключением, практически все лозунги этого года представляют собой уже известные клише прошлых лет, и в особенности прошлого 1931 года. Даже словарный со-

став лозунгов в большинстве случаев остался неизменным. Однако, редкие исключения характеризуются значительными изменениями. Так, напр., Красная Армия больше не называется оплотом «всемирной пролетарской революции», она призвана защищать лишь «рабочий класс всех стран мира». Каждый завод, совхоз или колхоз теперь открыто назывался неприступной крепостью, защищающей страну. В лозунгах 1932 года впервые были приведены слова Сталина, которые впоследствии стали традиционным первомайским лозунгом: "Нам не нужно ни одной полосы чужой земли. Но мы не отдадим никому ни пяди нашей земли». Таким образом, призрак войны уже тогда вынуждал Россию и ее проницательное правительство быть в состоянии не только полной технической, но и моральной готовности.

1 мая 1933 года Советский Союз вынужден был столкнуться с новой политической ситуацией – приход к власти Гитлера в январе этого года. По сравнению с двумя предыдущими годами, число лозунгов стало меньше и составило всего лишь 47 единиц. Вместе с тем, число лозунгов, касающихся вопросов внешней политики, значительно возросло. В 1933 году вновь появился лозунг, касающийся всемирной Социалистической революции. Рабочие всех стран призывались к революционной борьбе во имя Коммунизма против империалистов, капиталистов и фашистов. Успех первой пятилетки рассматривался теперь как стимул, который должен был побудить другие страны свергнуть капитализм и последовать примеру Советского Союза. Столкнувшись с «фашистской контрреволюцией», Москва, наконец, впервые поддержала и открыто высказала идею об объединении усилий коммунистов и социал-демократов в борьбе против капитализма. Но то, к чему мог привести подобный союз на практике, отчетливо показано в другом лозунге, призывающим рабочих покинуть лагерь поддерживающих буржуазию социал-демократов и вступить в ряды антифашистского Коминтерна.

В лозунгах 1933 года напрямую упоминаются лишь три страны. Наряду с Китаем, ставшим жертвой как местных, так и зарубежных эксплуататоров, упоминаются такие страны, как Германия и Великобритания. Германия упоминается лишь в связи с признанием «героизма» ее Коммунистической партии и ее руководителя, товарища Тельмана. Однако, в лозунгах 1933 года больше внимания уделяется Великобритании. В данном случае, речь шла о том, что «упрямые рабовладельцы» готовятся ко всеобщей империалистической атаке на Советский Союз. Закон, запрещающий ввоз советских товаров на территорию Англии, рассматривался как начальная стадия в подготовке этой атаки.

Как и в предыдущие годы, Советский Союз вновь объявлялся единственным настоящим сторонником мира на Земле. По мнению Москвы, на страже мира и спокойствия во всем мире должны были стоять Красная Армия и Между-

народный пролетариат. Цитата Сталина по поводу того, что Советский Союз не желает объединения Красной Армии и международного пролетариата, призвана была убедить даже самых скептически настроенных граждан в непоколебимости намерений Советского Союза. Однако, в лозунгах 1933 года по-прежнему говорилось о верности Красной Армии интересам международного пролетариата.

Лозунги 1933 года касающиеся вопросов внутренней политики, мало чем отличались от лозунгов предыдущих лет. На смену первой пятилетки пришла вторая. Однако, было одно значительное изменение. В гораздо большей степени, чем в предыдущие годы, лозунги содержали прямые призывы к более эффективному труду и повышению производительности, обращенные к различным социальным группам, таким, как рабочие металлургических заводов, шахтеры, железнодорожники и т.д. Еще одной отличительной чертой было увеличение числа цитат – в этот раз цитировались исключительно слова Сталина. В этом году не было ни одной ссылки на слова Ленина, хотя марксистско-ленинская теория по-прежнему считалась основополагающим учением, из которого каждый коммунист «черпал силы». В лозунгах 1933 года впервые нашла отражение идея «лучшей» жизни. Также бросается в глаза увеличение числа лозунгов, касающихся классовой борьбы в советской деревне, что, по-видимому, напрямую связано с увеличением темпов коллективизации в начале 30-х годов. Еще одной темой внутриполитических лозунгов 1933 года стало освобождение партийных рядов от диссидентов, что по-прежнему считалось нерешенной задачей, а рекомендация к установлению железной трудовой дисциплины внутри Партии являлась прямым призывом к дальнейшим чисткам.

1934 год был вторым годом второй пятилетки, а также вторым годом пребывания Гитлера у власти в Германии. Первомайские лозунги этого года противопоставляли ужасной экономической ситуации в стране, находящейся под властью «кровожадного» фашизма счастливую жизнь рабочих и крестьян в советском Эльдорадо.

Лидеры Партии высказывали мнение о том, что подготовка Всемирной Социалистической революции должна была проходить в несколько стадий: сначала распространение идеи солидарности пролетариев всех стран, затем – исключение всех предателей из рабочего класса, и в частности, лидеров второго Интернационала, которые обвинялись в том, что они вступили в ряды фашистских сторонников. Но что говорится о Японии и о странах Европы, которые постепенно оказываются во власти фашистов? В этот день «объединения революционных сил рабочих всех стран» дружеские приветствия советских рабочих были адресованы как австрийским, так и германским собратьям. В лозунгах вновь выражалось восхищение героизмом Коммунистических партий этих стран. Но все

призывы к каким бы то ни было практическим действиям сводились, на этот раз, к решимости освободить лидера Германской коммунистической партии Тельмана, находящегося в нацистском концлагере. Антисоветские провокации японских военачальников должны были встретить решительный отпор со стороны дальневосточных отрядов Красной Армии и, как заявил Сталин, это говорило как о нежелании Советского Союза принимать участие в каких бы то ни было войнах, так и о его готовности к войне в случае возможной атаки. В лозунгах 1934 года на этот раз говорилось о верности Красной Армии не международному пролетариату, а Родине – именно с этого момента этот символ стал играть все более важную роль в первомайских лозунгах. Кроме того, наряду с Красной Армией, защитниками советской Родины провозглашались миллионы советских рабочих и крестьян.

Внутриполитические лозунги 1934 года в основном касались успешного завершения второй пятилетки в городах и деревнях. Целью этой пятилетки провозглашалось укрепление «Родины», а также установление бесклассового социалистического общества. Однако, судя по всему, лозунги о «лучшей» жизни, которая должна была наступить по завершении второй пятилетки, в основном были обращены к советским рабочим и колхозникам. Другой отличительной чертой лозунгов 1934 года было обещание более индивидуализированной системы расчета заработной платы. Со своей стороны, советские рабочие и их лидеры должны были проявлять большую активность, изобретательность и инициативность в работе.

Первомайские лозунги 1935 года содержали, по меньшей мере, восемь цитат Сталина. Но, в целом лозунги, касающиеся внешней политики, практически ничем не отличались от лозунгов 1934 года. Действительно, даже словарный состав этих лозунгов практически не изменился. Красная Армия теперь называлась не иначе, как «наша любимая непобедимая Красная Армия», а к термину «наша Родина» было добавлено прилагательное «великая» – «наша Великая Родина».

Однако, солидарность рабочих СССР с трудящимися капиталистических стран, по-прежнему рассматривалась властями как одно из главных условий величия и процветания Советского Союза, что в очередной раз нашло свое отражение в первомайских лозунгах. Как и прежде, казалось, что эта солидарность является залогом победы Социализма во всем мире и установления советской системы правления во всех странах. Это, как с гордостью заявлялось в лозунгах, открывало для всех рабочих путь к достойной, мирной и счастливой жизни. Советское правительство с гордостью заявляло о ликвидации безработицы в СССР.

Еще одно изменение касалось лозунгов, посвященных Китаю. Если в предыдущие годы речь шла в основном о Китайской Красной Армии и о Советах в Китае, то теперь основное

внимание уделялось героизму Китайской Коммунистической партии.

Тема второй пятилетки по-прежнему преобладала во внутриполитических лозунгах 1935 года. Но теперь ее интерпретация получила новый, более гуманный оттенок. Основное внимание уделялось «людям, которые смогли покорить технику», защите интересов трудящихся и поощрению каждого способного и талантливого рабочего. Кроме того, способствование успешному завершению второй пятилетки считалось долгом каждой группы рабочих, ученых и инженеров. В том, что касается сельского хозяйства, то в этом году, когда проблема нехватки зерна была успешно разрешена, основное внимание уделялось проблеме сокращения поголовья скота. Партия признавала за всеми советскими крестьянами право собственности, что соответствовало как интересам колхозов как таковых, так и личным интересам колхозников.

Наконец, еще одной отличительной чертой лозунгов 1935 года была попытка Партии заявить об успехах установления диктатуры пролетариата в СССР, что явилось новой темой прежних, уже знакомых лозунгов. Приветствия, адресованные Красной Армии Советского Союза, были названы «военными» приветствиями. В других лозунгах внимание заострялось на том, что Советский Союз должен быть в состоянии полной боевой готовности.

В первомайских лозунгах 1936 года, наряду с привычными клише, советским рабочим впервые было представлено более специфичное толкование фашистской идеологии. Взамен прежних лозунгов, касающихся фашизма, они призывали международный пролетариат сплотить свои ряды и выступить единым фронтом в борьбе против фашизма и угрозы войны. Фашизм был, по мнению Москвы, «нападением капиталистов на рабочий класс». Более того, он мог привести к кровопролитной войне, к голоду и бедности. Война могла разразиться внезапно; и международный пролетариат не должен был оказаться застигнутым врасплох. Они должны были бороться во имя Социализма и мира на Земле.

Помимо теоретических рассуждений, Москва высказывала свои опасения по поводу осложнения отношений с нацистской Германией. «Героическая» Коммунистическая партия Германии больше не упоминалась в лозунгах; то же самое касалось и «революционно настроенных» германских рабочих. Лишь Тельман по-прежнему признавался лидером рабочего класса Германии. Особое место отводилось Испании и, в частности, героизму Испанской Коммунистической партии и рабочим, мужественно сражающимся против фашистов и реакционеров. В 1936 году не было ни одного лозунга, посвященного Китаю. В лозунгах этого года лишь дважды упоминается Дальний Восток; Москва приветствует Монгольскую Народную Республику, сражающуюся за свою независимость и свободу. Кроме того, народы Советского Союза

призываются к бдительности и готовности противостоять провокациям японских милитаристов, угрожающих безопасности «границ Родины». Независимость Родины становится более насущной проблемой, чем дело революции. Поэтому даже Советская Красная Армия теперь рассматривалась не как «преданный защитник достижений Великой Октябрьской революции», а как «защитник советских границ». Солдаты Красной Армии клялись верности не «рабоче-крестьянскому правительству», а «советской власти». В лозунгах этого года впервые упоминались пограничники. Масштабная милитаризация Советского Союза нашла отражение в увеличении числа лозунгов, посвященных Красной Армии, повышению ее профессионализма и воспитанию патриотизма у советских солдат, а также в изменении словарного состава подобных лозунгов. Руководители гражданских объектов назывались «руководителями промышленности, металлургии, железнодорожного транспорта и т.д.».

В 1939 году вторая пятилетка вступила в стадию завершения. Рабочих теперь убеждали в необходимости перевыполнения плана второй пятилетки, утвержденного в 1936 году. Лозунги призывали завершить технологическую революцию страны во имя Отечества, продолжать стахановское движение на фабриках, заводах, в шахтах и транспортной отрасли. В другом лозунге звучал призыв повысить уровень профессионализма рабочих. Цель этих лозунгов была ясна. Советская промышленность, а в особенности такие ее отрасли, как черная металлургия, металлургическое машиностроение и нефтедобывающая отрасль, должна была стать ведущей в мире.

Кроме того, лозунги расширили ряды новой Советской элиты. Помимо городских ударников, Стахановцев («героев социалистического труда»), в нее входили также лучшие работники и работницы колхозов – трактористы, сборщики урожая, председатели.

Мысль о том, что социалистическое строительство в Советском Союзе близко к завершению, нашла отражение в первомайских лозунгах 1936 года. СССР, прежде именовавшийся «землей Советов», теперь назывался «землей Социализма», а Советская страна – «нашей Советской страной». Кроме того, на этот раз идея социализма получила новую интерпретацию. В лозунгах 1936 года под социализмом понималось «активное строительство жилых кварталов и решение квартирного вопроса».

В первомайских лозунгах 1936 года призыв покончить с классовыми врагами сопровождался менее резкими отзывами по поводу национальных меньшинств и положения женщин в обществе. Важным шагом в стремлении Москвы превратить советский народ в единое сплоченное сообщество стало использование таких терминов, как «рабочий класс» и «весь рабочий класс» в отношении рабочих и колхозников. 1 мая 1936 года Партия приветствовала «всю со-

ветскую молодежь», а не только Коммунистическую Молодежную Лигу как в лозунгах предыдущих лет. Значение, которое Партия придавала поддержке со стороны молодежи, проявлялось также в упоминании о роли советского учителя в образовании и воспитании подрастающего поколения советских граждан.

Лозунги 1937 года, касающиеся вопросов внешней политики, во многом повторяют лозунги 1936 года, но они характеризуются более резким и более агрессивным тоном, а также большей определенностью. В этом году вновь появляется хорошо известный революционный лозунг «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!». Фашизм стал рассматриваться как военная доктрина.

Фашизм был представлен как «террористическая деятельность капиталистов и землевладельцев, направленная против рабочих и крестьян» и как «разжигание межнациональной розни». Способами борьбы с этим злом выступают мобилизация всех ресурсов на борьбу против фашизма и призыв к рабочим и крестьянам всего мира укрепить и расширить антифашистский фронт. Как и прежде, отмечалось, что борьба должна была вестись во имя социализма и сохранения мира на Земле. Но в этом году к этим целям была добавлена еще одна – «за демократические свободы», впрочем, без дополнительных пояснений.

Принятая ранее идея объединенного антифашистского фронта, разумеется, привела к значительным изменениям, и, в частности, изменения коснулись лозунгов, посвященных Испании. В 1936 году Испанская Коммунистическая Партия была героем в борьбе против реакционеров. В 1937 году термин «герой» был заменен более подходящим термином «народный фронт». Все тайные и явные враги народного фронта подлежали уничтожению. На эту борьбу должны были быть брошены все силы. В том, что касается Германии, то героизм Немецкой Коммунистической партии и «революционно настроенных» немецких рабочих, наряду с привычными упоминаниями о товарище Тельмане, вновь заняли почетное место в первомайских лозунгах 1936 года. В них Красная Армия вновь выступала в качестве «защитника Великой Октябрьской революции», при том, что защита Родины объявлялась священным долгом каждого гражданина Советского Союза. Кроме того, в лозунгах 1937 вместо привычного термина «Родина» часто использовался термин «социалистическая Родина», а новая конституция, подписанная Сталиным в 1936 году, называлась не иначе, как «конституция победившего социализма и настоящей демократии».

Москва хотела предстать в качестве сторонника идеи демократии. Но в лозунгах по-прежнему не было и намек на ослабление или свержение длящейся уже девятнадцать лет диктатуры пролетариата или, точнее, диктатуры Коммунистической Партии. Как и прежде, ее сохранение считалось необходимым для того,

чтобы продолжал играть ведущую роль в советском обществе. Однако, признание «верности Родине» в качестве главного достоинства нового поколения советских граждан, как нельзя лучше свидетельствует о новой тенденции, наметившейся в советской идеологии. Интеллигенция получает похвальный отзыв за заслуги перед Родиной. Советские партийные лидеры выражали надежду на то, что советские дети будут здоровы, счастливы и, конечно, верны своему Отечеству.

Завершение коммунистического строительства даже в Советском Союзе на этот раз отодвигается на неопределенный срок. Это теперь широко признается или, скорее, невольно допускается. Тот факт, что на реализацию идей Ленина может потребоваться гораздо больше времени, чем предполагалось, становится ясным хотя бы из того, что говорится о пионерах (самых младших членах Партии) в первомайских лозунгах. Если раньше говорилось о том, что они должны продолжить и закончить дело, начатое Лениным, то теперь они лишь призывались к борьбе за идеи коммунизма.

Судя по увеличению числа лозунгов 1937 года, призывающих к борьбе против классовых врагов внутри страны, в этом году не все было гладко и в самом Советском Союзе. С политической «беззаботностью» следовало покончить раз и навсегда. Призыв к революционной бдительности стал лозунгом дня. Все политические предатели должны были быть выявлены и призваны к ответу. Партия, которой на этот раз отводилась скромная роль «авангарда советских рабочих», должна была превратиться в нерушимый оплот Большеви́зма. Все враги народа – немецкие и японские троцкисты и шпионы – должны были быть уничтожены, а предателей Родины следовало приговорить к смерти. Советским рабочим в очередной раз давали понять, что Коминтерн был их защитником, а также главным борцом против войны, фашизма и капитализма.

В словарном составе и порядке расположения внешнеполитических лозунгов 1938 года наблюдались значительные изменения. Фашистское движение с каждым днем привлекало на свою сторону все новых и новых сторонников. Его угрожающий размах должен был быть показан и разъяснен советским гражданам. Если в предыдущие годы фашизм рассматривался как угроза, нависшая над рабочими и крестьянами, то теперь опасности подвергалась также и рабочая интеллигенция. Фашистский террор стал называться «кровавым». Фашизм считался главным врагом существующей международной ситуации и взаимоотношений между народами.

Борьба испанского народа против внешнего и внутреннего фашизма теперь объявлялась общим делом всего прогрессивно мыслящего человечества. Если раньше, по мнению Москвы, в этой героической борьбе должны были принимать участие исключительно испанские рабочие, то теперь она рассматривалась как борьба

всего испанского народа за независимость и свободу. То же самое касалось и лозунгов, посвященных Китаю, содержащих поздравления, адресованные не только рабочим – членам Китайской Коммунистической партии, но и всему «великому китайскому народу», сражающемуся против вторжения японцев и других народов, не называемых напрямую.

Фашистская угроза требовала мобилизации всех моральных и материальных ресурсов. В специальном лозунге говорилось о необходимости развития и укрепления международных связей между пролетариатом СССР и рабочим классом капиталистических стран. Таким образом, солидарность пролетариев всех стран, выступала в качестве необходимого условия этой борьбы. Однако, среди лозунгов 1938 года уже не было лозунга, призывающего к всемирной социалистической революции. Но еще одно значительное изменение касалось призыва к совместной борьбе против фашизма. Лозунги больше не призывали международный пролетариат встать под знамена Коминтерна, их ряды должны были возглавить Маркс, Энгельс и Ленин. Однако, в лозунгах этого года Коминтерн по-прежнему оставался лидером и организатором борьбы против войны, фашизма и капитализма. Но лозунги, содержащие упоминания о Коминтерне больше не занимали почетное первое место в списке лозунгов.

Значительные изменения произошли также в самой технике написания первомайских лозунгов. Революция, совершенная большевиками, называлась теперь не «великой Октябрьской революцией», а «великой Октябрьской социалистической революцией». Казалось, что в лозунгах этого года намеренно употреблялись такие слова, как социализм, социалистический и т.д. При этом в одном из лозунгов при упоминании о Родине было опущено слово «Социалистическая», но зато в другом лозунге слова «часовые советских границ» были заменены на слова «часовые земли Социализма».

В 1938 году Партия приложила значительные усилия для того, чтобы при помощи новых лозунгов выдвинуть идею о чувстве сплоченности, о боевом духе и равенстве советских граждан. Один из таких новых лозунгов провозглашал моральное и политическое единство всего советского народа, получившего свободу и независимость под предводительством партии большевиков. Идею СССР как союза равноправных народов противопоставлялась идея царистской России, называемой «тюрьмой народов». Впервые красный флот упоминался в качестве отдельного формирования, охраняющего морские границы Родины. Таким образом, три самые крупные части советских вооруженных сил – Красная Армия, Красный флот и Красные воздушные войска – упоминались отдельно, и каждая из них занимала свое особое место в лозунгах. Если в 1937 году цель состояла в том, чтобы превратить Партию в неприступный лагерь большевизма, то в 1938 году не только Партия,

но и весь СССР должен был стать такой крепостью.

Следует отметить также и другие новшества. Термин «граждане советской земли» впервые появился в лозунгах 1938 года, в которых им обещали больше хлопка, шелка, одежды, вязаных изделий и обуви. «Комфортная» жизнь стала идеалом настоящего и будущего. Другие давно забытые и уже устаревшие термины вновь появились в лозунгах 1938 года. В частности, героические папанинцы – отважные покорители Северного Полюса – назывались «достоинными сынами социалистической Родины». Наконец, следует также отметить, что призыв к молодежи учиться с тем, чтобы впоследствии продолжить дело Ленина, был обращен не только к пионерам Партии, но и ко всем советским школьникам. Кроме того, в лозунгах этого года дело Ленина впервые называлось совместной работой Ленина и Сталина.

Отдельный интерес представляет также советы, данные партией всем советским рабочим и крестьянам относительно того, как следует себя вести и за кого следует голосовать на предстоящих выборах в Верховный Совет Советского Союза и отдельных союзных республик. Они должны были выбрать в качестве делегатов людей, полностью преданных делу Ленина и Сталина, упорных борцов за счастье рабочих и крестьян, а также за торжество Социализма, и также, что не маловажно – «отважных патриотов своей Родины». Особое внимание уделялось также сотрудничеству коммунистов с беспартийными.

Тот факт, что внутривластная ситуация в советской Родине – причем, на этот раз Родине уделялось гораздо больше внимания, чем Коминтерну – вновь не была в целом удовлетворительной, вновь подтверждался небывалым увеличением числа лозунгов, касающихся сомнительной деятельности троцкистских и бухаринских грабителей и шпионов. Но, судя по всему, из опасения вызвать возмущения в Берлине или Токио, в лозунгах больше не говорилось напрямую о том, что грабители работают на Германию или Японию, а скорее на некие тайные службы международной разведки.

Первомайские лозунги 1939 года характеризовались еще большим сокращением числа терминов, обращенных к революционно настроенным пролетариям всего мира, а также ослаблением революционной борьбы. Праздник 1 Мая больше не назывался «военным митингом», но лишь «днем объединения» революционных сил международного пролетариата. Лозунги этого года больше не содержали призыв ко всему международному пролетариату стать под знамена Маркса, Энгельса и Ленина. Не «пролетарские», а, скорее, братские приветствия были обращены на этот раз к рабочим и революционерам за пределами России. Кроме того, несмотря на то, что в одном из лозунгов по-прежнему открыто говорилось о победе рабочего класса во всем мире, в лозунгах этого

года больше внимания уделялось внутренней политике. В одной из своих новых цитат Сталин призывал помочь нациям, ставшим жертвами агрессии и сражающимся за независимость своей Родины, что, казалось, говорило об обеспокоенности советских властей по поводу ухудшения международной обстановки. Все надежды по поводу сохранения мира на земле возлагались на советскую внешнюю политику, лозунги этого года прославляли также Советскую Красную Армию, которая называлась теперь не «преданным защитником достижений великой Октябрьской Социалистической революции», но «защитником свободы и независимости Родины». Впервые в первомайских лозунгах говорилось о том, что пограничники охраняют границы не «земли Социализма», а границы Родины.

Советский Союз казалось, готовился или, по крайней мере, делал вид, что готовился к возможному нападению на свои территории. Потенциальный агрессор был предупрежден о том, что Советский Союз ответит на атаку не простой контратакой, а еще более масштабным наступлением. Пограничники назывались теперь «храбрыми и бесстрашными». В лозунгах перечислялись различные подразделения вооруженных сил в более строгом соответствии со сложившейся военной ситуацией – первое место занимали пограничники, затем – воздушные войска и а ними – военно-морской флот; в лозунгах предыдущего года эти подразделения перечислялись в обратном порядке. Возрастающая угроза, казалось, требовала большей сплоченности. Причем, советская интеллигенция на этот раз должна была пополнить объединенные ряды рабочих и крестьян. Как и в 1938 году, в лозунгах этого года говорилось о моральном и политическом единстве всего советского общества, которое было достигнуто благодаря тому, что больше не существовало прежнего классового деления на буржуазию и феодалов. При этом Коммунистическая партия по-прежнему стремилась занять лидирующую позицию – в одном из новых лозунгов ее ряды назывались «золотым резервом Партии и государства» – говорилось о том, что о ней следует заботиться, что к ней нужно относиться с особым уважением, но при этом от самих членов Партии требовалась лучшая теоретическая подготовка и политическая закалка. But the Communist

Перед советским народом ставилась неотложная задача – в течение последующих десяти – пятнадцати лет при помощи стахановского движения догнать и перегнать экономически развитые капиталистические страны. Эта цель являлась одновременно повторением и новым проявлением советского неонационализма. Советская экономика должна была стать ведущей в мире. С этой целью социалистическое государство рабочих и крестьян должно было быть не только сильным, но, прежде всего, быть лучше организованным. Впервые первомайские лозунги призывали рабочих Советского Союза

помочь социалистической разведывательной службе (т.е., секретной полиции) уничтожить врагов народа. Среди тех, кто должен был улучшить свою подготовку на этот раз упоминались также члены комсомольской организации.

Наконец, еще нигде национальное самовосхваление, столь характерное для Советской России тридцатых годов не находило столь явного выражения, как в новых лозунгах 1939 года, прославляющих «свободный, великий и талантливый советский народ, нацию героев и творцов». При этом о коммунизме в лозунгах не упоминалось ни слова. С одной стороны, имя Сталина в 1939 году упоминалось как символ свободы наряду с именами Маркса, Энгельса и Ленина.

1940 год внес кардинальные изменения в первомайские лозунги. Даже сама трактовка значения праздника значительно изменилась. Началась война в Европе. В Москве в августе 1939 был подписан советско-германский пакт о ненападении. Советское правительство делало все возможное для того, чтобы не спровоцировать лидеров нацистской Германии.

Первое Мая стало «днем объединения» революционных сил, но на этот раз рабочего класса», а не «международного пролетариата». Лозунги 1940 года содержали приветствия, обращенные не к «жертвам фашистского террора» или «борцам за победу рабочего класса во всем мире», а к «борцам за освобождение рабочего класса во всем мире». Москва была осторожна в выборе как терминов, так и лозунгов. Лозунги 1940 года больше не призывали рабочих всего мира организовать единый антифашистский фронт во имя освобождения, демократической свободы и торжества социализма. В них не упоминалась даже цитата Сталина, в которой он призывал помочь нациям, ставшим жертвами агрессии и разоблачить деятельность поджигателей войны, направленную против безопасности советских границ. Кроме того, Коминтерн больше не назывался «лидером и организатором борьбы против империалистических войн и капитализма». В лозунгах этого года также не было упоминания о фашизме.

В лозунгах этого года особое внимание уделялось внешней политике «земли социализма» – в 1940 году все чаще называемой «Советским Союзом» – которая являлась гарантом мира на земле и безопасности Родины. Однако, советское правительство знало, какой ценой ему может обойтись победа над Гитлером. Особое внимание в лозунгах уделялось усилению обороны страны. В лозунгах отдельно упоминались наземные войска и военно-морские подразделения, охраняющие Ленинград и северо-западные границы Родины. Угроза капиталистического окружения казалась актуальной как никогда. Также в лозунгах этого года дважды упоминались советские воздушные войска.

Среди изменений во внутривластных лозунгах 1940 года необходимо назвать следующие. В число «братских» народов Советско-

го союза были включены только что освобожденные народы западной Украины и Белоруссии, а также граждане новой Карело-Финской Советской Социалистической республики. На советские профсоюзы возлагалась новая задача – они должны были стать школой коммунизма, в связи с чем они получили специальное распоряжение воспитывать всех своих членов в духе Ленинизма.

Но в особенности лозунги первого года войны в Европе были адресованы советскому молодому поколению – будущему Родины. «Дети, – говорилось в одном из лозунгов, – это наше будущее, так давайте же воспитаем советских детей патриотами своей Родины, готовыми продолжить дело Ленина и Сталина».

Первомайские лозунги 1941 года мало чем отличались от лозунгов предыдущего года. Это был период «странной» войны, и советское правительство было обеспокоено тем, чтобы каким-нибудь необдуманым или грубым словом не нарушить установившееся взаимопонимание с Берлином. В лозунгах этого года не было ни малейшего признака грядущего разрыва с нацистской Германией, произошедшего 22 июня. Напротив, все говорило о готовности Москвы воздержаться от критических замечаний в адрес Гитлера. Даже слово «победа» использовалось с чрезвычайной осторожностью. Называемый прежде «победоносным» рабочий класс теперь назывался просто «наш рабочий класс», слово «победоносный» также не использовалось при упоминании о колхозниках. Значительное изменение коснулось также упоминаний о Коминтерне – если еще в 1940 году он назывался «организатором борьбы против империалистических войн и капитализма», то в 1941 году он стал называться «организатором борьбы во имя победы рабочих масс».

Тем не менее, лозунги этого года содержали незначительные изменения, касающиеся усиления бдительности со стороны советского государства. В условиях мирового конфликта внешняя политика Советского Союза не могла больше выступать в качестве гарантии сохранения мирных отношений между нациями. Словарный состав данного лозунга был, соответственно, изменен, в результате чего советская внешняя политика определялась как мирная политика. Ответственность по предотвращению угрозы капиталистического окружения – о которой Москва никогда не переставала говорить – теперь, в 1941 году, ложилась не только на Красную Армию, но и на усиленную социалистическую службу разведки. Неожиданно вместо ОГПУ Москва стала использовать в лозунгах прежнее название этой организации – ВЧК знакомое и наводящее ужас еще со времен революции. В то же время, лозунги призывали каждого работника и каждую работницу, каждого инженера и техника внести свой вклад в выполнение плана третьей пятилетки в каждом цехе и бригаде, в каждой смене и у каждого станка. Работа должна была выполняться в духе боль-

шевизма и в ускоренном темпе. Помимо увеличения производительности труда, необходимо было также позаботиться об улучшении качества продукции, об использовании прогрессивной техники и о внедрении в производство новых технических устройств. Рабочие строительной и транспортной промышленности были также добавлены в список квалифицированных рабочих, призываемых выполнять свой профессиональный долг и обязанности перед Родиной. В лозунгах открыто критиковались безделье и неэффективность труда, препятствующие усилению военной мощи Родины и Красной Армии. На случай, если бы война действительно началась, нельзя было оставить без внимания также людские ресурсы. Несколько новых лозунгов было посвящено развитию местной промышленности и подготовки большего числа квалифицированных рабочих для промышленности и транспортной индустрии.

Нападение Гитлера на Советский Союз 22 июня 1941 года придало первомайским лозунгам прежнюю живость, колорит и свободу действий. Закончились дни политической несвободы, несмотря на серьезность военной ситуации в стране. В 1942 году первомайские лозунги вернулись на свою первоначальную позицию. Пролетарии всех стран призывались к совместной борьбе против германо-фашистской агрессии. Нацисты стали называться «Гитлеровскими империалистическими бандитами», нарушившими мир во всем мире и заставившими миллионы трудящихся пережить лишения войны. В других лозунгах они назывались «германо-фашистскими грабителями и агрессорами», «кровожадными поработителями народов Европы», «заклятыми врагами свободолюбивых народов мира». Приветствия Москвы были адресованы всем народам Европы, участвующим в борьбе против гитлеровского империализма. В лозунгах содержались обращения не только к рабочим Германии с призывом свергнуть Гитлера и его сообщников и тем самым освободить себя, но и ко всем европейским патриотам с призывом бороться за свое освобождение от фашистского ига и против тирании Гитлера. И вслед за рабочими Германии и европейскими патриотами, особое место в лозунгах этого года уделялось угнетаемым «братьям-славянам». Они призывались принять участие в «священной народной войне» против гитлеровских империалистов – заклятых врагов всех славянских народов, и в лозунгах прославлялся «боевой союз всех славянских народов». Большой избирательностью в выборе слов характеризовались лозунги, посвященные Организации Объединенных Наций. В них говорилось о «боевом союзе вооруженных сил Советского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и всех свободолюбивых народов, сражающихся за свое освобождение от германского и итальянского преступного империализма».

Война против Нацистской Германии была для Советского Союза первоочередной про-

блемой. Это была, прежде всего, война всех народов Советского союза за освобождение Родины. В связи с этим в лозунгах говорилось о Красной Армии как о символе «братства и дружбы народов СССР». Во-вторых, отпор врагу должен был дать «братский союз рабочих, крестьян и советской интеллигенции». Каждая профессиональная и социальная группа, каждый советский гражданин должны были принять участие в борьбе и внести в нее свой вклад. В результате этого большинство первомайских лозунгов было адресовано офицерам, солдатам, политработникам Красной Армии, офицерам, морякам и политработникам Красного Флота, советским летчикам, танкистам, артиллеристам, пехотинцам, кавалеристам и пограничным войскам, советским гвардейцам, героическим защитникам Ленинграда, партизанам; а также инженерам, рабочим и изобретателям, работающим на оборонных предприятиях, танковых и самолетостроительных заводах, в нефтедобывающей, угольной и металлургической промышленности, на железнодорожном и водном транспорте; колхозникам, агрономам, женщинам и девочкам, а также советской интеллигенции – все эти лозунги уточняли вклад и роль каждой из этих групп в совместной борьбе за «свободу и независимость великой Родины».

Но весьма неожиданно одна организация совсем не упоминалась в лозунгах 1942 года – это был Коминтерн. Теперь «Всесоюзная Коммунистическая партия» должна была играть роль «организатора борьбы во имя победы над германо-фашистскими захватчиками». Ведущая роль в этой борьбе отводилась комсомолу, «верному помощнику большевистской партии». Победа должна была быть одержана под «знаменами Ленина и Сталина». Коминтерн, впрочем, был исключен из списка лозунгов в 1942 году задолго до его официальной ликвидации в 1943 г. Причиной тому стала либо его не востребованность, либо стремление не раздражать новых демократических союзников.

Сталин назвал войну «патриотической» и «освободительной». Лозунги учили советских людей мстить «кровью за кровь», «смертью за смерть». Они говорили о великой миссии, возлагающейся на Красную Армию, Красный флот и партизан. Но в 1942 году эта миссия ограничивалась лишь освобождением оккупированной нацистами советской территории и миллионов советских граждан, страдающих от германо-фашистского ига.

1943 год был годом Сталинградской битвы. Военная ситуация изменилась в пользу России. Но исход войны еще далеко не был решен. Необходимым атрибутом победы было объединение всех народов СССР.

Первомайские лозунги 1943 года впервые были официально названы «обращениями» Центрального Комитета Коммунистической Партии. Народы Советского Союза назывались «братьями и сестрами». Праздник 1 Мая. Ранее называемый «днем объединения трудящихся»,

теперь стал «днем объединения рабочего класса». В связи с этим, не только городские рабочие Советского Союза, но и трудящиеся всех стран должны были объединиться в борьбе против нацизма. В обращениях больше не использовались слова «пролетариат», «пролетарский» и т.д.

Вполне закономерным было предположить, что Красной Армии будет отведена особая роль в первомайских лозунгах 1943 года. Ведение войны и уничтожение нацистов были главной, даже, скорее, единственной темой лозунгов этого года. Но словарный состав этих лозунгов стал более тщательно подобранным и более уместным. Предыдущая майская победа была предсказана задолго до конца года – в 1943 году, который стал годом «решающих сражений». В результате опыта, полученного в сражениях, особое внимание уделялось качеству военной подготовки. Командиры Красной Армии должны были изучать искусство ведения боевых действий; командиры танковых войск должны были учиться искусно атаковать вражеские подразделения, а кавалеристы – отважно и решительно преследовать врага. Необходимо было совместить личную отвагу, примеров которой было немало в Красной Армии, с качественной военной подготовкой. Также необходимо было ужесточить военную дисциплину.

Как и прежде, особое внимание уделялось отдельным группам военных и гражданских. Пехота, которой, возможно, вопреки всем ожиданиям по-прежнему приходилось нести тяготы войны, занимала в списке лозунгов первое место, за ней следовали воздушные, танковые войска и артиллерия. В список были также добавлены другие воинские подразделения, которые тоже должны были внести свой вклад в победу над ненавистным врагом. Об усилении борьбы говорил тот факт, что на медицинский персонал Советской России была возложена ответственность не только за спасение жизней, но и за возвращение раненых на фронт после их выздоровления. Кроме того, в лозунгах 1943 года помимо Красной Армии «часть заботы» и внимания уделялась семьям защитников Родины и фронтовиков. Работники тыла помогали добиться победы или, по крайней мере, ускорить ее приближение. Среди новых профессиональных групп, особо упоминаемых в лозунгах 1943 года были рабочие легкой, текстильной и пищевой промышленности, работники станочники и трактористы, а также работники совхозов. Особый призыв был обращен к советской молодежи, юношам и девушкам.

В лозунгах этого года вновь не было упоминаний о Коминтерне. Также в лозунгах 1943 года приветствия не были адресованы Комсомольской организации, хотя, как и прежде, предполагалось, что его члены должны были быть одними из первых в борьбе против нацистских захватчиков. Коммунистическая партия призвана была стать не только организатором, но и идейным вдохновителем борьбы до победного кон-

ца. В лозунгах этого года впервые говорилось о роли и положении Сталина в советском государстве. Именно Сталин должен был привести страну к победе. Военная цель 1942 года – окончание германской оккупации – в 1943 году получила дополнительную интерпретацию – «изгнание германских захватчиков за пределы Родины». Имя Гитлера упоминалось в лозунгах исключительно в форме прилагательных – гитлеровские грабители-империалисты, гитлеровская тирания и т.д.

Бороться против нацизма должен был не только Советский Союз, но и «патриоты европейских стран», а также «братья славяне». Москва, судя по всему, больше не надеялась на внутреннюю революцию в Германии. Среди лозунгов 1943 года больше не было, как в прошлом году, обращений к немецким рабочим с призывом восстать против Гитлера. А что касается западных союзников и Организации Объединенных Наций, то в лозунгах прославлялись «отважные англо-американские войска, одержавшие победу над немецкими и итальянскими фашистами в Северной Африке». Кроме того, лозунги 1943 года выражали уверенность по поводу «победы англо-советско-американских союзных войск над врагами всего человечества, над германо-фашистским поработителями». Подобные упоминания об англо-саксонских союзниках по-прежнему были немногочисленны, но, тем не менее, в словарном составе этих лозунгов произошли значительные изменения в сторону формирования более дружественных отношений с Советским Союзом. Прошлогодня формулировка «военная коалиция Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов Америки» больше не встречалась в первомайских лозунгах этого года. А Советский Союз внезапно выступил в качестве связующего звена между Великобританией и США.

Анализ первомайских лозунгов представляет собой интересную и важную работу. Опираясь на изменения в лозунгах, легко можно было бы рассказать всю историю Советского Союза. В тоталитарных государствах – а Советская Россия являлась как раз одним из них – население намеренно держится в состоянии постоянной тревоги, что достигается благодаря всевозможным искусственным средствам. Пропаганда при помощи лозунгов является одним из таких средств.

В данном случае необходимо учитывать все – выбор лозунгов и их словарного состава; порядок расположения лозунгов, появление новых лозунгов или исчезновение прежних; а также порядок расположения их элементов и расстановка акцентов. Нельзя также упускать из виду аудиторию, которой адресованы лозунги, ситуацию, в которой они были произнесены, а также общий контекст и цели лозунгов. Детальное рассмотрение изменений в лозунгах могло бы даже оказаться полезным для политического прогнозирования.

С течением лет первомайские лозунги Со-

ветского Союза претерпели значительные изменения. Лозунги не составлялись Партией заново каждый год перед празднованием первого Мая. Напротив, список лозунгов предыдущего года извлекался из архивов и старательно перепечатывался, переписывался и перегруппировывался, но почти никогда не изменялся. Эта процедура сама по себе являлась искусством, в котором провали или успех целиком и полностью зависел от чувства меры и пропорциональности.

В целом, первомайские лозунги, в конечном счете, представляют собой различные вариации на одну и ту же тему. Их лейтмотивом является безопасность советского режима. Это касается даже тех случаев, когда Москва предпринимает, или делает вид, что предпринимает революционную деятельность за границей. Смещение внешне- и внутривнутриполитических лозунгов, а также многолетние изменения, происходящие в их взаимоотношениях между собой, также можно объяснить борьбой советского режима за выживание.

© Yakobson S., Lasswell H.D., 2007

© Солопова О.А., Овсянникова И.А. (перевод), 2007

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ СТАТЕЙ И ПЕРЕВОДЧИКАХ

АНДЕРСОН РИЧАРД Д. (мл.) – доктор философии, профессор Калифорнийского университета (Лос-Анджелес, США).

БАНТЫШЕВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА – аспирант Симферопольского государственного университета (Украина)

БЕССОНОВА ЛЮБОВЬ ЕФИМОВНА – кандидат филологических наук, доцент Симферопольского государственного университета (Украина)

БОЯРСКИХ ОКСАНА СЕРГЕЕВНА – преподаватель Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии

БУДАЕВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ – к.ф.н., старший преподаватель кафедры иностранных языков Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии.

БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ – аспирант Челябинского государственного педагогического университета

ВИ ХОК ЭНН ЛАЙОНЕЛ – адъюнкт-профессор кафедры английского языка и литературы Национального Сингапурского университета

ВОРОШИЛОВА МАРИЯ БОРИСОВНА – к.ф.н., доцент кафедры риторики и межкультурной коммуникации Уральского государственного педагогического университета.

ЗЫРЯНОВА ИРИНА ПЕТРОВНА – аспирант кафедры риторики и межкультурной коммуникации Уральского государственного педагогического университета.

ЗЫХ АННА – доктор филологических наук, зав. каф. дидактики русского языка Института восточнославянской филологии Силезского ун-

та в Катовицах

КОСТЫЛЕВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ – студент Уральского государственного университета им. А.М.Горького

КОСАРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ – аспирант Уральского государственного педагогического университета

КРАСИЛЬНИКОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА – кандидат филологических наук, доцент Уральского государственного педагогического университета

САНТА АНА ОТТО – доктор философии, профессор кафедры исследований чикано Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе

СИМОН АННА АЛЕКСАНДРОВНА – студент Московского государственного гуманитарного университета

СОЛОПОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА – кандидат филологических наук, доцент Челябинского государственного педагогического университета

ЧЕРВИНСКИЙ ПЕТР профессор, доктор филологических наук, зав. каф. русского языка Института восточнославянской филологии Силезского ун-та в Катовицах

ЧУДИНОВ АНАТОЛИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ – д.ф.н., профессор, проректор по научной и инновационной деятельности Уральского государственного педагогического университета.

ШУСТРОВА ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА – к.ф.н., докторант кафедры межкультурной коммуникации Уральского государственного педагогического университета.

ОВСЯННИКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – аспирант кафедры риторики и межкультурной коммуникации Уральского государственного педагогического университета